

КОММЕНТАРИИ

АВТОБИОГРАФИЧНОЕ



38
2023

КОММЕНТАРИИ

РЕДАКЦИЯ: Александр ДАВЫДОВ [главный редактор] Владимир АРИСТОВ Игорь ГАНИКОВСКИЙ Александр ИЛИЧЕВСКИЙ Андрей ТАВРОВ Елена НАЛИВАЙКО [ответственный секретарь]

С МНЕНИЕМ АВТОРОВ РЕДАКЦИЯ НЕ СОГЛАСНА

Почему Редакция избрала темой номера «автобиографичное»? Честно говоря, даже и для себя неожиданно. У каждого ее участника на этот вопрос есть собственный ответ. Возможно, потому, что многим сейчас хотелось бы хоть ненадолго отвернуться от обезумевшей «внешней реальности», обратить взгляд на собственное прошлое и настоящее. Но, может быть, читатель даст ответ более глубокий. Ведь его озадачивать как раз в стиле и духе «Комментариев», а Редакция редко бывает согласна и со своим собственным мнением.

В качестве эпиграфов к номеру, из всех цитат в тему, коих множество, мы выбрали четыре, начав с участника Редакции:

«В самом деле, ведь все, чем мы живем - оно вдруг оказалось снаружи, и настоящий человек - он где-то снова в подполье, снова в каком-то безумии строчит свои записки».

Александр Иличевский

«Все искусство автобиографично; жемчужина - автобиография устрицы».

Федерико Феллини

Я пишу художественную литературу, и мне говорят, что это автобиография, я пишу автобиографию, и мне говорят, что это художественная литература, так что, поскольку я такой тупой, а они такие умные, пусть они сами решают, что это, а что нет.

Филип Рот

Каждая автобиография посвящена двум персонажам: Дон Кихоту, Эго, и Санчо Пансе, Самости.

Уистен Хью Оден

СОДЕРЖАНИЕ //

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН АВТОБИОГРАФИЯ КАК ПОВЕСТВОВАНИЕ
И СЛОВАРЬ 7

ЮЛИЯ (ИУСТИНА) ДАНЗАС ФИЛОСОФСКИЕ ЭССЕ И
ВОСПОМИНАНИЯ вступление и публикация В. Кейдана 23

ОСКАР МИЛОШ НЕОКОНЧЕННАЯ СИМФОНИЯ
перевод А. Давыдова 73

ИВАН ДЕ МОНБРИЗОН ЗЕМЛЯ И НОЧЬ 83

ЮЛИЯ КОКОШКО АВТОБИОГРАФИЯ
КАК ОТШУМЕВШИЙ ДВОР 105

АЛЕКСАНДР ПОУП ВИНДЗОРСКИЙ ЛЕС
вступление, перевод и комментарии И. Кутика 113

АЛЕКСАНДР УЛАНОВ КОГДА СМОТРИШЬ НА ДОМ СКВОЗЬ ВЕТКИ,
НЕ ВСЕГДА РАЗЛИЧАЕШЬ, ГДЕ ОН, ГДЕ ДЕРЕВО 133

АНДРЕЙ ТАВРОВ ИЗ ФЕЙСБУКА 159

ВЛАДИМИР САЛИМОН СТИХИ 175

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ ИСПОВЕДЬ ЛЮБИМОГО ПАСЫНКА
ВЕКА:РАННИЕ ГОДЫ 185

ВАДИМ МЕСЯЦ ЛЕБЕДИНАЯ ВРЕДНОСТЬ 235

ВЛАДИМИР АРИСТОВ ФИЗИ... ПОЭЗИ... 295

СЕРГЕЙ БУРТЯК ВНЕЗАПНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ 307

УОЛТ УИТМЕН ИЗ КОЛЫБЕЛИ, РАСКАЧИВАЮЩЕЙСЯ
БЕСКОНЕЧНО переложение К.С. Фарая 319

ВИКТОР ЗАРЕЦКИЙ АМЕРИКА В ДИАЛОГАХ 327

АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ ИЗ АВГУСТОВСКИХ ПОСТОВ
В ФЕЙСБУКЕ 353

НАТАЛЬЯ АБАЛАКОВА ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА «ПАДЕНИЕ В ПЕЙЗАЖ» 375

ОБ АНДРЕЕ 412





АВТОБИОГРАФИЯ КАК ПОВЕСТВОВАНИЕ
И СЛОВАРЬ

«Жизнь – это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью...» В этой знаменитой шекспировской дефиниции жизни (из «Макбета») нас так поражает слово «идиот», что мы не замечаем другого, более глубокого парадокса: жизнь – это история, рассказ, способ повествования.

Как однажды выразился Генри Джеймс, истории случаются с теми, кто знает, как их рассказывать. Если нет рассказа, то нет и самой истории. Есть люди, у которых самые ничтожные происшествия перерастают в долгие захватывающие истории, и есть люди, которые пережили множество волнующих событий, были причастны к Истории с большой буквы, но весь их рассказ сводится к одной-двум сухим протокольным фразам. Значит ли это, что они прожили менее богатую жизнь, если они не умеют о ней красочно рассказать? Или, быть может, им требуется другой способ жизнеописания, которому ни сами они, ни их собеседники не обучены?

В нашем мире дискурсивно преобладают рассказчики историй, а словарям и энциклопедиям отведена пассивная роль обобщения этих историй, суммирования всех слов и значений, в них промелькнувших. Но может быть, некоторые люди мыслят и чувствуют не событийно, а именно словарно, суммарно: глубоко вчувствуются и вдумываются в сущность войны, в смысл любовных переживаний? Может быть, нужно задавать иные вопросы? Не «что было с тобой на войне?», а «чем была для тебя война?» И пусть не будет никакого рассказа, никаких фронтовых историй, но будет видение и понимание войны. И тогда «жизненная сумма» у таких людей будет состоять не из историй «как это было», а из пониманий того, как это бывает: из таких биограмм — жизнеописательных и жизнемыслительных единиц, как «война и холод», «война и стыд», «война и жалость», «война и бегство», «первый бой», «последний бой»... Опыт и сознание выстраивают картину жизни из таких надвременных, надсобытийных категорий — образов, понятий — которые уподобляют ее не повествованию, а энциклопедии. И тогда становится выразимо то, что невыразимо в жанре повествования.

НАРРАТИВНЫЙ И ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОДЫ

В середине 1980-х годов Джером Bruner, один из основателей когнитивной психологии, выступил инициатором нового подхода в психологии и социальных науках — «нарративного», который иногда называют «второй когнитивной революцией». Задача нарративной психологии и терапии (практики) — создать условия для того, чтобы каждый из партнеров смог услышать историю другого и по-новому ее воспринять. Нарративный терапевт сотрудничает с «пациентами» в развитии их историй о себе и мире. Сначала свою историю рассказывает один партнер, другой его выслушивает и делится своим восприятием услышанного. После этого роли меняются, слушатель становится рассказчиком.

Основной тезис нарративной психологии так выражен Brunerом в статье «Жизнь как нарратив» (1987):

«...У нас, по-видимому, нет иного способа описания прожитого (и проживаемого) времени, кроме как в формах нарратива.<...> По сути, один

из наиболее важных способов охарактеризовать культуру – выявить предлагаемые ей нарративные модели описания хода жизни...; С психологической точки зрения такой вещи, как „жизнь сама по себе”, не существует... Жизнь есть рассказ, нарратив, сколь бы несвязным он ни был»¹.

Но действительно ли жизнь есть только нарратив, т. е. способ рассказывания о ней во временной последовательности? Прежде всего, сама интенция «рассказывания о жизни» предполагает не просто наличие конкретного случая (события, эпизода), но осознание любого случая как составляющей частицы жизненного целого. Сознание – это более или менее связная система знаний и представлений о себе и о мире, о том, чем была и что есть жизнь индивида. Сознание имеет свой словарь, свой тезаурус, который охватывает все содержание жизни не во временной последовательности, а как предстоящее мне здесь и сейчас, во всем объеме памятного мне бытия. Этот тезаурус включает имена и образы людей, с которыми я был знаком, – соучастников моей жизни; названия вещей, составлявших мое материальное окружение; те страны и города, где я бывал; прочитанные книги; эмоциональные состояния, которые мне доводилось переживать; понятия и идеи, которым я придавал ценность или которые отвергал... Эта совокупность имен и названий, образов и переживаний, понятий и идей и образует тезаурусное наполнение жизни. Если нарратив – это временной срез жизни в последовательности ее событий, то тезаурус – это континуум событий, одновременно предстоящих сознанию, где содержание жизни развернуто в виде всеобъемлющего «каталога» людей, мест, книг, чувств и мыслей...

Термин «тезаурус», как и «нарратив», взят из лингвистики, и между ними то общее, что они предполагают жизнь как лингвокультурную конструкцию, как способ описания жизни в рамках определенного языка. Такой психологический подход лингвоцентричен. Но если нарратив описывает историю жизни, то тезаурус – ее картину. В лингвистике «тезаурус» – это идеографический словарь, где представлены смысловые отношения между всеми лексическими единицами данного языка. В тезаурусе, в отличие от

¹ Дж. Брунер «Жизнь как нарратив» // Постнеклассическая психология № 1(2), 2005, сс. 11, 13, 28. (Здесь и далее *Авт*).

обычного толкового или энциклопедического словаря, слова расположены не по алфавиту, не в формальном порядке, а в порядке их смысловой близости, ассоциативной и концептуальной связи, принадлежности одному семантическому гнезду. Например, общий блок образуют все слова, обозначающие пространство, а внутри него – слова, описывающие линии, расстояния, объемы, формы и т. д.

Тезаурус – это срез нашего сознания и видения жизни как целого, куда включаются такие лексические единицы:

- личные имена: Петя (друг детства), Таня (соседка), Николай Сергеевич (начальник); Пушкин, Толстой;
- географические названия: Москва, где я живу; Черное море, где я отдыхал;
- термины родства: мама, папа, сестра, жена;
- понятия: молодость, старость, честь, смелость, деньги, удача, природа;
- эмоции: радость, печаль, удивление, любовь, ревность;
- социальные и профессиональные институции: школа, университет, государство, литература, физика;
- исторические события: революция, война, террор, перестройка и т. д.

Тезаурус включает, конечно, и разнообразные идиосинкразии, например, любимые и нелюбимые цвета, запахи, блюда, буквы, цифры, фигуры. Все, что в этом мире имеет название и значимо для данной жизни, составляет ее тезаурус.

БИОГРАММЫ. ТЕЗАУРУСНОЕ ОБЩЕНИЕ И ПАМЯТЬ

Единицу тезауруса мы назовем биограммой (biogram), «начертанием, письменным знаком жизни»². Биограмма – структурная единица жизненного целого. Биографический опыт может включать такие биограммы, как «дружба», «одиночество», «встреча», «разлука», «учеба», «болезнь», «замужество», «родь» и т. д. Если нарратив – это биограммы во временном порядке, как последовательно рассказанная биография, то тезаурус – это совокупность биограмм, организованных системно как описание целостной картины жизни и жизневоззрения.

² Греч, грамма – «письменный знак, черта, линия», от grapho – «пишу». Слова «биография» и «биограмма» произведены от одних и тех же греческих корней.

Даже на уровне повседневного разговора мы порой общаемся тезаурусно, не столько рассказывая о чем-то, сколько перечисляя и сопоставляя элементы опыта, набрасывая сетку различительных категорий на пространство своей и чужой жизни. «Я болею за такую-то команду А ты?» «У тебя в школе какой любимый предмет? А у меня...» При всей своей обычности такой разговор есть, в сущности, диалог тезаурусов, как и детское: «А у меня в кармане гвоздь. А у вас?» (С. Михалков). Это поиск «языка жизни», который значим для обоих собеседников. У каждого в жизни есть свой «гвоздь». В основе – желание сопоставлять картины мира, причем выделяются общие рубрики, биограммы, по которым проводится сравнение. «У меня... а у вас?..»

Сама человеческая память, особенно долгосрочная, как показали исследования И. Тулвинга и других психологов, имеет две основные разновидности. Эпизодическая память хранит информацию о событиях, развернутых во времени («пришел, увидел, победил»; «позавтракал, поработал, поплавал»). Семантическая память хранит обобщенное знание человека о себе и мире, обо всех символах и концептах, их взаимоотношениях и правилах их использования («что я ем на завтрак», «какое питание мне полезно», «какой стиль плавания я предпочитаю» и т. д.)³. Соответственно и жизненное целое выстраивается памятью в двух конфигурациях, как серия эпизодов и как система биограмм.

Нарратив и тезаурус образуют две оси языковой репрезентации жизни, которые постоянно пересекаются в каждой ее точке. На основе нарратива данной жизни можно составить ее тезаурус путем выявления самых значимых, часто упоминаемых слов и соединения их в лексико-концептуальные гнезда, причем каждая единица такого тезауруса объясняется примерами ее употребления в нарративе. С другой стороны, и тезаурус жизни включает в свои словарные статьи какие-то нарративные элементы, истории, которые иллюстрируют значение данной биограммы. Например, статья «Мать» в тезаурусе Н. может включать не только описание ее внешности, душевного склада, привычек, анализ отношения Н. к матери, но и ряд эпизодов, которые

3

Впервые эта концепция изложена в статье: Tulving E. Episodic and semantic memory

// Tulving E., Donaldson W. (Eds.). Organization of Memory, N.Y.: Academic Press, 1972. P. 381–403. Разработаны разные модели семантической памяти: модель «цепной активации» (spreading activation model, Collins and Loftus), где содержание памяти представлено как карта взаимосвязанных концептов; признаковосравнительная модель (feature-comparison model, Smith, Shoben, and Rips), где характерные признаки концептов даются в виде сравнительных перечней.

наиболее выпукло ее характеризуют. Иными словами, внутри нарратива складывается своя тезаурусная картина мира, а внутри тезауруса есть место для жизненных историй.

И тем не менее нарративный и тезаурусный подходы, будучи взаимодополняющими (условно говоря, как «частица» и «волна» в квантовой физике), сильно различаются. Одна и та же жизнь может быть представлена нарративно и тезаурусно, но эти два разных способа представления нельзя без остатка свести один к другому. В нарративе всегда будет утеряна полнота тезауруса, а в тезаурусе – динамика нарратива. Повествуя о своей жизни, нельзя включить каждое лицо, место, предмет, явление в системную картину мира, – иначе рассыплется сюжет. И точно так же нельзя в тезаурусе представить все события данной жизни в их последовательности – тогда рассыплется словарная картина жизни, перейдя в цепочку ее сменяющихся эпизодов.

ТЕЗАУРУСНАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЖИЗНЬ

Вероятно, выбор подхода во многом зависит от самой жизни. Есть жизни более действенные, событийные, полные приключений, динамично развернутые во времени. И есть более созерцательные, вбирающие разные стороны бытия не столько в последовательности событий, сколько в совокупности переживаний, размышлений, воззрений, значимых отношений. Есть жизни – романы и жизни – панорамы. Точно так же есть и личности нарративного и тезаурусного склада. Во время общего застолья одни сыплют бесконечными историями, анекдотами, случаями из жизни. Другие делятся мыслями и взглядами и выясняют отношение к ним собеседника. Как правило, нарративные личности легче привлекают к себе внимание, становятся душой общества; тезаурусная личность склонна скорее к персональному или профессиональному разговору, предмет которого – не частные случаи, а картина мира.

Очевидно и то, что нарратив резко преобладает в литературных жизнеописаниях. Люди предпочитают биографические романы и лишь в редких случаях прибегают к биографическим энциклопедиям (как правило, если речь идет о действительно любимых и почитаемых личностях, о которых хочется знать «всё-всё-всё»). Тезаурус – это во многом

«рецессивный» ген нашей жизнеописательной культуры, тогда как нарратив – ген «доминантный».

Но тем более значимо и для психологии как науки, и для терапевтической практики обращение к этому малоисследованному, однако равноценному способу представления жизненного мира.

Есть множество людей, не наделенных даром рассказчика и тем не менее расположенных к саморефлексии и глубокому мирозерцательному разговору. Есть даже такое житейское определение интеллектуального развития человека по тому, какой тип беседы для него наиболее ограничен: низшая ступень – разговор о вещах; средняя – разговор о событиях; более высокая – о людях; высшая – об идеях, понятиях. Возможно, это те самые люди, которые предпочли бы описать свою жизнь в форме тезауруса. А поскольку жизнь, согласно современной лингвоцентрической психологии, и есть способ ее описания, то бытие этих людей, их ценностные ориентиры и цели располагаются в пространстве тезауруса, а не во времени нарратива. Для них жизнь есть постепенно растущая сумма «биограмм» – ключевых слов, понятий, образов прошедшего, настоящего и будущего, поскольку с каждым поворотом меняется вся перспектива дороги. Жизнь – это не то, что случилось со мной, но совокупность всего, что я помню и знаю.

Для тезаурусной личности нет существенной разницы в последовательности событий: любое из них воспринимается как приобретение или углубление еще одной грани опыта, как прибавление к тезаурусу новой биограммы, которая позволяет пережить судьбоносность, жизнецельную значимость каждого события. Тезаурусная личность проживает свою жизнь с конца в начало едва ли не интенсивнее, чем с начала в конец; она воспринимает все последующие события как прояснение смысла, придание формы предыдущим. Здесь больше действует судьба, а не жизнь, т. е. обратный распорядок смыслов, когда каждое событие находит себе место в целостной, надвременной системе личного мира.

АВТОБИОГРАФИЯ-ТЕЗАУРУС

Среди великих литературных образцов тезаурусного самопознания – «Опытгы» М. Монтеня. Обычно обращают внимание на жанровое своеобразие «опытгов» – но не на то целое, которое они образуют, а именно

монтеневский автотезаурус, своего рода лирическую энциклопедию. «О скорби», «О стойкости», «О дружбе», «О воспитании детей», «О запахах», «О возрасте», «О книгах» – это построенный Монтенем многогранник его жизни, отраженной в зеркалах общих понятий. Это способ рассказывать о себе не в хронологическом, а в тематическом, идеографическом порядке. «... Содержание моей книги – я сам...» – предупреждает Монтень в обращении к читателю (1, 7)⁴. И в заключительном опыте «Об опыте» повторяет: «Гот предмет, который я изучаю больше всякого иного, – это я сам» (3, 474). Казалось бы, если хочешь говорить о себе, почему бы не прибегнуть к последовательному повествованию? Монтень так отвечает на это: «Я не могу вести летопись своей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную; я занимаюсь ею, опираясь на вымыслы моего воображения» («О суетности», 3, 264).

Другой знаменитый образец автотезауруса – «Ессе Ното» Ф. Ницше (1888), маленькая энциклопедия основных идей, книг и самодефиниций, которая завершает его творческий путь. «Почему я так мудр», «Почему я так умен», «Рождение трагедии», «Веселая наука», «Почему являюсь я роком» – таковы некоторые разделы этой «автоциклопедии», цель которой в предисловии определяется так: «...Я считаю необходимым сказать, кто я». «Итак, я рассказываю себе свою жизнь»⁵. Но то, что следует дальше, есть отнюдь не рассказ, а попытка охватить тезаурусно свою жизнь и мысль, ее основные темы и произведения.

Еще один пример книги, представляющей жизненный опыт в форме тезауруса, – «Фрагменты речи влюбленного» Ролана Барта. Для всякого, кто читал эту книгу, очевидно, что она глубоко автобиографична, причем в ней раскрыт самый интимный пласт жизненного опыта. Но именно поэтому его нельзя пересказать в виде историй – только в виде статей словаря, раскрывающих разные грани этого опыта: ожидание, удивление, скитание, аскеза, катастрофа, нежность, безответность... За каждой из статей стоит неизвестное нам множество событий или лиц, которое суммируется в биограмме, как концептуальной единице тезауруса. Это редчайший пример не автобиографии, а автотезауруса, который перерастает в тезаурус любовного опыта всей европейской цивилизации, поскольку

⁴ Монтень М. «Опыты» в 3-х кн. М., Наука, 1979. Номер тома и страницы указывается в тексте.

⁵ Ницше Ф. Соч. В 2-х тт. М., Мысль, 1990, т. 2. Сс. 694, 697.

Барт конструирует тот обобщенный язык, на котором можно одновременно описывать и страдания юного Вертера, и страдания искушенного Ролана. Распадись этот суммарный опыт на истории – исчезла бы его семантическая плотность, культурная насыщенность каждой фигуры, которая вбирает в себя множество микроисторий, как из жизни самого Барта, так и из сюжетов мировой литературы.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЮНОСТИ

Мне как автору весьма свойственно тезаурусное самосознание. Приведу в пример две книги — обе написаны мною в соавторстве с моим другом еще со студенческих лет, писателем Сергеем Юрьенем. «Энциклопедия юности»⁶ охватывает период с 1967 по 1974 г — наши университетские годы. Это не повествование о двух юношах на фоне застойного времени — это портрет самой юности, точнее, опыт ее энциклопедии. Кажется, для автобиографий использовались все возможные роды и жанры, от лирики до эпоса, от романа до дневника, от писем до летописи. Энциклопедия — еще не испробованный жанр размышлений о себе. Считается, что этот жанр подобает только научным дисциплинам, объективным фактам, историческим эпохам. «Физическая энциклопедия». «Энциклопедия балета». «Энциклопедия Первой мировой войны», энциклопедия «Народы и религии мира»... А тут — Энциклопедия Нашей с Тобой Юности. Как этот жанр сочетается с интимностью, исповедальностью? Сами словосочетания «энциклопедия себя» или «энциклопедия нас» похожи на оксюморон. Энциклопедия — собрание объективных сведений, фактов; научное справочное издание, содержащее систематизированный свод знаний. Информационный эпос. Как возможна и для чего нужна лирическая энциклопедия?

Вспомним, что наряду с универсальными, отраслевыми, национальными энциклопедиями есть энциклопедии и персональные, например, «Шекспировская», «Лермонтовская», «Розановская», «Булгаковская», и т.д. Представим, что герой такой энциклопедии хотел бы сам рассказать о

⁶

М. Эпштейн, С. Юрьенен «Энциклопедия юности», М., Эксмо, 2018, с. 592.

себе, не дожидаясь, пока им займется коллектив исследователей, — или не надеясь, что такое когда-нибудь произойдет. А главное, полагая, что себя-то он знает лучше, чем кто-то другой. В этом случае энциклопедия, в которой он собрал бы основные сведения о себе, стала бы лирической. Герой становится и автором, т.е. сам говорит о себе. Это автобиография, но в форме не последовательного рассказа, а набора словарных статей, которые охватывают основные биограммы.

Но ведь таково вообще свойство нашей памяти. Большой жизненный сюжет, последовательность событий привносится позднейшей рационализацией, натяжкой памяти на суровые нити повествования. Собственное содержимое памяти распадается на местомиги, вспышки времени и пространства в их нераздельности. Кто — что — где — когда: вот элементарная единица памяти, а пожалуй, и неделимая единица жизненного опыта. «Я — дедушка — лето — поляна — лес — Измайлово»: таков один из моих детских местомигов. Местомиг — точка однократного пересечения координат времени и пространства в их нераздельности; данное место в данный промежуток времени и связывающая их событийность. Совокупность местомигов и образует самое достоверное представление жизни в ее памятных вспышках, окруженных темнотами, как брызги звезд в космической мгле. На 90% память, как и вселенная, состоит из темного вещества.

Но есть еще и итоговой опыт языка, выраженный в словаре. У каждой жизни — свой словарь, свой подбор и ассоциативная связь главных понятий, их деление на более частные. Соорганизация языка с памятью и дает жанр энциклопедии. При этом перекрещиваются персонально-именной и предметно-тематический способы отсылки. И в Энциклопедии Жизни, и в таком ее возрастном отсеке, как Энциклопедия Юности, имена собственные столь же значимы, как житейские слова и общие понятия. «Бахтин». «Девушки». «Квартира». «Литература». «Любовь». «Писательство». «Политика». «Профессора»... И так — 120 тематических рубрик, выстроенных по алфавиту. Связь всех явлений данной жизни не обязательно сюжетобразующая, как в романе, она может быть и словообразующей, и музейно-выставочной, — круговым эхом, хороводом идей, взаимоотсылкой имен и понятий — как в Энциклопедии. Одновременно лирической и диалогической, персональной и концептуальной.

КУЛЬМИНАЦИИ. О ПРЕВРАТНОСТЯХ ЖИЗНИ.

Вторая наша совместная с Сергеем Юрьененом автобиографическая книга, о которой я хочу рассказать, называется «Кульминации. О превратностях жизни». Фрагменты из нее выходили в журналах «Знамя» и «Новый берег» (Копенгаген).

Каждому знакомы такие моменты жизни, когда с необычайной остротой переживаешь радость, уныние, страх, влечение, одиночество... Или достигаешь особенно ясного понимания каких-то явлений, идей, свойств мироздания. Испытываешь внезапный переход: между смешным и страшным, надеждой и отчаянием, опасностью и спасением...

Эта книга — о таких высших точках опыта, «кульминациях», когда сразу, почти мгновенно постигаешь себя и человеческую природу, явленную на гранях, на сломах. «Кульминации» — это собрание микроисповедей, где два автора делятся опытом сильнейших переживаний, достигающих понятийной чистоты. Кульминации возникают на скрещении личных сюжетов и общих идей, которые вдруг получают конкретное воплощение в экстремальных событиях. Некоторые из кульминаций настолько ранившие, что для них подошло бы и название «Конвульсии». Это подлинные истории, но сама интенсивность переживания порой придает ему фантазмагорический оттенок и приводит к столкновению с реальностью, оборачивается иронией или самоиронией. Так что не следует ожидать от этой книги пафоса высоких откровений — скорее, это попытка облечь эмоциональные и моральные категории в плоть личного опыта, подчас трагикомического и гротескного.

Обычно биографическое и автобиографическое время рассматривается в его протяженности, как хронос. Но у древних греков было и другое представление о времени — прерывистом и порывистом: кайрос. Это бог отдельного мгновения, того заветного мига, который возносит нас на вершину удачи или переносит через пропасть беды. Кайрос олицетворялся фигурой крылатого божества, которое стоит на шаре, касаясь его лишь краем ступни: у него нет устойчивой точки опоры. На ногах его тоже крылья — так быстро оно пролетает. Надо лбом — густые волосы, а затылок — лысый: заветный миг нужно ловить вовремя, а потом, задним числом, уже не ухватишь.

В этой книге кайрос решительно преобладает над хроносом, прерывность над протяженностью. Вместе с тем кульминация неразрывно связывает момент времени с местом в пространстве, так что, как и в «Энциклопедии

юности», позволительно говорить о местомигах, определяющих структуру книги.

Какую роль играют кульминации в приобретении жизненного опыта? Здесь уместно воспользоваться уже не мифологической фигурой, а метафорой из области инвестиций. Как известно, если на протяжении, например, сорока лет постоянно держать акции на рынке, но пропустить всего пять дней, наиболее благоприятных для их роста, то итоговый доход упадет на четверть. А если пропустить сорок дней, то доходность упадет уже в три-четыре раза. Сопоставим: сорок лет жизни приносят в общей сложности меньше сознательного опыта, т.е. символического капитала, чем сорок дней или даже минут его наибольшей концентрации в тех моментах переживаний и душевных взлетов, которые мы называем кульминациями.

Книга состоит из двенадцати тематических разделов, в которых поочередно представлены микроисповеди авторов, оттенки и дополняя друг друга. У каждой кульминации — два заглавия: по названию той эмоции, идеи, качества, которые в ней достигают пика, - и по названию того события, ситуации, персонажа, в которых они воплощаются. Например, «Кульминация обольщения. Красивый ветер в Пекине», «Кульминация смысла жизни. Зоя», «Кульминация чувства вины. Первая дрожь», «Кульминация нелепости. Выход из наркоза» и др. Так организованная книга поможет читателям лучше осознать вершинные моменты собственной жизни и умножить свой опыт пережитого пониманием его смысла.⁷

ОТ НАРРАТИВА К ТЕЗАУРУСУ

Различие нарратива и тезауруса проявляется в дискурсивной организации целых профессиональных полей. Например, художественная словесность (*fiction*) в целом тяготеет к нарративу, тогда как философия мыслит тезаурусно. Но при этом одни национальные литературные традиции могут вбирать в себя тезаурусные элементы больше, чем другие. Например, немецкоязычные писатели: Т. Манн, Г. Гессе, Р. Музиль — гораздо тезауруснее, чем их английские или русские современники. Ранняя японская проза (Сэй Сёнагон, Кэнкохоси), да и поэзия (хокку, танка) в значительной степени неповествовательна,

⁷ Полная книга предполагается к выходу в издательстве "Новое литературное обозрение" в 2024 г.

«инвентарна»... Но если говорить не о профессиональной деятельности (литература, философия), а о жизненном опыте большинства людей, то, конечно, нарратив пока еще преобладает как способ его описания. Грубо говоря, большинство людей – писатели, а не мыслители, рассказчики, а не обобщатели, и это причина (или следствие?) того, что они предпочитают читать Дюма, а не Гегеля.

И все-таки представляется, что тезаурусность – это не удел меньшинства, а тот слой личного самосознания, который пока еще меньше выговорен, недостаточно культурно проработан. По мере рефлексивного роста человечества он выходит на первый план. Нон-фикшн постепенно вытесняет фикшн из круга повседневного чтения, хотя и в нон-фикшн преобладают пока еще нарративы (биографии, истории войн и других эпохальных событий). Но заметим, что в исторической науке тезаурусный подход уже составил сильную конкуренцию нарративному благодаря французской школе «Анналов» (с 1926 г.), которая оказала широчайшее воздействие на историков во всем мире. В центре исследований оказываются не событийная канва истории и не биографии великих людей, а языковая картина мира, привычки, традиции, мифологемы, социальные, возрастные, гендерные ментальности и структуры жизненного опыта⁸. Не только профессиональное, но и общественное сознание постепенно сдвигается от синтагматики к парадигматике языка культуры, о чем свидетельствует массовый читательский успех словарей и энциклопедий. Тезаурусность начинает обретать общественный престиж, чему в огромной степени способствует Интернет со своими поисковыми системами, каталогами и гипертекстами.

Можно предполагать, что этот сдвиг исторического самосознания человечества в сторону тезауруса будет дополнен и сдвигом личностного самосознания, новой ориентацией психо-биографического дискурса. То, что лингвоцентрическая психология пока отдает приоритет нарративам, вполне понятно и закономерно, но пора переходить к следующей фазе. Огромная часть человеческого опыта, как личного, так и социального, остается неизвестной из-за преобладания нарративных приемов и неразработанности тезаурусных полей. Как выглядел бы микромир, если бы мы исследовали его только корпускулярно и не выработали корпускулярно-волнового дуализма

8

См., например: М. Блок «Апология истории»; Ф. Бродель «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.», (том 1. «Структуры повседневности: возможное и невозможное»); А. Я. Гуревич «Категории средневековой культуры».

его описания? Точно также односторонне выглядит человеческая жизнь, сведенная к нарративной цепочке событий. Разработка иных методов ее описания могла бы наполнить смыслом и словом жизнь миллионов людей, нарративно немых, обладающих другим, тезаурусным опытом ее постижения.

ТЕЗАУРУС И ТЕРАПИЯ

Один из важнейших вопросов: насколько тезаурусный подход может быть терапевтически продуктивным, в частности в семейных консультациях, где составление тезауруса собственной жизни и его сопоставление с тезаурусом партнера может значительно углубить взаимопонимание? Достоинства такого подхода здесь особенно очевидны. Ведь у каждого человека – своя история жизни, тогда как тезаурусные поля, смысловые классы событий и переживаний пересекаются у множества лиц, что облегчает их сопоставление.

Можно предположить (хотя это и требует экспериментальной проверки), что тезаурусам разных людей, именно вследствие их «категориальной» общности, легче вступить в диалог друг с другом, чем нарративам, которые заранее не эксплицируют своей концептуальной модели и столь же прихотливо-индивидуальны по языку, как и описанные в них цепочки событий. Если жизненный нарратив – это просто речь, язык (код) которой еще только подлежит реконструкции со стороны исследователя, то тезаурус – это речь, демонстрирующая свой собственный код, ту концептуальную модель, которая кладется автором в основу его мировоззрения и самосознания. Тезаурусная личность выступает не только как автор речи, но и как автор (или, по крайней мере, компилятор, «лексикограф») того кода, на котором производится эта речь, т. е. самописание здесь восходит на более высокий рефлексивный уровень. Тезаурусная личность берет на себя часть тех функций языкового самоописания, которую в отношении нарративной личности выполняет терапевт или исследователь. Это, конечно, не мешает последнему выстраивать новые уровни метаязыковых описаний той картины мира, которая предстает в тезаурусе, но первым и главным теоретиком себя, а значит, в какой-то степени и терапевтом себя, выступает сам автор тезаурусного текста, что придает последнему еще большую личностную напряженность и знаковую многослойность.

Что же это такое – жизнь в тезаурусе? Как собирать и обобщать эмпирический

материал автобиографии в этом жанре? Какие типы концептуальных единиц – биограмм – можно выделить в такой системе жизнеописания, как они группируются, в какие роды и виды складываются? Как развивать в людях тезаурусное сознание, как открыть им те грани опыта, которые не могут быть выражены в нарративе? Какие методологические и педагогические процедуры могут вести к росту тезаурусного сознания не только в отдельных личностях, но и в целом обществе, чтобы мог быть артикулирован глубочайший его исторический опыт, несводимый к «историям»?

Все эти вопросы еще только предстоит поставить перед современной психологией, прежде чем она сможет искать на них ответы. Но закономерно предположить, что в основе личности гуманитария, мыслителя, наблюдателя человеческой жизни лежит именно тезаурусный подход к себе и к другим.



ЮЛИЯ (ИУСТИНА) ДАНЗАС

ФИЛОСОФСКИЕ ЭССЕ И ВОСПОМИНАНИЯ¹

ОБ АВТОРЕ

ДАНЗАС Юлия Николаевна (в монашестве Иустина, Екатерина), русский историк, религиовед, публицист, католическая монахиня, родилась в 1879 в Афинах. Ее отец — первый секретарь русского посольства в Греции. Ее мать, Ефросиния Эммануиловна, урожденная Аргиропулос, происходила из древнего византийского рода, восходившего по прямой линии к императору Роману III Аргиросу (XI век). Прадед Д., Жан-Батист, бежал из революционной Франции в Россию. Его второй сын Константин был лицейским однокашником Пушкина и его секундантом в роковой дуэли с

¹ Перевод и публикация Владимира Кейдана - филолога, историка литературы, исследователя и публикатора эпистолярного наследия деятелей русской культуры конца XIX - начала XX века «Взыскующие града». Антология. Т.т 1–4. М., 2017-2022. Автор работ в области российско-итальянских литературных и культурно-исторических связей. Живёт в Риме. Тексты Ю. Данзас публикуются впервые. (Ред).

Жоржем д'Антесом. Дед Юлии по матери был в этот период послом России в Константинополе. Любимица отца, девочка, всё раннее детство провела в среде профессиональных дипломатов, в менталитете которых доминировал крепкий империалистический патриотизм. Часто она сидела у отца на коленях на политических совещаниях в посольстве. Здесь она усвоила гордый идеал русского «Третьего Рима». В поздних воспоминаниях о среде своего детства она писала: «Дальняя цель — взятие Константинополя — была своего рода непререкаемым догматом, настолько всем понятным, что о ней даже не говорили, как о чем-то слишком очевидном: не представляли, что в будущем может быть что-то иное, доминировала единственная мысль — найти средства приблизить осуществление этого будущего». В беседе с обер-прокурором Святейшего синода К. П. Победоносцевым в 1904 году девушка именно так изложила ему своё мировоззрение, но в ответ услышала:

«? Третий Рим», говорите вы? Это был мираж, возможно, достижимый, но мы его не реализовали... Оглянитесь на себя, ведь мало знать историю, надо уметь смотреть настоящему в лицо...» Но как же? — возразила я и процитировала известное пророчество: «Два Рима пали, Москва - третий Рим, и четвертому не бывать». Он горько усмехнулся: «Да, четвертого не будет. Но и третьего уже не будет...» Как много раз я потом вспоминала эти слова и эту беседу!

Присутствуя на домашних уроках старшего брата Якова, она к 10 годам уже свободно читала на древнегреческом и латыни. Загадочное самоубийство отца в 1888 году оборвало ее солнечное детство, мать с детьми переехала в семейное поместье в Харьковской губернии, где она продолжила домашнее образование под руководством приглашаемых из Петербурга преподавателей и в 1896 году сдала экзамены на аттестат зрелости по программе мужской классической гимназии. В домашней библиотеке, насчитывавшей 20 000 томов, она погрузилась в изучение трудов французских энциклопедистов, историков XVIII века, латинских и греческих отцов церкви. Изучала историю и философию в Сорбонне в качестве вольнослушательницы, она специализировалась на истории религии и сект, проявляя особый интерес к гнозису и дуалистическим течениям в христианстве под руководством известного историка Церкви Луи Дюшена. Она также изучала теософию, принимала участие в спиритических сеансах и стала членом Общества психических исследований, которое занималось изучением оккультных явлений. В зимний семестр 1899/1900 гг. в Берлине прослушала цикл

лекций Адольфа фон Гарнака под названием «Сущность христианства». В 1907 году издала свою первую книгу «Запросы мысли» с резкой критикой сторонников революционного движения. В Париже защитила докторскую диссертацию по философии о гностике Василиде и впоследствии издала ее текст в русском переводе: «В поисках за Божеством. Очерки по истории гностицизма» (1913) под псевдонимом Юрий Николаев. В 1907 году Д. стала фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Будучи заведующей отдела благотворительности императорской канцелярии, она поддерживала тесный контакт с царской семьей. Позже Д. стала решительной противницей Григория Распутина. По поручению императрицы становится руководителем попечительского совета женских тюрем Петербурга, совершая регулярные неожиданные проверки, строго следит за соблюдением прав заключенных.

С началом войны по 1916 год она руководила полевым лагерем Красного Креста при 10-й русской армии, после чего прекрасная наездница и саблистка служила добровольцем в 18-м Оренбургском казачьем полку, где участвовала в боях сначала рядовым, затем унтер-офицером и была несколько раз награждена. В марте 1917 года она вернулась в Петроград. С 1918 по 1923 год Д. работала в Публичной библиотеке в Петрограде, заведующей отделами классической филологии и инкунабул. Кроме того, она преподавала историю Англии и Франции (на английском и французском языках) в 3-м Педагогическом институте имени А.И. Герцена. В марте 1920 она по рекомендации А. М. Горького (с которым была знакома с 1905 г.) принимает руководство основанным им «Домом ученых» и становится сотрудником его издательства «Всемирная литература», для которого подготовила монографию о Платоне.

Летом 1920 года в Доме ученых Д. познакомилась с экзархом Леонидом Федоровым (1879-1935). Под его влиянием в ноябре 1920 года она присоединилась к Русской католической церкви византийского обряда (община которой в Петрограде насчитывала тогда около 70 членов, включая многих представителей дворянства и интеллигенции). Д. стала близким соратником Федорова. В сентябре 1921 года вместе с Федоровым она основала в своей квартире общину сестер, где 25.3.1922 года была рукоположена в монахини под именем Иустина. 18.11.1923 года Д. была арестована в ходе процесса против «русских католиков» и в декабре 1923 года переведена в Москву, где была заключена в печально известные тюрьмы Лубянка и Бутырка. 19.5.1924 года она была приговорена коллегией ОГПУ

к 10 годам лишения свободы за «активное членство в контрреволюционном объединении» и переведена в политизолятор «Лак» под Иркутском, где содержится в одиночной камере, в то время как в соседних камерах содержались заключенные, обвиненные в людоедстве на фоне массового голода 1920-х. В сентябре 1928 года ее перевели отсюда в концентрационный лагерь на Соловках, где она работала счетоводом и библиотекарем в музее «Общества краеведения» на Соловках и в «Кримнологическом кабинете». Во время своего сенсационного визита в лагерь на Соловках Горький встретился с Д. в июне 1929 года и попросил ее рассказать о тюремных условиях. В сентябре 1931 года Данзас перевели в пос. Медвежью Гору, в лагерь на строительстве Беломорско-Балтийского канала в Карелии, где она работала в статистическом отделе. В январе 1932 года, по ходатайству Горького, она была на год раньше срока освобождена и переехала в Ленинград, где, владея девятью языками, с трудом нашла работу в автомастерской. В 1934 году по ходатайству Горького был организован ее выезд из СССР к брату Якову Николаевичу Д. в Берлин за выкуп в 20 000 франков, кредит на который брат выплачивал до конца жизни (1943), а Юлия обязалась молчать о своем заключении в лагерях. В 1935 году она поступила в знаменитый доминиканский монастырь Пруй на юге Франции под именем Екатерина. С осени 1935 года она работала в «Доминиканском центре русских исследований "Istina"» (Лиль-Париж). В нарушение обещания молчать она анонимно публикует по-французски свои воспоминания под названием «Vagne Rouge» (Красная каторга) о пребывании в советских тюрьмах и лагерях. С 1939 года Д. жила в Риме, где читала лекции в Папской коллегии (Pontificium Collegium Russicum) и других церковных учебных заведениях. По просьбе кардинала Эжена Тиссерана она написала книгу «Католическое богопознание и марксистское безбожие», систематическую критику марксистского атеизма с католической точки зрения. 14 апреля 1942 года Юлия Данзас скоропостижно скончалась в Риме. Ее могила на кладбище Верано утрачена.

Эта публикация объединяет философские эссе Юлии Данзас и в переводе с французского глава из неоконченного ее автобиографического повествования «Головокружительная жизнь». Предваряется публикация двумя моими очерками о судьбе Данзас и ее рукописей.

Владимир Кейдан. Рим, 2023

МЕЖДУ БЕЗНАДЕЖНОСТЬЮ И ВЕРОЙ

Заметки переводчика и публикатора

Впервые после многолетнего опыта архивных поисков, отнимающих обычно много времени и приносящих часто разочарование, коллекция машинописей изданных работ и неизданных автобиографических текстов буквально сама упала мне в руки. Осенью 2022 года мне позвонила русская римлянка Анна Лиховидова, знающая о моих архивных публикациях, и сообщила, что можно немедленно получить чемодан с архивом Юлии Данзас (!), так как его потомственный хранитель срочно отбывает из Италии и освобождает свою квартиру. Разумеется, от такого предложения нельзя было отказаться, и я через несколько дней стал обладателем этого чемодана с одним сломанным замком.

По правилам оценки подлинности антикварной находки здесь следует привести провенанс, то есть историю смены владельцев (хранителей) полученного архива. Если отсчитывать от меня в обратном историческом порядке, то устанавливаются такая цепочка: Анна Лиховидова (по информации от Елены Леонидовой из Берлина), – Алессио Сколари, – его мать Камилла Лагомарсино (ум. в 2022) — её мать Лида Лагомарсино (ум. в 1966, подруга-покровительница Юлии Данзас — сама Юлия Данзас (ум. в 1942).

У Юлии Николаевны не было прямых наследников, поскольку она дважды в жизни принимала монашество. Первый раз в 1922 году в образованной ею русской католической общине византийского обряда Сошествия Святого Духа в Петербурге под именем Иустина. Однако к 1923 году она была распущена, и все ее члены, включая Юлию, были арестованы².

2

Известно, что М. Горький был знаком с Юлией Данзас еще до 1917 года, а в период сотрудничества с ней в редакции «Всемирной литературы» был увлечен ее книгами и устными рассказами на тему гностицизма и его преломлениями в русской секте хлыстов. С неё впоследствии будет написана одна из главных героинь его последнего романа «Жизнь Клима Самгина» - Марина Зотова, «кормчая» тайной хлыстовской общины.

Вот Справка об аресте Ю. Н. Данзас, подготовленная для Горького В. М. Ходасевич в феврале 1925 года: «Юлия Николаевна Данзас (после пострижения сестра Жюстина / Иустина) арестована 17 или 19 ноября 1923 года в Ленинграде и переведена в Москву (когда неизвестно). Арестована по делу католической миссии, приговорена в мае или июне 1924 года в Москве к 10 годам заключения и выслана неизвестно куда. Окольными путями брат ее узнал, что она находилась в ноябре 1924 года в лагере «Лак» Иркутской губернии. Католическая миссия, бывшая в СССР, отозвана в сентябре 1924 года обратно». Цит. по публикации: А. М. Грачева. Марина Зотова в советской России. (Максим Горький и Юлия Данзас) // «Русская литература» №2, 2020. Сс. 147–160. (Здесь и далее Пер).

Ватикан не успел признать общину и дать ей устав.

Первый документ, который я взял в руки, раскрыв старый чемодан, была справка, заверенная неразборчивой подписью нотариуса о том, что всё его содержимое принадлежало покойной Юлии Данзас. Затем внимание привлекла папка с машинописным текстом на французском языке *Lettres posturnes*, при внимательном изучении под этим титулом оказались пять автобиографических религиозно-философских эссе, написанных Юлией в одиночной камере Иркутского полит-изолятора «Лаку»³ и там же уничтоженных автором, дабы они не попали в руки тюремщиков при обыске. В Риме в 1939–1940 гг. она восстановила их по памяти, но не успела опубликовать.

Я поразился с какой стоической мудростью и глубиной описывает Юлия свой жизненный путь исповедницы Истины. На память пришли строки известной песни на слова Александра Солодовникова (1893–1974), не дожившего до публикации своих стихов (привожу в сокращении):

Решетка ржавая, спасибо,
Спасибо, старая тюрьма!
Такую волю дать могли бы
Мне только посох и сума.
< ... >
Мной не владеют
больше вещи,
Все затемняя и глуша.
Но солнце, солнце,
солнце блещет
И громко говорит душа.

Ю. Н. ДАНЗАС И РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Нельзя оставить в стороне реакцию православной русской эмиграции на плоды религиозно-философского творчества русской католички. За пределами немногочисленных русских католических общин она была

³

Основываясь на этой справке, А.М. Горький начал при содействии Е.А. Пешковой предпринимать действия по ее освобождению.

окружена стеной непонимания и неприятия даже в среде Парижской школы, объединившей лучших религиозных философов XX века вокруг Богословского института св. Сергия и издаваемого Н. Бердяевым журнала «Путь». В обретенном Римском архиве Юлии есть единственный рукописный документ — фрагмент ее письма (вырезан ножницами из утраченного текста) переводчику своей статьи на итальянский⁴:

<...> Очень рада, что Вы все-таки взялись за перевод моей статьи⁵, и благодарю сердечно за добрые слова. Я всегда стараюсь писать примиряюще, но меня русские люди редко понимают в этом смысле, так как ищут не правды и беспристрастия, а пристрастия в их пользу: беспристрастие они считают для себя оскорбительным! В Париже, когда появилась эта моя статья о русских святых⁶, меня за нее сильно ругали в Бердяевских кругах, уверяя, что я оскорбила ея Русскую Церковь!!!⁷

⁴ Текст письма написан пером, каллиграфическим почерком, фиолетовыми чернилами на листе из блокнота, большая часть которого с началом письма и именем адресата отрезана ножницами. В том же конверте лежит точный перевод того же фрагмента текста на итальянский, написанный карандашом на таких же двух листах из блокнота, но беглым, мало разборчивым почерком. На обороте второго листа карандашом сохранились неразборчивые записи бытового характера: адреса, телефоны и список лекарств с подсчетом их суммарной стоимости. В частности, читается: presso Messoiedof 80448 via Lutezia 11. Здесь же указывается адрес римского проживания Ю. Данзас: via Napoleone III, 58 int.10.

⁵ По-видимому, речь идет о вышедшей по-итальянски в 1937 году в Бреши (Ломбардия) книге J. N. Danzas. *La coscienza religiosa russa. Traduzione di Giovanni Vezzoli. Morcelliana MCMXXXVII-XV.*

⁶ Речь идет о книге *L'itinéraire religieux de la conscience russe* (1935; рус. пер.: Религиозный путь русского сознания // Символ № 37, 1997) и о рецензии Н. Бердяева, в которой он считал, что точка зрения Ю. Данзас «слишком провинциально – русско-католическая» (Путь № 51, 1936, с. 72).

⁷ В статье *Les réminiscences gnostiques dans la philosophie religieuse russe moderne* (1936, русский перевод в ж. Символ № 39, 1998) Ю Данзас критиковала русскую религиозную философию XIX-XX вв. (В. Соловьев, о. П. Флоренский и о. С. Булгаков) за наличие в ней гностических элементов. В отношении перспектив соединения русского православия с Римом она видела несущественными догматические и политические причины разделения и полагала, что диалог о возможностях сближения должен происходить на психологической почве. Обозначив как реальность исторического развития нежелание русского сознания вернуться к единству Церкви, она не считала его чем-то неизбежным и полагала, что русский религиозный партикуляризм, в отличие от «филетизма» (национально-религиозных пристрастий) других Восточных Церквей, изначально тяготеет к христианскому универсализму и никогда не отвергал Запад полностью. Разрушить стену психологического непонимания, образовавшуюся исключительно между русским религиозным умонастроением и Римом, можно, явив первому мистическую жизнь католической Церкви и ее святых. В отношении перспектив развития католичества в России Ю. Н. Данзас была близка к взглядам митрополита А. Шептицкого и экзарха Л. Федорова и обосновывала «католическое будущее России» на следующих принципах: «целостности обряда, отправляемого на протяжении десяти

За перевод этой статьи по-итальянски обещано 100 лир. Позвольте мне внести за него половину вперед, так как у Вас могут быть расходы на бумагу и пр.

Пишу все это на случай, если Вас не застану. Но во всяком случае, надеюсь Вас повидать в ближайшие дни. Сердечно Ваша Ю. Данзас

Дружески принимая сестру Иустину-Екатерину (Данзас) в своем доме в Кламаре под Парижем, Николай Бердяев высоко оценил ее богословскую эрудицию и дерзновение, но не протянул руку поддержки в ее проекте сближения православных и католиков в противостоянии марксистскому безбожию и гитлеровскому нацизму. Однако Бердяев верил в некую глубинную народную духовность, сконструированную членами религиозно-философских обществ, выразившуюся в московском православии, которое «из века в век тянет к какому-то странному, самовлюбленному величию, подстегивая, а то и конструируя себя невежеством, серостью, воспаляясь в жутком промежутке между верой и психозом истинности»⁸.

Бердяев усмотрел в её книгах «неприятный тон высокомерного презрения. Слишком часто в петровский период таково было отношение русских бар, приобщившихся к западной цивилизации, к русскому народу. Укорененная в католичестве, г-жа Данзас обладает большой самоуверенностью, успокоенностью и благополучием. Этого нет у самих западных католиков, которые, несмотря на оптимизм официальной томистской теологии, принуждены чувствовать трагизм положения и не могут уже пребывать в покое»⁹. Какое трагическое непонимание души женщины, «всё существо которой до последнего вздоха было пронизано непримиримостью с тем, что творится в России. Она углубленно изучала церковную историю, стремясь в ней найти объяснение «безумной податливости русской души насилию, ее поразительной подверженности автократии и непризнания достоинства личности»¹⁰.

веков, сохранении канонических норм, а также традиционных особенностей русской духовности». (Юдин А. Данзас Юлия Николаевна // «Католическая энциклопедия», т. I. Сс. 1532-1534).

⁸ Штрихи к портрету Юлии Николаевны Данзас:

https://www.academia.edu/34829519/Непримиримость_Штрихи_к_портрету_Юлии_Николаевны_Данзас_RUS_

⁹ Бердяев Н. Рец. на кн.: L. N. Danzas. L'itinéraire religieux de la conscience russe //Путь № 51 (май-октябрь 1936).

¹⁰ Михаил Богатырев. Непримиримость... Там же.

Именно такие монахини как Иустина-Екатерина (Данзас) и Мария (Скобцева) в большей мере, чем пассажиры «философского парохода» заслуживали стать совестью России!

НОЧНЫЕ ПИСЬМА 1939 – 1940

*Lux in tenebris lucet, et Tenebrae eam non comprehenderunt (Ioan 1:5)¹¹
Omnia excelsa tua et fluctus tui super me transierunt (Ps XLI:8)¹²*

Несколько разрозненных листов, восстановленных по памяти...

Другие возникали из глубин неустанно верной памяти, все еще продолжающей трепетать от того прошлого, когда вся моя жизнь как человека была сосредоточена в мысли, когда эта мысль жила только сама по себе, отгороженная от всех внешних впечатлений, впитывая только эту внутреннюю беседу, которая замещала все остальные источники питания... Это прошлое – четыре года, прожитые в одиночной камере на дне сибирской тюрьмы. Сначала два года полной изоляции, когда у меня не было другого спутника для моих мыслей, кроме ветра с Байкала за решеткой моего маленького окна. Затем – появление карандаша и бумаги. И тогда, чтобы облегчить усилия мысли, борющейся с оцепенением, карандаш начал лихорадочно выводить письма, которые вскоре полностью уничтожались. Письма к воображаемому другу, к несуществующему другу, который казался реальным, потому что отличался от окружающей действительности, казавшейся дурным сном.

Эти письма были написаны ночью, – долгими бессонными ночами между четырьмя серыми стенами, освещенными электрической лампочкой, которую никогда не выключали. Но письма эти были ночные и за счёт усилия мысли, которая их диктовала, ибо порыв к воображаемому другу был борьбой с помрачением разума, с интеллектуальным распадом. И это было

11 Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла (Ин 1:5). Перевод Русского Библийского общества. (Здесь и далее Пер).

12 Все валы и волны Твои надо мною прошли (Пс 41:8). Перевод РБО.

утверждение человеческого достоинства, сохраняющего свою отчетливость даже под тюремным бушлатом. И это был зов к свету из глубин ночи, который, казалось, простирался над окружающим миром...

Эти ночные письма были уничтожены, прежде чем попали в жестокие руки. Осталась только память. Но эта память усиливается, когда изоляция в запертой и зарешеченной камере сменяется одиночеством посреди равнодушного или враждебного мира. И вот связка этих писем была воссоздана, посредством игры живой мысли с воспоминаниями.

Первая связка

I

Друг, я пишу тебе, потому что мне нужно согреться твоей ласковой добротой.

Как же холодно! Как темно, в ледяной безбрежности, от которой меня отделяют только прутья моей камеры! И сквозь эти прутья холод проникает, как непримиримый враг, как палач, которому поручено уничтожить последние биения жизни в моем брэнном теле.

Наступила ночь. Не ночь, трепещущая от теплых излияний, дрожащая от пения звезд, – а темная и безмолвная ночь мерзлых земель, черная бездна, где сам снег становится тёмной завесой.

Я нахожусь в могиле, в десяти тысячах лье от любого человеческого существа, способного понять меня. А моя мысль парит в пространстве, гордясь своей свободой, которую не может отнять никакая человеческая сила. Я больше не существую для этого мира, и поэтому он принадлежит мне целиком; я не более чем крупица живой плоти, обездвиженная где-то, – поэтому моя мысль знает только безграничное пространство, из которого она создает свой удел. Она и тебя где-то там обнаружила и увидела, как ты радостно обретаешь себя.

В этот ночной час ты сидишь за своим большим письменным столом, окруженный своими книгами, которые мне нравится листать, потому что я нахожу там книги из моей исчезнувшей библиотеки. Ты склонился над своей работой, и серебряная корона твоих волос под лучами лампы становится ореолом на твоём прекрасном челе мыслителя. И рукопись, к которой ты

добавляешь последние строки, – это то глубокое исследование проблемы личности, проект которого был одной из моих дико амбициозных мечтаний и который, как я вижу, ты реализуешь. Ведь в этом и заключается наша тайна: ты делаешь то, о чем я могла только мечтать. У тебя есть все, что было у меня, и ты добавил к этому себя, столь отличного от того, кем была я. Ты наложил себя на моё ненавистное «я». И я хочу видеть, как ты работаешь, покрывая своим красивым, четким почерком те листы, которые являются чистыми страницами моих мыслей. И я хочу видеть твою улыбку, ту серьезную улыбку, в которой сияет творческая мысль.

Кстати. Это я сейчас улыбаюсь, распухшими от цинги губами. Я улыбаюсь, когда думаю, что если бы эти строки (не твои, а мои, те, что я вывела здесь на клочке оберточной бумаги), – если бы эти строки, говорю я, попались на глаза одному из твоих ученых коллег по психическим или психопатологическим наукам, то этот почтенный господин немедленно обнаружил бы в них самые решительные симптомы болезненного состояния, которое он счёл бы ужасающим. Мой случай показался бы ему еще более серьезным, если бы он попытался изгнать твой дорогой образ из моего сознания. Я бы отказалась, я бы отстаивала свое право разговаривать с тобой и считать тебя своим лучшим, единственным другом.

Да, здесь, кажется, есть сложность. Дорогой и великий друг, ты не существуешь во плоти и крови, – как и твои дети, внуки, весь этот семейный и дружеский круг, в который ты меня заключаешь, вся эта среда, такая теплая, такая светлая, куда мои мысли иногда устремляются, чтобы прижаться к тебе. Ты не занимаешь точную точку в пространстве, – а значит, тебя нет!

Что ж, я отрицаю это следствие. Ты есть, потому что я хочу, чтобы ты был, – потому что ты для меня более реален, чем реальность. Кто же тогда заставит меня поверить, что реальность – это то, что меня окружает, – эта ужасная темница, серые стены с подозрительными пятнами, изморозь на решетках с сосульками, скрип замков, хриплые голоса двуногих, чьи тяжелые шаги сопровождаются звяканьем ключей? Это нереальный кошмар в его ужасе и абсурде. Это болезненный сон какого-то злобного существа. Я не хочу быть одержимым им. Я гоню его прочь, чтобы проснуться в более реальном для меня мире, в мире, где не слышно ни лязга ключей, ни рыданий и криков жертв, которых тащат на дыбу, – в мире благородных и великодушных идей, – в мире, где тепло, на солнце или у доброго огня, – в своем доме...

Реальность или призраки? Кто может сказать, ведь мы не в состоянии

определить реальность? Почему ты должен быть менее реальным, чем многие ушедшие люди, которые существуют только в моей памяти? Сколько я встречала в своей жизни человеческих существ, которые ушли, как тени, не оставив после себя никакого осязаемого следа! Светлые или зловещие тени, в зависимости от впечатления, которое я когда-то получила и сохранила в памяти, но, возможно, это впечатление было ложным? Мы знаем о живых существах только то, что воспринимаем, и даже тогда это восприятие подчинено нашему душевному состоянию, нашему настроению в момент встречи... Что мы знаем об истинной личности случайно встреченного человека? Впечатление, которое мы о нем получили – если предположить, что память верно сохранила воспоминания, – может не соответствовать ничему реальному.

Почему кто-то может меня уверять, что эти тысячи персонажей, с которыми я соприкасалась, не задумываясь об этом, являются или были более живыми, чем персонажи литературного вымысла или те, кто, подобно тебе, вошли в мою внутреннюю жизнь и окружают меня в моем сновидческом существовании?

Кто? это правда, я всегда жила во сне, даже в дни моей энергичной и жаждущей молодости, в годы, столь полные активности, любопытства, интенсивной жизни. Даже тогда никакая осязаемая реальность не могла удовлетворить мою жажду знать, понимать и достигать всего (даже тогда, чтобы жить сразу везде, я умела жить не здесь, а в другом месте, и у меня были невидимые спутники этой тайной жизни). Для меня реальность всегда была лишь промежуточным звеном. Но только позже я поняла, что эта реальность сама по себе была лишь иллюзией, и что впечатление, которое я испытывала, могло быть более обманчивым, чем мираж.

Более того, если под прожитой реальностью мы подразумеваем существование и действие субъекта, действующего в пределах пространства и времени, то можно с уверенностью сказать, что многие персонажи, рожденные только воображением, оказали более продолжительное влияние, чем миллионы человеческих существ, которые "реально" ходили по земле. Вертер или Дон Кихот повлияли на большее количество людей, чем те, кто в свое время казались живыми хозяевами человеческого стада. О, не пожимай плечами, уважаемый друг! Я прекрасно понимаю, что за вымышленным персонажем стоит творческая личность, проекция мысли, иногда бессознательное раздвоение автора. Тем не менее, в этом двойничестве

именно нематериальная часть наделена жизнью и действием больше, чем реальное существо, который держало перо и память о котором сохраняется только благодаря ассоциации с воображаемым реальным субъектом. И Беатриче, безусловно, более реальна, чем сотни молодых флорентийцев, которые в ее время прогуливались по берегам Арно.

Да ладно, ты ведь рассердишься. Тебе не нравится, когда мои грёзы переходят в бредни. Ты не можешь забыть, что ты принц Науки, – Науки с большой буквы Н, – ты не терпишь мудрствований на тему ужасной проблемы, которая терзает человеческий разум, – проблемы реальности. Ты осмеливаешься подходить к ней только со всем научным анализом, на который способен, с заботой о своей целостности как великого ученого. Смешно подумать, что ты попытаешься доказать мне, что тебя не существует...

Кто же ты тогда, дорогой друг? Мечта о том, кем бы я хотела быть? Дубликат моего незавершенного существа? Грёза от мании величия, о *res cogitans*¹³, которая умирает во мне?

Нет, я не хочу, чтобы у тебя было со мной что-то общее, кроме нашей нематериальной дружбы. Я хочу, чтобы ты был прославленным ученым, чей гений равен только его великому сердцу; я хочу, чтобы в тебе и вокруг тебя был этот очаг интеллектуального света, который никогда не затмевается мелочностью и уродством жизни; я хочу, чтобы ты был далеко от меня, чтобы был высоко, и чтобы я могла иногда порхать где-нибудь рядом с тобой, чтобы немного погреться у этого очага...

Но сейчас я должна покинуть тебя, ибо ночь выползает из моей камеры и забирает с собой все лучшее, что есть во мне. Снаружи бездна тьмы превратилась в серый туман, на фоне которого чернеют решетки моего окна. Так вот какова реальность – это зловещее видение решетки на фоне бледного неба?

13 *Res cogitans* (лат.) – мыслящая вещь – важнейшее понятие философии Рене Декарта и других метафизических систем Нового времени. Для Декарта выражение «*res cogitans*» означает краткую дефиницию души. Мышление – ее сущностное свойство. «Декарт Рене» // Краткий философский словарь, М., 1989, с. 152.

II.

Друг мой, я написала тебе еще одно длинное письмо. Письмо, которое можно написать в одну из тех долгих бессонных ночей, когда все жизненные силы концентрируются в акте мышления, когда все чувства стираются неким оцепенением, и «*cogito ergo sum*»¹⁴ становится единственной реальностью. И акт мышления тогда не является усилием, - он даже в целом не является актом создания образов или формул: мысль кажется полностью оторванной от жизненного организма, она имеет независимую жизнь, она навязывает себя телу как высшая и властная сила, сокрушающая организм, над которым она господствует. В этом есть элемент страдания, как и во всяком разрыве. Но есть и чувство освобождения. Это реальная сущность, прорывающаяся сквозь оболочку видимости. Только вот эта интенсивная жизнь, которую она требует для себя, порой настолько чужда жизни тела, что само её присутствие ощущается как угнетающее. Это «безумная хозяйка дома», которая царит в бедном обветшалом жилище.

Короче говоря, я написала тебе длинное письмо, и мне кажется, что лучшая часть меня лепетом вырвалась в нем наружу. Но оно не смогло пережить эфемерного существования даже в глубине тайника (в углу моего тюфяка), где мне иногда удается хранить свои эпистолярные излияния в течение нескольких дней, прежде чем уничтожить их. В этот раз отвратительный и жестокий обыск произошел неожиданно, в непредвиденный момент, и я едва успела убрать клочки бумаги, которые раскрыли бы моё противозаконное занятие, мерзкое и преступное в глазах моих тюремщиков. Так что прощай письмо и мысли, которые оно пыталось выразить. Я хотела сказать, что мне его жаль – того единственного, что у меня перед глазами. Но абсурд также является одним из таинственных законов нашего бытия.

И теперь я предаюсь грёзам о бесчисленных человеческих произведениях, которые так и не увидели свет, о творческих усилиях, которые так и не дали ощутимых результатов, о плодотворной мысли, которая так и не смогла материализоваться. Натуралист знает, что природная расточительность

14 «Мыслью, следовательно, существую» — гласит фундаментальное положение Декарта. «Мыслью» означает здесь — смотрю на акт своего мышления как бы со стороны, отчего по другую сторону акта мышления обнаруживаюсь Я, мыслящий, мыслящее сознание субъекта. «Существую» же означает соответственно существование не в качестве объекта (мыслимого), но в качестве субъекта, стоящего за актом мысли, в качестве мыслящего.

порождает миллионы бесполезных зародышей (таких как неоплодотворенные яйца), – но это остается в физической области, где легко представить себе непрерывное подчинение закону отбора для производства форм, предназначенных для жизни. Гораздо большее беспокойство вызывает вопрос о напрасных усилиях, когда речь заходит о творческом действии разума. Эти усилия могли быть долгими и кропотливыми, или это мог быть внезапный всплеск мысли, молния из темных глубин. В любом случае, это образ, идея или целая цепь идей и образов, которые стремились обрести форму, которым удалось родиться в тайне творческого действия, – но этому действию не хватало определенных внешних средств выражения, или они были даны только для того, чтобы исчезнуть вместе с доверенным им сокровищем. Я думаю о тысячах рукописей, «отвергнутых» глупым редактором, о тысячах других, на которые никто никогда не обратил внимания. В нескольких из этих пренебрегаемых или игнорируемых листов, может быть, откровение одного из самых прекрасных шедевров, которые произвело человеческое слово. Значит ли это, что этот шедевр, поскольку он оставался неизвестным, не оставил следов своего существования? Я так не думаю. Если он не смог обогатить нас в нашем сознательном существовании, то сделал это в сфере подсознательного или сверхсознательного, – в том царстве невыраженной мысли, которое окружает нас, как океан непроницаемых излияний. И чудесные интуиции, которые иногда озаряют наше сознание в житейских столкновениях, в первых всплесках отвращения к зрелищу глупости и вульгарности, господствующих в мире.

Я всегда чувствовала, что победа материи над духом никогда не может быть полной - и позже я поняла, что борьба между духом и материей происходит на всех плоскостях нашей жизни, от великих философских концепций до мельчайших деталей повседневной жизни, до мелких случайностей и порой гротескных обстоятельств, которые мешают осуществлению плана, идеи, простого намерения или хорошего замысла. Так вот, во всем, что мы делаем, имеет значение только намерение - христианское учение правильно учит нас этому - и это доказывает, что одно только намерение уже является более истинной реальностью, чем само действие и способ выражения этого действия. Это не только универсальный закон. И как только мы понимаем его, как только мы можем проникнуть в его глубины, у нас появляется представление о вечном предписании, которое проявляется не только в низших степенях бытия - в осязаемой реальности, - но и во всех высших

степенях нематериальной реальности, в царстве мысли. Мысль, порожденная *res cogitans*, не нуждается в общении с другими живыми существами, чтобы стать реальной сущностью, - она есть и живет сама по себе, и ее таинственное существование продлевается слиянием с мириадами других человеческих мыслей, образующих океан сновидений, в котором купается человечество. Вернее, можно сказать, что эта непрекращающаяся проекция мысли и есть внутренняя жизнь всего человечества. Подобно тому, как мириады животных молекул, накапливая свою микроскопическую работу, в итоге рожают новые континенты, - неуловимая работа размышлений миллионов мыслящих существ в итоге создает духовную и интеллектуальную атмосферу, в которой движется сознательное «Я» человечества. Благотворные или ядовитые излияния, мечты о красоте или злые похоти, - всё возникает для того, чтобы мы дышали ими, не осознавая этого, и страдали от их влияния, даже не чувствуя их воздействия.

Только религиозное чувство вводит человека в тайну этой среды и учит его либо реагировать волевым актом на вредоносные побуждения, либо прислушиваться к тем, которые он считает полезными.

Понимание более истинной реальности, чем та, что доступна нашим грубым чувствам, даёт нам только религия, и это высшее чувство реальности отражается даже в самых странных или извращённых концепциях заблуждающегося религиозного сознания.

Такова, например, магия, которая смогла пережить насмешки, которыми ее покрывали до сегодняшнего дня, только благодаря элементам реальности, которые она содержит, иногда обезображивая их, как вогнутое зеркало искажает отраженный образ. Таковы жалкие потуги спиритизма, теософии или других убогих доктрин, которые сегодня в моде, - слабые попытки стряхнуть с себя ярмо удушающего материализма, вернув человечеству что-то отдалённо напоминающее стёртое религиозное чувство. И если все эти убожества иногда имеют эффект откровений и заново открытой "древней мудрости", это лишь потому, что они несут в своих мутных водах несколько обломков того, что было и остаётся истинным значением имманентной и нематериальной Реальности. Убожества, да, - но более респектабельные, или менее невыносимые, чем высокомерная бессознательность, которая видит в человеке только нервную систему и в общей жизни человечества только законы материальной среды. Это правда, что для объяснения психологии толпы мы сегодня применяем к ней гипотезы о взаимном

внушении, гипнотизирующем влиянии и т.д., о которых наука столетия назад и слышать не хотела, и которые сегодняшняя наука формулирует, не зная, как от них уклониться... Чтобы понять человечество, нужно сначала понять себя, почувствовать себя выше себя, почувствовать себя частью не только материальной жизни, но также и прежде всего существования высших планов, почувствовать себя живущим иным образом, чем через тело, и знать, что эта таинственная жизнь более реальна, чем другая.

Иметь восприятие этой реальности, отражением которой является лишь наша сознательная жизнь, значит понимать, по крайней мере в общих чертах, окружающий нас человеческий мир – то, что мы называем настоящим, нынешней жизнью человечества. Но прежде всего это означает понимание прошлого, того, что мы называем историей. Историк, в истинном смысле этого слова, – это тот, кто умеет распутать в многообразии фактов действие причин, следствием которых эти факты являются. Но как мало историков, даже среди самых великих, умеют видеть в явлениях прошлого нечто иное, чем цепь политических или географических причин! Современная историческая школа энергично выступила против устаревших концепций, которые приписывают все события прошлого доброй или злой воле монархов и других правителей народов или даже их капризам. Однако, поступая справедливо по отношению к этим упрощенным концепциям, мы слишком часто заходили слишком далеко, вплоть до отрицания роли самой человеческой воли. Было показано, что человеческим стадом управляют только обстоятельства, не зависящие от него. И самое главное, отрицая роль изолированных индивидов, топя личности в анонимной толпе, часто забывали, что сама эта толпа представляет собой активную, хотя и бессознательную, волю, и что генезис этой воли нельзя объяснить только материальными обстоятельствами. Другими словами, нельзя понять историю, если игнорировать духовную и интеллектуальную атмосферу, которая придает человеческому сознанию, индивидуальному или коллективному, форму, в которой оно формируется. В прошлом, как и в настоящем, есть и были люди, которые действуют, и люди, которые думают и распространяют свои идеи, и огромная масса человечества, которая думает, всегда рефлекторно, бессознательно, как дышит, – и именно проекция всех этих бесконечных потоков мысли формирует фон умонастроения эпохи, фон всей человеческой деятельности. Вариации коллективного менталитета от одной эпохи к другой – это не только результат изменения внешних

обстоятельств, но также и прежде всего накопления унаследованных идей и их трансформации, подобно явлениям мутации, с которыми имеет дело биология. Здесь есть своего рода параллелизм, поскольку человеческая ментальность – ментальность больших человеческих масс даже в большей степени, чем ментальность отдельного человека, – часто представляет случаи внезапного возвращения, воспоминания, совершенно аналогичные случаям повторного появления прародительского типа в биологической наследственности.

Если я говорю с тобой об этом, друг, то это потому, что я много и больше, чем когда-либо, думаю о проблемах исторической эволюции. Я много думаю о прошлом не только для того, чтобы объяснить себе настоящее, но прежде всего потому, что чувствую, что живу в нём больше, чем в настоящем. Полная изоляция, в которой я нахожусь, отделяет меня от современной жизни, но это даёт мне ощущение преодоления Времени: Средневековье так же близко мне, как и двадцатый век, поскольку последний существует для меня по большей части только в моей памяти. Итак, этой памяти, которая всегда верна мне, я даю волю, я позволяю ей блуждать по векам, как ей заблагорассудится, я переношу себя в самые разные эпохи, иногда для того, чтобы проследить общую картину, иногда для того, чтобы вспомнить мельчайшие детали того, что составляло повседневную жизнь, обычаи, впечатления, сплетни и сенсационные новости. Видеть прошлое, чувствовать себя живущим в нём – это способность, свойственная историкам по призванию, и она иногда смущает в обычной жизни, когда человек чувствует себя живущим в другой эпохе, нежели та, в которой он оказался. Но эта способность становится блаженным наслаждением, когда человек отрезан, как я, от того, что называется нормальной жизнью. Ни один тюремщик не может лишить меня этого наслаждения, так же как решетки моей камеры не могут помешать моим мыслям парить в пространстве. Одиночество – это победа над пространством и временем.

Чаще всего мои размышления обращаются именно к картине общего хода веков. И иногда я вспоминаю евангельское повествование, глубокий смысл которого я начинаю постигать: «*Ostendit ei omnia regna mundi et gloria eorum*»¹⁵... Да, вся слава мира в череде веков, и не только слава великих империй и дивных эпопей, но скорее вечные усилия человеческой мысли, внутренняя

15 «Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их» Мф 4:8. (Синод. перевод).

жизнь человечества в многообразных аспектах, в которых скрытые силы получают внешнее выражение.

Но чтобы общая картина не отклонялась от истины и не погружалась в грёзы, она должна укладываться в рамки реальных и документально подтверждённых знаний, которыми мы располагаем о прошлых временах. В течение своей жизни я смогла приобрести значительное количество этих знаний, чтобы комфортно двигаться сквозь туманы истории, и именно сейчас я могу в полной мере оценить ценность этого преимущества. И я не могу позволить своей памяти заржаветь: я тренирую её, заставляя себя восстанавливать все детали события или эпохи, иногда запрещая себе рисовать схематические контуры и сначала обязывая себя к кропотливой работе по сбору всех данных, из которых складывается материал великой мозаики. Я беру дату или очень ограниченный период – десятилетие или четверть века – и пытаюсь воскресить в своей памяти все, что я могла знать об этой дате или этом периоде, все, что моя память могла зафиксировать по этому вопросу.

Зачем писать все это тебе, о великий друг, который никогда не прочтет это письмо? И даже ты, обладая тем гением, который я тебе «одолжила», возможно, не понял бы, если бы прочитал, что выражает это письмо: усилие прикованной мысли, которая больше не живет, кроме как воспоминаниями, и цепляется за них усилиями памяти, чтобы чувствовать себя живой. Я бы не поняла этого несколько лет назад. Никто не может понять этого, не испытав полного одиночества.

Но это одиночество является также освобождением. Это освобождение от ига категорий нашего рассудка, и это та атмосфера, в которой происходит таинственный подъем сил, о существовании которых мы едва ли подозревали в себе. О *beata solitudo!* О *sola beatitudo!*¹⁶

О, если бы это одиночество не было тюрьмой, стены которой источают страдания! Если бы оно сопровождалось тишиной, нарушаемой только пением птиц, вместо того почти непрекращающегося рёва, который разносится по длинным мощным коридорам и состоит из смеси криков, стонов, ругательств и богохульств, – чудовищной смеси всех проявлений боли и ненависти.

И что такое излияние внутренней жизни каждого человека в этих стенах, как

16 О благословенное одиночество! О единственное счастье! (лат.)

не тяжелые облака ненависти и невыразимого страдания? И решетки на окнах, кажется, существуют только для того, чтобы предотвратить распространение этого потока ужаса наружу... Но нет ни заборов, ни крепостей, которые могли бы остановить ядовитые потоки и остановить их пагубное действие. Сколько человеческих существ, вблизи этой проклятой тюрьмы и во всем мире, находятся под ее влиянием, не осознавая этого и не зная происхождения этих потоков? Существо чья нравственная атмосфера заражена.

О, реальность зла! Здесь только одиночество позволяет понять её во всей полноте. И прежде всего одиночество в этой непригодной для дыхания моральной атмосфере.

Друг, ты, владеющий сокровищами науки, ты, обитающий на высотах человеческой мудрости, – ты упустил этот опыт. И именно поэтому есть вещи, которые я не могу тебе объяснить.

III.

Друг, я чувствую необходимость поговорить с тобой сегодня вечером, потому что мне необходимо почувствовать прикосновение человечности, я должна вспомнить, что на земле есть люди, достойные этого имени (разве ты не являешься символом и синтезом этого?). В эти дни мне, как никогда раньше, пришлось увидеть глубину бездны, в которую может погрузиться род человеческий. Мое одиночество, увы, не мешает звукам жуткой атмосферы проникать ко мне, и одно из ночных страданий – слышать крики приговоренных заключенных, размещенных на нижнем этаже, – когда некоторых из них уводят на пытки, что происходит почти каждую ночь. В эти дни было много таких несчастных, и, в частности, значительная группа каннибалов, осужденных за убийства, совершенные с целью пожирания жертв. Каннибалов, которые не имели ничего общего с антропофагами – племенами Африки или Полинезии. Они были просто русскими крестьянами, христианами, родившимися в христианской стране, чьи родители, благочестивые православные, никогда бы не осмелились есть мясо во время Великого поста... Пришла революция и опрокинула все секулярные идеи, которые эти бедные люди считали неизблемыми, как законы природы.

Затем пришли религиозные преследования со страшной профанацией

всего священного: уже расстроенные бедняцкие головы увидели, что самые ужасные святотатства могут совершаться без того, чтобы молния поразила нечестивцев, и это было для них страшным открытием, которое укрепило их в новой идее, что провозглашение свободы совести означало: «нет больше совести, к которой нужно прислушиваться, нет больше ограничений»...

Затем, наконец, наступил голод, унесший миллионы жертв и низведший часть населения до питания трупами животных, затем человеческими трупами и, наконец, человеческой плотью. И многие из этих несчастных привыкли к ужасной пище, они приобрели к ней вкус, они искали ее даже тогда, когда могли бы получить что-то другое. Так образовались целые группы антропофагов; те, кто сейчас в комнате под моей камерой ожидает часа своих мучений, – это выжившие из группы, состоявшей из сотни этих жалких существ: окруженные в лесу войсками, посланными в погоню за ними, они съели друг друга, и их осталось всего около тридцати. Я слышу их крики и богохульства. Приходят тюремщики и в тишине рассказывают мне ужасные подробности. Один из этих несчастных – безумец, он отказывается от любой другой пищи, кроме человеческой плоти, и не получая ее, разрывает себе руки зубами. Другой, которому удалось сбежать, был пойман (и застрелен на месте), когда схватил маленького ребенка и как волк начал пожирать его живьем...

Почему я рассказываю тебе об этих ужасах, когда я пишу тебе именно для того, чтобы оторваться от этой атмосферы? Потому что вид этих человеческих существ, буквально низведенных до состояния скотов, заставляет меня как никогда остро ощущать глубину бездны страданий, в которую погружается человечество. Есть физическое страдание (и Бог знает, что оно может быть столь же разнообразным, сколь и невыносимым!), есть моральное страдание, которое зачастую гораздо более жестоко, есть страдание отупения, которое страдающее от него существо не осознаёт в полной мере, – ведь именно впадая в состояние скотины, человек больше не чувствует, что находится в нём, – и это страдание является раной, нанесённой всему человечеству. Человек, который страдает от него, не чувствует его, и многие из его современников не знают об этой ужасной ране, которую человечество несет на своем боку. Но человечество – это Мистическое Тело... Дух и тело должны быть там в равновесии. Зияющая дыра в духе – это дыра, язва в теле.

И рано или поздно человечество осознает это, оно будет страдать от последствий этих ударов, которые оно получает сегодня, не обращая на них

внимания. Происходит потеря духовной сущности, последствия которой будут ощутимы. И человек будет удивляться, откуда берутся новые злодеяния, которые постигнут измученное человечество...

Страшный кризис, через который мы проходим, конвульсии, в которых бьются народы, моральная деградация, столь заметная повсюду в этом послевоенном мире, – разве это не следствие самой жестокой войны? И это в гораздо более глубоком смысле, чем можно себе представить, гораздо более мистическом. Закон искупления непреложен – в этом секрет как социальных болезней, так и болезней, которые возникают у индивида в результате злоупотребления физическими принуждениями. Только в социальных болезнях искуплением занимается общество, потому что зло было причинено самому обществу, хотя и совершено порой бесконечно малой частью человечества.

И разве сама ужасная война не была искуплением за беспечность, за оскорбление, нанесенное жизни обездуховлением?

Искупление, вечно проливаемая кровь, искупление через страдания... Как много я думала об этом во время войны, прежде чем мне пришлось погрузиться в эти размышления в условиях революционных потрясений!

Есть один эпизод войны, который навсегда запечатлелся в моей памяти. Я думала описать его в литературной форме, но какая-то интимная застенчивость всегда мешала мне это сделать. Друг, вот зарисовка, которую я посвящаю тебе:

Это было в 1915 году, на русском фронте, где я была, как ты знаешь (поскольку подразумевается, что ты знаешь мое прошлое без того, чтобы я тебе его рассказывала), во главе фронтового медицинского отряда. На фронте в то время напряжение было особенно велико. Мы медленно, шаг за шагом оттесняли немцев, которые вытеснили нас из Восточной Пруссии и ворвались в наш дом под стенами Гродно, а затем под нашим давлением были отброшены назад. Мы отогнали их к старой границе двух империй. Никаких больших сражений, только тихая и упорная рукопашная схватка в литовских и польских болотах. Дальше на юг, на австро-русском фронте, развивалось великое русское наступление, и оттуда к нам приходили победные сводки, от которых у нас перехватывало дыхание, – сообщения о смелых кавалерийских атаках, о взятых городах, – словом, в то время там была вся пафосность и блеск войны, как мы ее себе представляем.

Здесь же не было ничего подобного: безмолвная, непрекращающаяся

и яростная борьба, именно потому, что здесь не было ничего, кроме отвратительной стороны войны, и не было ничего, что могло бы придать ей хоть немного блеска. И грязь вокруг, – эти ужасные болота, иногда зловонные, чаще всего предательски скрытые травой и коварно поглощающие людей и лошадей, рискнувших на шаг сойти с дороги. Эти дороги, заранее подготовленные для стратегических маршей, теперь непредсказуемым образом забивались бесконечными колоннами беженцев...

Целое население бежало под напором непреодолимой паники. Этот людской поток хлынул на дороги, как полноводная река, сметая все преграды, затопляя или оттесняя колонны войск и артиллерии. Иногда войска пытались оттеснить поток хором проклятий, а иногда и ударами, но колонна беженцев в конце концов перестраивалась и снова захватывала дорогу, разматываясь, как огромная змея с бесконечными складками, в нагромождении фургонов, повозок и телег всех видов, где громоздились целые семьи с детьми, собаками, кошками, курами или кроликами, со всей их бедной мебелью и скромной домашней утварью.

И все это двигалось в непрекращающемся грохоте, в котором смешивались скрип бесчисленных колес, причитания и ругань, плач женщин и детей, вопли младенцев, лай, крики всевозможных животных, – что там еще я знаю...

Этот «конвой» можно было услышать издалека; он был похож на протяжный вой самой земли, который, казалось, ты слышала, когда похоронное видение исчезало в облаке пыли или пропадало под серой толщей дождевого ливня. Куда они шли, все эти бедные выкорчеванные человеческие останки? Они не могли говорить за себя, они шли вслепую, куда угодно, с единственной необходимостью не слышать звуки орудий и не видеть, как рушатся крыши их домов. Наблюдая за ними, я часто думала, что это начало нового переселения народов. Потому что мы уже чувствовали, как старая земля дрожит под нашими ногами. И еще я думала, что эти несчастные люди уносили с собой не только свои страдания, но и предвкушение новых бед...

Бедная маленькая деревушка! Должно быть, когда-то она была довольно милой, расположенной на холме, где пересекались две дороги, на краю большого Августова леса. У подножия холма вдоль леса протекал ручей, похожий на голубую муаровую кайму, нанесенную на огромный бархатный плащ темно-зеленого холма, который с его вершины был виден, насколько хватало глаз. Из двух дорог, пересекавших деревню, одна шла вниз по холму,

через ручей по деревянному мосту и в лес; другая пересекала его в центре деревни и шла вниз по склону холма по линии, параллельной лесу, чтобы соединиться с бесконечным мостом на сваях, перекинутым через болото. Точка пересечения этих двух дорог образовывала главную площадь деревни и была окружена ее маленькими домиками. Этого достаточно, чтобы показать, что бедная деревня, к своему несчастью, представляла собой стратегическую позицию с военной точки зрения, – поэтому, когда она оказалась в "зоне операций", за нее развернулась ожесточенная борьба.

За нее сражались четыре дня, и она трижды переходила из рук в руки. В течение четырех дней она без передышки подвергалась урагану железа и огня. И когда на четвертый день она оказалась в наших руках, от нее ничего не осталось.

Мне пришлось пройти там через несколько часов после огненной битвы. Немцы отступили к навесному мосту, наши люди шли за ними, а где-то рядом еще продолжался бой, но уже ослабленный: убойная сила иссякла. Наступившие сумерки принесли передышку, в которой все нуждались. Болото окутало густое облако тумана, в котором утонули следы битвы. Грохот пушек вдалеке звучал как лай уставшей собаки.

Мне нужно было пойти в сектор санитарной службы штаба, чтобы выяснить, какие приготовления нужно сделать на следующий день. Поэтому я выехала впереди своего отряда и поскакала верхом с четырьмя своими людьми по дороге, ведущей к деревне. У подножия холма мы пришпорили лошадей, чтобы взобраться на довольно крутой склон.

Сумерки уже уступали место первым вечерним теням. Дорога была лишь полосой серой массы, выделяющейся на черноватом фоне, где смутно вырисовывались силуэты нескольких деревьев, точнее, обгоревших, скрюченных стволов, ветви которых казались руками, протянутыми к небу и застывшими в надсадном крике отчаяния. Не было никакого шума. Никаких следов жилья. Да, оно было: по обе стороны дороги большие черные пятна указывали на места, где стояли деревенские дома.

Один из моих людей ворчливо сказал: «Нечего и говорить, все сровняли с землей», – но тут же умолк, ибо человеческий голос странным эхом отозвался в этой мертвой тишине. Да, это действительно была Смерть, которая царила там, одинокая и торжествующая, молчаливо приветствуя свою сестру Ночь, чтобы показать ей свою работу.

Мы медленно поднялись по склону, отмеченному этими черными пятнами,

некоторые еще дымились. Казалось, сами лошади ступали осторожно, чтобы не нарушить смертельную тишину. Иногда случалось небольшое уклонение: это было какое-то другое место на дороге, где лежал труп собаки, женская туфля, какой-то бесформенный предмет, чтобы вдруг напомнить нам, что здесь, за несколько дней до этого, была суета и шум маленького человеческого муравейника, что люди познали здесь жизнь, работу, любовь, радости и печали, смех и слезы...

Мои люди все, казалось, задумались, опустив головы. Возможно, каждый из них думал о своей родной деревне, где-то далеко позади нас, – родной деревне, трепещущей от радостных звуков в этот час, когда вечер загоняет стада в хлева, а женщины занимаются скотиной или зовут на ужин детей, играющих у большого пруда, а старики разговаривают на порогах своих домов, слушая, как молодые девчата поют у колодца...

Так же было здесь и несколько дней назад. А теперь ничего, только безмолвие Смерти, приветствующее тишину Ночи.

На вершине холма двойной ряд черных пятен внезапно расширился, образовав круг, который указывал на то место, где раньше была большая площадь. Черный круг, где все еще дымились бесформенные обломки; нити дыма уже сливались с ночными тенями, которые, казалось, медленно поднимались из болота, чтобы завладеть опустошенным холмом. Слева просторы леса представляли собой безбрежную черную пропасть, где где-то вдалеке светилось красное пятно костра. А на горизонте, где темнота леса встречалась с темнотой неба, еще одно красное зарево показывало последний отсвет заката, похожего на лужу крови. Вся кровь, которая текла здесь, само небо, казалось, было окроплено ею...

Теперь мы находились в центре того, что раньше было площадью, – и вдруг перед нами возникло видение. Это было большое распятие, деревянная «Голгофа», которая обозначала перекресток дорог, согласно обычаю, очень распространенному в польских деревнях.

О, это распятие вряд ли можно было назвать произведением искусства. Какой-то местный умелец, наверно, грубо вырубил его топором, затем покрасил, как мог, и поставил его здесь, окружив, как это было принято, небольшим деревянным частоколом, куда женщины приходили вешать цветы, кусочки лент или вышивки и другие скромные подношения такого рода.

Но дождь смыл броскую краску, ветер и пыль смягчили грубые контуры,

патина времени оставила свой благородный след. И теперь, когда ночная тень скрыла все детали, можно было видеть только распятую человеческую фигуру – это было поразительное зрелище. Он стоял там как вечный символ вечного страдания и искупления. Это было воплощение великой тайны – вечно проливаемой крови – «от крови Авеля до крови священника, закланного перед алтарем»¹⁷, от крови Богочеловека до потоков крови братоубийственной борьбы, стремящейся уничтожить в человеке чувство божественного...

Как это деревянное распятие осталось стоять и не сторело? Како оно выдержало пламя, которое превратило площадь в настоящий ад? Окружавший ее часток кол теперь представлял собой кольцо черного пепла. Дома, окружавшие ее, были не более чем кучами тлеющих огненных огарков. И в центре этого огненного круга деревянное распятие оставалось нетронутым! И оно стояло там как напоминание о вечной победе духа над материей. Смиранные люди, которые сделали это распятие, те, кто омыл его потоками своих молитв, даже не подозревали, что они оставили там дыхание жизни, более сильное, чем их бедные человеческие жизни. Если бы они увидели его сейчас, это распятие – обломки, оставшиеся нетронутыми в центре страшного пекла, – они бы смиренно распростерлись перед чудом. Но чудо заключалось не просто в том, что кусок дерева смог противостоять пламени. Это был символ, стоящий там посреди небытия смерти, символ невыразимой тайны, которая торжествует над всеми беспощадными сторонами жизни. Символ всех человеческих страданий, сгущенных в вечном жесте Того, Кто один вынес все их бремя, – жесте двух рук, судорожно сжатых от боли, но открытых, словно для того, чтобы обнять весь мир, жесте страдания, который путают с жестом благословения.

Искушительное страдание, единственная разгадка вселенской тайны...

Ни один богословский трактат не научил меня так многому, как это видение, возникшее в ночных тенях, в тишине смерти, на бедном клочке земли, пропитанном кровью.

Я не знаю, сколько времени я простояла там, размышляя над этим видением. Я подала знак своим людям продолжать путь, а сама остановила лошадь перед распятием, наблюдая, как оно мало-помалу тает в сгущающейся темноте,

17 Ср. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником» Мф 24:35. (синод. пер.).

отдавшись потоку мыслей, которые, напротив, рассеяли внутреннюю тьму и заставили меня увидеть свет, о котором я до сих пор не подозревала...

Вдруг моя лошадь вздрогнула от легкого взвизга и повернула голову на звук торопливой рыси. Мои люди, обеспокоенные моей задержкой, возвращались и искали меня. Очарование было разрушено. Я сорвалась с места и поехала к своему маленькому отряду, в ночных потемках, которые уже совсем сгустились.

IV.

Друг, сегодня я возвращаюсь к тебе после нескольких дней онемения. Ты знаешь, что я не всегда могу говорить с тобой. Бывают дни (и даже ночи), когда бедная человеческая оболочка настолько подавлена страданиями от холода, голода и цинги, что чувствует себя неспособной даже думать. Так вот, поскольку мысль – это единственное проявление сознательной жизни во мне, то ее кратковременное отсутствие для меня равносильно прекращению самой жизни. Тогда наступает онемение, подобное тому, которое предшествует смерти от холода. Это последнее ощущение, – ощущение убийственного холода, – я испытывала не раз, и поэтому я в состоянии отметить его сходство с моральным оцепенением, которое предшествует полной аннигиляции. В эти периоды, которые иногда делятся долгие дни и даже недели, дремлет не только мысль, но и все жизненно важные ощущения, сами физические страдания как бы притупляются. Все, что человек чувствует или мог бы чувствовать, воспринимается лишь как сумбурный сон, в котором сталкиваются смутно очерченные образы. И единственным ощутимым усилием воли является стремление прогнать эти образы до тишины аннигиляции.

Единственное желание, которое сохранилось, – не нарушать эту тишину. Но для христианской души в этот момент полностью исчезает и ощущение одиночества: его заменяет ощущение окутывающей силы, неопределимое и в то же время уверенное осознание погружения в океан бесконечной сладости, где душа находит себя, растворяясь в этом океане, как капля воды. Все это невыразимо. Но нужно испытать это, чтобы понять истинный смысл древней формулы: упокоиться в Господе...

Дорогой друг, дорогой великий ученый, все твои знания и весь гений, который я признаю в тебе, недостаточны, чтобы заменить этот опыт,

который ты упустил. И именно поэтому есть вещи, которые я не могу тебе объяснить, о которых я не могу тебе рассказать. И именно поэтому великий и прекрасный труд, который, как я вижу, ты пишешь о проблеме человеческой личности, останется незавершенным. Ибо, если бы этот труд был написан, он пополнил бы огромные груды книг, в которых человеческая личность анализируется научно, то есть путем обеднения того, что является сутью личности, – контакт со сверхъестественным.

Обрати внимание, что я говорю сверхъестественным, а не сверхприродным, последний термин подразумевает концепцию свободы от законов природы, тогда как то, о чем я говорю, — это область, управляемая строгими естественными законами, но иной природы, чем те, которые управляют нашим низшим миром. Эти законы недоступны нашему человеческому пониманию, за исключением тех случаев, когда преодолевается сама человеческая природа, либо сверху – для тех, кто избран, чтобы подняться на высоту, – либо снизу – для более смиренных существ, которые находят спасение посредством умерщвления своих жизненных сил. В некоторых случаях физическая дряхлость может стать для нас избавлением.

Эти переживания для меня новы, поскольку в течение жизни я всегда страдала от переизбытка жизненных сил, которые ничто не могло удовлетворить. Я получала удовлетворение, только отдавая себя, и бездействие – особенно в работе мышления – казалось мне страданием. Теперь я понимаю, что интеллект также может стать бременем, что сформулированная мысль может стать слишком узкой рамкой. И в свете этого нового опыта я лучше понимаю очень многие вещи, о которых у меня были только теоретические знания: жёсткость аскетизма, которая сокращает телесные влечения и даже интеллектуальный голод, глубокие состояния молитвы, когда тело теряет свою реальность...

Но я также знаю – и уже не теоретически – об опасности состояния бесчувствия, которое заканчивается самодостаточным оцепенением, приправленным сладострастием уничтожения... Против этого мы должны бороться.

В молодости, в полном расцвете – или, скорее, в полном извержении вулкана – моей жизненной силы, мне часто приходилось бороться с навязчивой идеей самоубийства, неразумного самоубийства, без всякой причины, ради единственного желания насильственного действия, возможно, также из любопытства к потустороннему миру...

Теперь мне приходится бороться с искушением интеллектуального самоубийства от усталости, от самодовольства из-за потребности в отдыхе измученного тела. Поддаться телу – это не освобождение, это поражение. И я не должна прикрывать это поражение иллюзией того, что достигла высшего состояния. Высшее состояние может быть завоевано только тяжелой борьбой. Я далека от этого... *Non sum dignus*¹⁸... И еще одно слово Евангелия возвращается ко мне с неожиданной силой и светом: «*Exi a te, qua homo rescator sum*»¹⁹...

О, дорогой великий друг, я тоже не могу говорить с тобой обо всем этом. Ты, несмотря на свое нереальное существование, слишком человечен, а есть вещи, которые нельзя говорить человеку. Есть непреодолимая душевная стыдливость, есть и бедность человеческого языка, чтобы выразить то, что выходит за пределы жизни тела.

Ты – доверенное лицо моей интеллектуальной жизни, – в той мере, в какой от этой интеллектуальной жизни что-то осталось, – в моем бедном разбитом теле. Поэтому я расскажу вам о своих попытках не дать погаснуть последним искрам этой жизни - и о том, что иногда происходит в результате.

Я уже раньше говорила, что поставила перед собой задачу реконструировать по памяти свои исторические знания, по векам и десятилетия за десятилетием. В другое время я пытаюсь реконструировать не узко определенный период, а последовательность событий или персонажей, которые имеют отношение к определенным историческим вопросам. Сколько часов (правда, мне вряд ли придется их считать) я посвятила, например, тому, чтобы вспомнить во всех известных подробностях Пунические войны, или последнее столетие Западной империи, или образование варварских королевств на развалинах Римской империи, или различные династии халифов с их территориальным размежеванием! Это захватывающее и поглощающее занятие. Слишком увлекательное: я заметила, что поиск определенных моментов в деталях стал навязчивой идеей, от которой я не могла оторваться. Поэтому я ограничиваю это усилие памяти, отмеряю ему определённые часы, а в другое время навязываю себе другой вид работы памяти, например, поиск формул физических законов или геометрических доказательств.

18 Господи, я не достоин (Мф. 8.8).

19 Симон Пётр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. (Лк. 5.8).

Признаюсь, кстати, что этот последний вид работы – тот, в котором я наименее преуспеваю: у меня нет способностей Паскаля, чтобы приблизиться к мысли Евклида, и когда условия какого-нибудь доказательства ускользают из моей памяти, я не могу вывести CQFD²⁰. И потом, по правде говоря, геометрия кажется мне безвкусной теперь, когда я существую где-то за пределами трех измерений, в неопределенном пространстве...

Итак, после таких усилий, похвальных, хотя и болезненных, я с радостью возвращаюсь к истории, и иногда я обманываюсь, тратя на нее больше времени, чем благоразумно того желаю. Так, вот уже несколько дней я занимаюсь увлекательным делом – реконструкцией во всех деталях истории образования герцогства Бургундского, начиная с истории графства Фландрского.

И тут моя память внезапно подвела меня. Я не смогла распутать историю престолонаследия Ги де Дампьера. Мой разум был истерзан. Сегодня, положив голову на руки, я все еще думала об этом, пытаюсь догнать потерянную нить и заставить очень высоких и влиятельных сеньоров, лишившихся своих мест, выстроиться в правильном порядке. Внезапно я осознала человеческое присутствие, далекое от моих мыслей, но достаточно близкое к моей бедной физической оболочке. Мне потребовалось несколько мгновений, возможно, больше времени, и довольно сильное усилие, чтобы оказаться в своей камере и понять, что дежурный надзиратель смотрит на меня через удобный глазок в двери и зовет меня. О, что этому человеку от меня нужно?

— Пришло время прогулки, – сказал он. Ну, идем. Ты уже несколько дней отказываешься выходить на улицу.

Я продолжала молчать. О, пусть он уйдет, этот надоеда! Но он настаивал:

— Пойдем. Сегодня не холодно, выше -30° (!). И солнышко светит. Тебе нужно подышать свежим воздухом.

Я отвечаю:

— У меня нет времени. Оставьте меня.

Я опускаюсь обратно на свой тюфяк, собираясь возобновить ход своих мыслей. Но я с раздражением чувствую, что человек все еще там, за дверью, наблюдает за мной.

Наконец я поднимаю глаза, хочу еще раз сказать ему, чтобы он оставил

20 На французском языке, завершая демонстрацию (доказательство), говорят "CQFD", что означает "Ce Qu'il Fallait Démonttrer" – То, что должно было быть продемонстрировано (Что и требовалось доказать).

меня в покое. И тут я вижу его испуганное лицо. Бедняга думает, что у меня наблюдается симптом старческого слабоумия! Ведь, в конце концов, услышать такой ответ из уст человека, которому абсолютно нечего делать в одиночной камере между четырьмя голыми стенами, что ему некогда пойти на прогулку, – разве это не может показаться безумием!

Но я не могу объяснить ему, что я думаю о Ги де Дампьере и других сеньорах, которые уже несколько веков лежат в пыли, и что я думаю о них до тех пор, пока не потеряю счет времени и чувство юмора не вернет меня полностью к реальности. Я с улыбкой смотрю на своего озадаченного опекуна. Я узнаю его, – это добродушный человек, румяное лицо которого иногда озаряется взглядом доброго, большого, наивного и совсем не злого пса. Он смотрит на меня с беспокойством и пытается смягчить свой громкий голос, спрашивая, не чувствую ли я себя плохо... Очевидно, бедняга боится кризиса, который повлечет за собой применение того упрощенного лечения, которому подвергаются заключенные в этом случае. Он слишком хорошо знает, как обращаются с несчастными больными людьми. Я тоже это знаю: я слишком часто слышала эти крики. И сейчас я чувствую в этом человеке настоящую заботу, вспышку истинного сочувствия, которая запала мне в душу. Я спешу успокоить его и обещаю завтра пойти на прогулку, но начинаю думать уже не о герцогстве Бургундском, история которого вдруг кажется очень далекой, а о странной сложности человеческого сердца, которое иногда может скрывать под самыми грубыми покровами неожиданные сокровища теплой человеческой симпатии...

V.

Ты спишь, далекий друг? Я не хочу будить тебя этой ночью. Несмотря на холод, ночь прекрасна; земля под своим ужасным белым саваном купается в лазурном свете. За решеткой моего окна открывается не черная бездна, чтобы проглотить мираж жизни, – это звездная бездна, где тень струится с ясностью, где хоры звезд поют великую тайну. Одиночество перед звездным небом – это интенсивная жизнь...

Я думаю обо всех тех, кто нуждается в отдыхе и сне после дневных трудов, о миллионах существ, которым Ночь приносит в этот момент заслуженный

отдых, или успокоение их горячки, или забвение их печалей, или сны надежды.

Сны о, возможно, ничтожном счастье, детские тревоги... какая разница? Пусть ночь даст каждому из нас бальзам, в котором мы нуждаемся! Я также думаю обо всех страдающих... О тех, чья бессонница наполнена призраками... О тех, кто тщетно ищет приюта на ночь, о тех, кто голоден и холоден... О женщинах, корчащихся в родовых муках, о всех тех, кто ропщет во тьме и ждет рассвета как избавления... О тех, для кого ночь – это бездна бессилия и страха... И затем, более всего, я думаю обо всем, что оскорбляет величие Ночи... О преступлениях, которые готовятся или совершаются в этот момент... О злобе и пороке, которые бродят в потёмках... Я слышу крики, я вижу слезы, и кровь, всегда кровь... И затем другой ночной ужас – ужас мерзких или грубых удовольствий. Места разврата... Зрелища, которыми наслаждаются люди, забывшие о человеческом достоинстве... Глупость, объединенная с пороком для деформации разума... Все пороки и вся мерзость, брошенные как вызов тайне жизни, под покровом ночи -- хранительницы этой тайны и соучастницы этого вызова... О, как мы можем отвернуться от всего этого, как мы можем стереть видение этого? Или, наоборот, мы должны посмотреть в лицо тайне беззакония, чтобы лучше понять вечные антиномии, игры света и тени? Как на физическом плане, так и в царстве духа, Ночь – это господство тьмы, а также великого света..., и я сейчас думаю о ночи, которая священнее всего. Не ледяная ночь, окутанная пеленой снега... Нет.

Далеко отсюда, в стране солнечного света. Ночь весны, наполненная ароматом сока, которым набухает земля. Оливковые деревья дрожат на ночном ветру и, кажется, шепчут страшную тайну. Их тени расступаются, чтобы звезды увидели распростертую человеческую фигуру, локти на камне, лицо спрятано в ладонях...

По зову звезд лицо поднимается. Поднимается бледный лоб, покрытый кровавым потом, освещенный непостижимым взглядом глаз, видящих вечность.

Эти глаза созерцают видение вечного страдания и бесконечного зла...

В безбрежной пучине времени, где тысячи веков – лишь мимолетные мгновения, вечно присутствующая реальность — это жестокая борьба и страдания.

Вот земля в зачаточном состоянии, скрученная гигантскими конвульсиями. Уже появилась первая растительность, и уже ценой безжалостной борьбы

каждое растение увеличивает свою долю пространства и света за счет более слабого побега, который оно может подавить или раздавить. Затем существует бесконечное множество видов животных, все они подчинены неумолимому закону, по которому слабейший становится пищей сильнейшего...

И, наконец, человек, царь творения, вместилище божественной искры... Его царственность – он наделал ее властью истреблять низшие существа. Свой творческий инстинкт, который является в нем отражением Бога, он использует, чтобы ковать оружие для истребления своих собратьев. И история человечества начинает разворачиваться через тысячелетия в кровавой дымке...

Кровь, всегда кровь! Всегда братоубийство, бросающее свой вечный ключ к небу! Всегда ненависть, зависть и жестокий эгоизм! Всегда слабый, побежденный сильным, поработанный, угнетенный, – до того дня, когда он обнаружит более слабого, чем он сам, и в свою очередь покажет себя угнетателем!

О, ужасный шум стонов и стенаний агонии! Огромная жалоба, непрерывно поднимающаяся от земли к небу, с красным отблеском вечно пролитой крови!

Человек, рожденный ценой мучительной боли, позволяет эгоизму и зависти захватить себя, как только осознает себя. Затем соперничество семьи с соседней семьей. Затем объединение семей в братство ненависти, обращенной против других племен. Затем объединение племен в народы для подавления более слабых народов... Кровь, всегда кровь, и опьянение силой на службе угнетения. Миллионы рабов для укрепления власти своих хозяев, возводящих башни и цитадели под их кнутами...

Потом на их месте возникают другие империи, всегда сокрушающие своей железной или глиняной пятой человеческие массы, согнутые под игом, всегда с мечом в руке для новых завоеваний – пока они не рухнут под ударами более сильного завоевателя... Глаза, созерцающие историю человечества, затуманены... но видение страданий увеличивается и разворачивается в еще более глубокую бездну. Пролитая потоками кровь и погружение тайны жизни в загадку смерти – это и есть всего лишь непостижимый закон существования. Но для человека-царя, носителя божественного дыхания, есть вещи похуже закона крови, похуже боли, которая скручивает конечности, похуже голода, который иссушает тело и дух. Есть насилие в царской области мысли – это насилие над совестью. Есть грандиозные мечты, увядающие в химерах или

втоптанные в грязь. Есть жажда неуловимой истины, спотыкающаяся во тьме без света; есть взлет мысли к звездам и ее жалкое падение в трясину... Есть мерцание ложных истин, которые ведут к погружению в болото. И есть истина профанированная, изуродованная, порабощенная ради какой-то недостойной цели... «Христос, о Христос! Ты пришел, чтобы принести мир, любовь и братство детей одного Отца. Но теперь именно во имя Тебя они будут резать, угнетать, мучить! ... Именно во имя Тебя мы участвуем в работе насилия! Созерцающие глаза расширяются перед ужасающим зрелищем. Бледный лоб, на котором выступили бисеринки кровавого пота, внезапно поднимается к небу, а напряженные губы испускают стон: "О, только не это! Пусть меня хотя бы избавят от этой чаши. Там, наверху, хоры звезд безмолвны. Но из глубины бездны, куда погружается взгляд Провидца, поднимается злобная усмешка: "Эту чашу ты выпьешь до дна! А другую чашу, которую ты хочешь завещать миру, полную твоей крови и твоей любви, ты отдаешь на поругание таким оскорблениям, каких мир еще не знал. Когда они устанут разрывать друг друга на части во имя Тебя, они отвергнут Тебя как разочаровывающую химеру. На Твой призыв эхом отзовется смех ненавидящего презрения. Слышишь ли ты этот смех, который будет отдаваться эхом даже под сводами твоих храмов? Они будут смеяться над тем, что верили в Тебя. Они будут думать, что без Тебя им будет лучше. Тебя будут презирать во имя человечности. Затем они будут отрицать само твое существование. Все силы человеческого разума объединятся, чтобы сделать тебя нереальным призраком, пережитком абсурдной легенды. Чтобы освободить мир от навязчивой идеи твоего образа, будет применяться насилие. Когда они поймут, что этот образ невозможно стереть из памяти человечества, они презрительно признают, что ты, возможно, был жалким человеком. Галлюцинацией, непонятным существом, которое, возможно, хотело страдать, – и принесло миру еще больше страданий, – а также позор... Ибо будет сказано, что худшие унижения были совершены от твоего имени. И Ты хорошо знаешь, Ты, пришедший возвысить падшего человека, что его разложение запятнает идеал, который Ты хочешь дать ему, и что он будет знать только, как предать этот идеал... Не является ли Твоя жизнь, о Христос, вечным образом предательства и оставления? Преданный своими служителями, брошенный теми, кого ты любишь, отвергнутый теми, кто доверял тебе, проданный за горсть серебра – такова твоя жизнь, и такова же твоя судьба на протяжении веков. Всегда предательство и вероломство, – или

оставление и забвение... Провалы совести, проданной или нарушенной... Торговля священным идеалом... И вечно возобновляющиеся невежественные безобразия, – и ненависть, пускающая слюни на твое лицо, чтобы погасить его свет...

И эта ненависть преследует тех, кто остался бы верен тебе...

Ты, несущий бремя человеческой боли, знаешь ли ты, какие страдания перенесет человечество из-за тебя?

Да, настанет день, когда тебя обвинят в том, что ты добавил к бремени страданий, сокрушающих человечество. Вот что будут говорить тем, кто все еще протягивает к тебе руки, и именно во имя человеческого счастья они объединят усилия, чтобы прогнать твой образ из всех сердец...

«Ты принес человечеству небесный свет? Но настанет день, когда человек откажется от этого дара, потому что захочет гордиться тем, что он всего лишь животное. Он будет горд и счастлив принадлежать только земле и поднимет голову к звездам только для того, чтобы похвастаться тем, что погасил их!»

Ужасный вопль превратился в невнятное бормотание, утонувшее в огромном стоне, который поднимается от земли к небу. Но мрачное видение все еще разворачивается.

Видение всеобщего страдания, – от смиренного и немногого страдания растоптанных цветов и убитых или замученных зверей до вершин боли, поглощающей человеческое сознание...

О, те, кто холоден, те, чья кровь мучительно леденеет задолго до смертельной жесткости! И другие, – те, чьи души заморожены до такой степени, что не чувствуют отсутствия тепла! О, те, кто знает только зависть и ненависть, и чей последний крик — это проклятие! О, снова эти слепые, ненавидящие свет, который они не знают! И те, кто проклинает жизнь и считает себя свободным от нее, уходя в никуда в поисках забвения тайн, которые они не смогли разгадать!

И это снова те, кто осознал великую тайну страдания, и кто настроил свою гордость против него! А рядом с ними души, застрявшие в вечном предательстве! И человеческие существа, копошащиеся в трясине, стремящиеся погасить в себе божественную искру и воображающие себя полубогами! Капли крови, падающие с бледного лба, кажется, отражают жестокое видение... Звезды, там, наверху, скрылись за черными тучами. Оливковые деревья дрожат и, кажется, цепляются за далекое красное зарево, которое ползет между их стволами, как отражение крови... Зарево

приближается, медленно – зарево факелов, которые несут вооруженные люди... Бледное лицо освещается. Как будто исчезнувшие с неба звезды проскользнули под отяжелевший лоб, в Глаза, которые все видели, все приняли...

Да, помимо вселенского закона страдания, существует самая страшная боль – понять его и искать причину. И человечество, достигшее возраста человека, будет раздавлено этой загадкой. Как оно могло нести это бремя, если Богочеловек не смог этого сделать? Оскорбление и богохульство необходимы для того, чтобы божественный идеал засиял, как тьма заставляет свет сиять. Но эти оскорбления, и предательство, и вся мерзость, до которой может опуститься человеческая душа, – это тоже один из аспектов вечных страданий. Это душа, истерзанная и изуродованная злом, как тело – конвульсиями боли. И это тоже необходимо для таинственной работы, которая вминает душу в земной суглинок, – до того дня, когда искра превратится в лучезарный очаг, – до того дня, когда сама земля вернется в великое горнило для созидания нового мира...

И Тот, Кто созерцал Вечность, осторожно поднялся; Он смотрит на красное зарево приближающихся факелов, а затем идет к группе мужчин, лежащих на земле в тяжком сне. Над ними склоняется Его светящийся лик: «Пробудитесь, ибо вот, идут взять Меня, и с ними предавший Меня»²¹.

21 Фраза составлена из стихов четырех евангелий, повествующих о предательстве Иуды, взятии Иисуса под стражу в Гефсиманском саду и рассеянии учеников: Мф 26:47-56; Мк 14:43-52; Лк 22:47-53; Ин:2-12.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Глава из неопубликованной книги

«Головокружительная жизнь»

26 января (ст. ст.) 1904 г. при дворе состоялся один из «концертных балов». Танцы были оживленные, и, конечно, никто не подозревал, что этот бал будет последним, который Зимний дворец увидит в своих стенах... В течение нескольких дней ходили слухи о вероятном конфликте с Японией. Даже в дипломатических кругах, где я всегда была хорошо осведомлена, не верили в войну. Ворчали при этом на некоторых советников императора: на статс-секретаря Безобразова²² адмирала Алексеева²³, великого князя Александра Михайловича²⁴ и некоторых других, которых обвиняли в том, что они зашли слишком далеко в вопросе о лесных концессиях, полученных в Корее вопреки протестам Японии²⁵. В салонах, как всегда, поносили этих людей,

22 Александр Михайлович Безобразов (1853—1931) — русский государственный деятель, статс-секретарь (1903—1905), активный участник политики России на Дальнем Востоке. Его именем названа придворная группировка, так называемая «безобразовская группа», деятельность которой, по мнению ряда исследователей, способствовала ухудшению отношений с Японией и привела к русско-японской войне.

23 Евгений Иванович Алексеев (1843-1917) – русский военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1901), адмирал (6 апреля 1903 года). Участник т. н. «безобразовской группы». В качестве главного начальника Квантунской области, как никто другой, способствовал развязыванию русско-японской. Наместник на Дальнем Востоке и главнокомандующий русских войск в Порт-Артуре и Маньчжурии.

24 Александр Михайлович Романов (1866-1933), великий князь, внук императора Николая I, политический и военный деятель. В 1895 году представил Николаю II разработанную под его руководством программу усиления Российского флота на Тихом океане, в которой предсказывал, что в 1903—1904 годах, после завершения японской судостроительной программы, начнётся война с Японией.

25 Лесные концессии (право на вырубку леса в коммерческих целях) на реке Ялу на границе между Китаем и Кореей, были получены в 1896 г. у корейского правительства владивостокским купцом Юлием Бринером сроком на 20 лет. В мае 1903 года около сотни солдат было введено в деревню Йонампхо, располагавшуюся в устье реки Ялу, под предлогом нехватки лесорубов строительства там лесных складов. К декабрю 1903 года в деревне были возведены бараки,

внезапно выдвинувшихся на политическую роль, но это был лишь повод для сплетен – в войну никто не верил и не боялся. Помню, как один серьезный человек обрушился на Безобразова, назвав его авантюристом. Но когда я спросила его, не лучше ли, по его мнению, отказаться от всяких авантур в Корею, он ответил: «Как это – отказаться от Кореи? О нет, напротив! Это слишком хороший кусок, за него надо держаться»... Ну что ж? Я уже про себя поняла, что в салонном разговоре логики ждать не стоит... Итак, мы танцевали.

Граф Ламсдорф²⁶, министр иностранных дел, бродил по залам, убранным цветами, с вечно скучающим лицом. Всем, кто спрашивал его, что происходит, он отвечал с непоколебимым оптимизмом. В очаровательном зимнем саду посол Японии беседовал с супругой посла Греции Томбазиса, очаровательной молодой женщиной, которая мне нравилась. Выйдя из комнаты, мы болтали с ней, когда кто-то подошел и в шутку спросил у нее, не сообщил ли ее кавалер за ужином какие-нибудь секретные планы его правительства. Это нас всех рассмешило.

На следующее утро я, как обычно, отправилась, в художественную студию Ционглинского²⁷. Как и другие ученики, я сразу погрузилась в свою картину, как вдруг наш учитель воскликнул: «Но это же война!» Это была новость из только что пришедшей утренней газеты о неожиданном нападении японцев на нашу эскадру, стоявшую на якоре в Порт-Артуре, и выведении из строя трех наших лучших военных кораблей.

Я поспешила вернуться к себе домой, чтобы узнать, что происходит. По телефону и по телеграфу уже приходили извещения из Зимнего, приглашающие всех, кто имеет право, принять участие в торжественном объявлении войны. Люди моего поколения никогда не были на такой службе и спешили во дворец. В начале второй половины дня императорский кортеж проследовал через залы Зимнего дворца в часовню, где был отслужен

конюшня и мол. Эта деятельность выходила за рамки обычной коммерческой и была воспринята в Великобритании и Японии как попытка России закрепить своё военное присутствие на севере Кореи. Эти концессии как один из факторов российского проникновения в Корею и послужили одной из причин русско-японской войны.

26 Ламсдорф Владимир Николаевич (1844-1907), министр иностранных дел России (1900-1906), член Государственного Совета (с мая 1906).

27 Ян (Иван) Францевич Ционглинский (1858–1913) – польский и российский художник, был талантливым педагогом-новатором. Среди его учеников были И. Билибин, Л. Бруни, Е. Лансере, П. Филонов. С 1902 года руководил частной школой-студией на Литейном проспекте д. № 59.

молебн, чтобы, как принято, испросить успеха «русскому христоролюбивому и победоносному воинству», по формуле, установленной тысячелетней традицией.

Не знаю, многие ли из присутствующих действительно придавали религиозный смысл этой церемонии и этим формулам, но во всяком случае никто не сомневался, что победа будет достигнута, и происходившие оживленные дискуссии вращались, как всегда, вокруг персональных вопросов: одних порочили, другие надеялись получить выгодное назначение. Люди только что узнали о назначении Куропаткина²⁸ генерал-аншефом и с любопытством смотрели на него, поскольку он был мало известен в светских кругах. Он даже никогда не принадлежал к ним, несмотря на свой пост военного министра, а его супругу, по разным причинам, не принимали при дворе. Многие подходили к нему под предлогом поздравлений, чтобы узнать его мнение о начинающейся кампании, но он довольствовался ответом: «не следует ожидать победы так быстро, как мы предполагаем». Тем не менее, общее мнение было таково, что победоносная кампания может продлиться самое большое шесть месяцев.

На следующий день, 28-го января, все газеты объявили о начале войны, опубликовав статьи, полные презрения к Японии. Крупнейшая столичная газета – «Новое время» превзошла всех, заявив, что для этого ничтожного врага слишком большая честь видеть во главе армии, которая его покарает, такого великого полководца, как Куропаткин.

Такая популярность генерала, еще ничем себя не проявившего, меня несколько удивила, тем более что в кругах Министерства иностранных дел я слышала мнения, не слишком благоприятные для Куропаткина. Полагаю, что истина о военных способностях Куропаткина, как всегда, находилась где-то между этими двумя крайними мнениями. Но что касается популярности этого генерала в прессе и в тех кругах, которые она представляла, то, думаю, я разгадала тайну, когда много позже мне довелось прочитать опубликованный советским правительством «Дневник Куропаткина»²⁹. На этих страницах, не предназначенных для широкой огласки, генерал высказывал явно радикальные

28 Алексей Николаевич Куропаткин (1848–1925) военный и государственный деятель, военный министр, В Русско-японскую войну последовательно занимал должности командующего Маньчжурской армией, главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии (13 октября 1904 — 3 марта 1905).

29 «Дневник А. Н. Куропаткина», Нижний Новгород, Нижполиграф, 1923.

и антимонархические взгляды, о которых, конечно, никто не подозревал в то время, когда он был военным министром и генерал-адъютантом императора, но, возможно, он имел тайные контакты с радикальными группировками? Это объясняло бы ту известность, которую он получил в прессе, находившейся целиком под влиянием этих группировок. Я говорю об этом только как о предположении, но оно становится более вероятным, если учесть, что Куропаткина, младшего офицера скромного происхождения, «подтолкнул» к блестящей карьере знаменитый генерал Скобелев³⁰, который был его начальником в Туркестане.

Скобелев, безусловно, имел более чем тесные контакты с социалистическими группами, вплоть до мечтаний, кажется, о своего рода военном выступлении против Александра III: это мне подтвердили люди, служившие под началом Скобелева и заподозрившие что-то странное, особенно подозрительными им показались связи, которые он поддерживал тайно с кругами русских революционных эмигрантов в Париже. Более того, отголоски этих связей дошли до ушей Александра III, который с подозрением относился к Скобелеву³¹. Теперь оба были мертвы, и Куропаткин унаследовал часть того престижа, который был у Скобелева. Когда генерал Драгомиров³² узнал о назначении Куропаткина, он сказал: «Куропаткин - начальник штаба Скобелева, это хорошо, но где Скобелев»? Что касается императора Николая II, то он весьма недолюбливал Куропаткина, но счел нужным доверить ему командование именно потому, что знал, что этот выбор будет положительно воспринят общественным мнением.

Этот благожелательный прием выразился не только в газетных статьях, но и в шквале поздравительных телеграмм, в присылке бесчисленных икон для сопровождения победного шествия. А старик Драгомиров ворчал: «Японцы

30 Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882) – русский военачальник, генерал-адъютант (1878). Участник среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877–1879 гг., освободитель Болгарии.

31 Ходили слухи, что Скобелев замыслил арестовать царя и заставить его подписать конституцию, и по этой причине он якобы был отравлен полицейскими агентами. Широко муссировалась версия о причастности к отравлению М. Д. Скобелева тайной антиреволюционной организации «Священной дружины» и даже самого императора Александра III. Ольховский Е. Р. «Загадка смерти Белого генерала» // Военно-политический журнал № 6, 2004, сс. 62–67.

32 Михаил Иванович Драгомиров (1830–1905) – крупнейший военный теоретик Российской Империи 2-й половины XIX века, генерал адъютант, генерал от инфантерии (1891), киевский, подольский и волынский генерал-губернатор (с 1898).

на нас минами нападают, а мы им иконами ответим»... По правде говоря, отъезд Куропаткина на фронт в поезде, весь вагон которого был заставлен иконами и другими подношениями, больше походил на возвращение из победного похода, чем на уход в непредсказуемость войны. Но в то время о неопределенности не могло быть и речи. Вера в победу не вызывала сомнений. Поскольку мобилизация не была всеобщей, она не сильно затронула страну. Императорская гвардия оставалась в Петербурге, разве что некоторым офицерам было разрешено временно перевестись в армейские полки, отправлявшиеся на фронт. А все полки, отправлявшиеся на Дальний Восток со всех концов России, не преминули сообщить о своем отъезде в газетах. Вскоре появилась стандартная формула телеграмм, публикуемых всей прессой: «Офицеры полка... (далее следует полное название и № полка), перейдя Урал, шлюют привет всем родным и близким»; далее следовали подписи всех офицеров. Можно предположить, что японцам не требовалась специальная информационная служба для отслеживания ежедневного прибытия войск, предназначенных для борьбы с ними...

В общем, поначалу этой далекой войне не придавалось большого значения, и первые проявления энтузиазма казались несоизмеримыми с реальными чувствами. Но отчасти эти выступления были продиктованы другими идеями: людей волновала не столько война, сколько способы ее использования во внутренней политике. Консервативно-националистическая партия видела в ней отвлекающий маневр от нарастающего с каждым днем революционного подъема: она считала, что сможет затормозить его, прежде всего отправив на фронт хотя бы часть тревожных элементов, а главное – всколыхнув в людях дух патриотизма и национальной гордости. Но и противоположный лагерь был рад возможности использовать неизбежную экономическую напряженность и все опасности войны против правительства. Ошибочно полагать, что революционные силы начали наступление на режим только после первых неудач. Они были организованы в тени с самого начала войны, активная пропаганда велась с самого первого призыва к мобилизации, она была развернута в полную силу уже летом 1904 г., перед падением Порт-Артура и первым серьезным поражением на суше под Ляо-Янем. Если в следующем году мы вплотную подошли к гражданской войне, то только потому, что она фактически началась тремя-четырьмя годами ранее, когда убийства чиновников следовали одно за другим почти беспрерывно.

В предыдущей главе я говорила о революционном радикализме, который

даже вдохновил членов религиозно-философского общества³³. Но это были еще только платонические симпатии к нарастающему движению социальной революции. Наряду с робкой интеллигенцией уже вовсю действовали боевые группы и террористы. В 1902 году в вестибюле дворца Государственного совета было совершено покушение на министра внутренних дел Сипягина³⁴. Убийца вошел туда под видом офицера, выдавая себя за адъютанта великого князя. С тех пор эти нападения стали почти ежедневными. Я не упоминала о них до сих пор, потому что слишком много нужно сказать: я не хочу переходить к описанию революционного движения, потому что это завело бы меня слишком далеко. В то время у меня, конечно, не было личных контактов с террористическими группами, я имела лишь самые смутные представления об их организации, их разветвленности и вообще о взаимоотношениях между различными партиями, которые тогда объединялись для решительного наступления. Многое я поняла гораздо позже, когда прочитала (и с каким интересом!) опубликованные советским правительством мемуары, секретные отношения, протоколы заседаний партий, как экстремистских, так и умеренных партий, раскрывающие подоплеку революционной подготовки за четверть века до окончательного взрыва. Понятно, что все это было абсолютно неизвестно современникам моего круга. В своем окружении я была более наблюдательна и лучше информирована, чем многие другие, но я считаю, что даже среди высокопоставленных чиновников, которые были гораздо лучше информированы, чем я, было очень мало (если вообще были) тех, кто был полностью осведомлен о ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Те, кто в силу своих должностей был осведомлен о внутреннем положении страны, были далеки от понимания его международного масштаба и той активной поддержки, которую определенные зарубежные круги оказывали революционному движению в России. С этой точки зрения следует сказать, что даже тайный, но хорошо известный союз Англии с Японией³⁵ был важным фактором русской революции и был, конечно,

33 При Московском религиозно-философском обществе в 1905 году В. Эрнст и В. Свенцицкий была основана революционная организация «Христианское братство борьбы» с христианско-социалистической программой, просуществовавшая до 1907, когда была распущена самими участниками.

34 Дмитрий Сергеевич Сипягин (1853–1902) государственный деятель, министр внутренних дел в 1899–1902 годах. Застрелен членом боевой организации эсеров Балмашёвым.

35 Первоначально договор был заключён в Лондоне 30 января 1902 года на 5-летний срок. Однако ещё до окончания русско-японской войны приступили к его пересмотру, и 12 августа

недооценен. Но, повторяю, не мое дело излагать здесь ни тайную и до сих пор не опубликованную историю революционного подъема, ни известную историю русско-японской войны. Я возвращаюсь к своим непосредственным и личным впечатлениям. Они были троякого рода. Во-первых, потому, что мы жили в томительной атмосфере политических убийств. И среди жертв часто были люди, которых мы знали лично, смелые и честные, не сделавшие ничего плохого, кроме того, что занимали определенные видные посты, например, добрый Боголепов³⁶, министр народного просвещения, честные губернаторы и т.д. Что касается меня, то я чувствовала, что мое сердце обливается кровью из-за стольких скромных жертв служебного долга: полицейских, солдат и т.д., которые были разменной монетой террористов. Но я также переживала за войну, именно из-за морального состояния страны. Даже если предположить, что мы имеем дело с ничтожным противником (у меня не было точной информации о его численности), и вся кампания имела вид колониальной войны, она потребовала бы больших усилий, как доказала еще свежая в памяти война британцев в Южной Африке. Будет ли эта выступление предпринято с достаточной энергией и быстротой? Все эти мысли преследовали меня, и я больше, чем когда-либо, страдала от того, что я женщина и не могу сражаться в рядах защитников Третьего Рима. Поэтому я лихорадочно искала возможность любой деятельности для нужд войны. Не имея профессии медсестры, я не думала о Красном Кресте; кроме того, удаленность театра военных действий означала, что туда не посылали медсестер-добровольцев. Поэтому я с рвением ухватился за возможность направить хотя бы часть своих сил на мастерскую, которую императрица пожелала устроить в Зимнем дворце.

Как только была объявлена война, обычная программа приемов и балов при дворе была отменена, и в пустых залах Зимнего дворца была организована эта мастерская, известная как "Dépôt de S.M. pour les besoins de la guerre"³⁷.

1905 года был подписан в Лондоне новый союзный договор на 10-летний срок. Этот договор был опубликован через три недели после заключения Портсмутского мира между Россией и Японией.

36 Николай Павлович Боголепов (1846–1901) – русский правовед, министр народного просвещения (1898–1901), дважды ректор Московского университета. Принятое правительством в 1899 году «Временные правила об отбывании воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений, удаляемыми из сих заведений за учинение скопом беспорядков» снижали Боголепову ненависть среди интеллигенции и студенчества и стали причиной его убийства бывшим студентом Карповичем.

37 Склад ее императорского величества для военных нужд (фр.).

Все дамы, умевшие шить (а таких было немного), были приглашены для изготовления одежды, теплых вещей и белья для солдат; другие работали над перевязочным материалом в специальной секции; третьи готовили маленькие мешочки с подарками, которые императрица посылала солдатам.

Я сразу же стала почетным, но очень эффективным помощником старшего шталмейстера дворца, который был назначен главой канцелярии этого нового предприятия. В этом качестве в первые месяцы войны я была прикреплена к «столу Ее Величества», то есть к секретарской службе императрицы, которая сама ежедневно приходила на работу за этот стол.

Среди украшений этой залы был большой гобелен, подаренный французским правительством во время одной из поездок императорской четы во Францию. Этот гобелен был изготовлен, кажется, по случаю рождения наследного принца, сына императора Наполеона III: на нем была изображена сцена из сказки «Спящая красавица», в которой феи снуют вокруг колыбели новорожденной принцессы и осыпают ее добрыми пожеланиями, в то время как злая фея Карабас пророчит ей несчастье. Фея Карабас была на переднем плане, в натуральную величину, и ее гримаса была обращена к месту, занимаемому императрицей. Не я одна заметила, что эта злосчастная фигура - дурное предзнаменование, ведь императрица ожидала пятого ребенка с непоколебимой надеждой, что на этот раз это будет сын, которого она тщетно желала в течение десяти лет. Как прекрасна была она в этой надежде! Предыдущим летом она присутствовала на канонизации (которой она желала и добилась) пустынного иеромонаха Серафима. Она посвятила себя ему, ожидая от него исполнения ее самого заветного желания, и в этом материнстве она увидела начало этого исполнения. Она была рада, что война избавила ее от рутины, которой была для нее светская дворцовая жизнь. Очень красивая, одетая в очень простые платья, она была не только спокойна, но и весела, то работая над шитьем, то наполняя маленькие мешочки подарками для отправки на фронт. Я помогала ей в этой работе, составляя списки товаров, а она часто журила меня за мою нелюбовь к рукоделию. Однажды она сказала мне, что большой гобелен перед ней раздражает и ее, не говоря уже о фее Карабас. Я осторожно спросила, почему ее величество не убрала этот тревожный гобелен. Она ответила: «Вы не представляете себе этого! Перемещение предмета — это большое дело, вся придворная маршальская служба сойдет с ума! Здесь все закреплено навечно!» ... Навечно! Разве могли мы представить наше близкое будущее! И фея Карабас усмехнулась, глядя на

государыню и ребенка, которого она понесла...

В маленькие подарочные мешочки нужно было не забыть сунуть святой образок, который должен был защищать бойца. Почти всегда это был образ святого Серафима. Императрица заказывала их тысячи, и те, кто умел льстить ее вкусам, не преминули предложить ей еще, в пакетиках всех размеров, а также множество других образов всех размеров, а также бесчисленные брошюры и духовно-назидательные листки.

Признаюсь, что сочетание лести и бестактности иногда побуждало меня вздрагивать от отвращения. И сколько раз я была свидетельницей этого! Однажды высокопоставленный дворцовый чиновник, князь П., пользовавшийся большой популярностью у императрицы, принес ей в подарок две большие иконы – Богородицы и преподобного Серафима, которые она заказала для церкви в Порт-Артуре. Было известно, что Порт-Артур был уже накануне окружения. Я указала на это князю П. и спросила, уместно ли посылать эти две иконы. Он строго посмотрел на меня и громко сказал, чтобы императрица услышала: «Неужели вы не знаете, что перед этими святыми иконами ряды неприятеля могут расступиться и разметаться, как волны Красного моря?» Мне нечего было ответить. - Я промолчала. Молчала и императрица, но через несколько недель, когда осада Порт-Артура уже началась, она сказала мне, как бы невзначай: «Вы знаете, две мои иконы не пришли вовремя, связь с Порт-Артуром уже прервалась. Порт-Артур уже был взят». И она заговорила о другом, не дожидаясь моего ответа, который я бы с удовольствием дала.

Среди вещей, посылаемых солдатам, был литографированный лист с изображением императрицы, за работой для них. Императрица сидела за столом с шитьём в руке; я сидела рядом с ней, а великолепный дежурный негр стоял за моим стулом. Эти дворцовые негры почти все были выходцами из Абиссинии и постоянно дежурили в качестве телохранителей при обеих императрицах. Их было шестеро, все великолепные статные мужчины, одетые в восточном стиле в костюмы из красного бархата и ярко раскрашенного кашемира.

Когда принесли эскиз, сделанный с этой фотографии, я увидела, что художник включил в него и меня. Я просила его убрать мой силуэт, считая более уместным, чтобы императрица была изображена одна за работой, а не лицом к лицу с дамой, неизвестной тем, кто получит этот лист. Но художник не согласился, посчитав, что в композиции «будет провал». Так и вышло, что

на этом цветном листе, который десятками тысяч копий рассылался войскам на фронт, был изображен мой портрет сбоку со спины (ну, хотя бы так!) и притом такой же неузнаваемый, как и портрет императрицы, который получился совсем плохо. Один только негр был хорошо разработан, все внимание художника было сосредоточено на его великолепной ливрее. Мне не довелось узнать, какое впечатление произвел этот императорский портрет на солдат. Вероятно, никакого, потому что революционная пропаганда уже проникала в ряды этих людей, мобилизованных на войну, цели которой они не понимали, и потому готовых слушать то, что им напештывали: вас посылают на смерть ради прихоти монарха, если не ради его личных интересов. Однозвонная клевета, представлявшая концессии в Корее как «выгодную сделку», которую император пожелал совершить в личных интересах³⁸, уже звучала! Я помню возмущение моей бывшей английской гувернантки, когда она получила из Англии ядовитый памфлет, и дала мне его посмотреть, в котором император назывался «скверным торговцем лесом». А с фронта стали приходить плохие вести.

Гибель адмирала Макарова³⁹, отчаянное положение в Порт-Артуре. Весеннее солнце в эти полтора года светило мрачно. После Пасхи императрица перестала приезжать в свой «Дворцовый склад». Здоровье уже не позволяло ей этого делать. Ее отсутствие привело к исчезновению большого числа работников, которые приходили только для того, чтобы их заметили. Но сама работа продолжала развиваться благодаря финансовой поддержке со стороны государства, муниципалитетов и т.д. Бюджет «Склада» исчислялся миллионами⁴⁰, а канцелярская работа становилась все более сложной. Я была полностью погружена в нее.

Летом мне пришлось прервать эту работу, так как нужно было сопровождать больную тетю за границу. Это была очень грустная поездка, в атмосфере

38 На ссуду из личных средств царской семьи было создано «Русское лесопромышленное товарищество» на р. Ялу (1901), потерпевшее к 1903 финансовый крах. // Витте С. Ю «Воспоминания», т. 2, М., 1960.

39 Степан Осипович Макаров (27 декабря 1848–1904) — русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал (1896). Руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура, погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшимся на mine.

40 Всего за время русско-японской войны было отправлено со складов Александры Федоровны 70 железнодорожных составов. Расход на деятельность Склада за год войны составил 2 568 534 руб. 10 коп.

враждебности к России, которую я встречала повсюду. Чтение газет было мучением, а новости из Петербурга были хуже фронтовых. Убийство Бобрикова⁴¹, генерал-губернатора Финляндии, которого я хорошо знала и о котором мне еще придется говорить; затем Министр внутренних дел Плеве⁴² был разорван на куски по дороге на императорскую аудиенцию.

Лишь одно событие компенсировало это: рождение долгожданного наследника. Я была рада за императрицу, но сколько дурных предзнаменований навалилось на долгожданного ребенка. Я не суеверна, но действительно нельзя не заметить катастрофического совпадения: рождение ребенка почти совпало с гибелью одного из кораблей, пытавшихся прорвать блокаду Порт-Артура. Ветеран войны, к сожалению, назывался «Цесаревич», т.е. носил титул, присвоенный новорожденному.

Как мрачно было уже в Петербурге, когда я вернулась и сразу погрузилась как никогда в работу на Дворцовой площади, ибо это было единственное место, где я работала. И лихорадка, охватившая всю страну, была ощутима даже в «Складе», который казался таким мирным. Пришлось почти полностью посвятить себя распаковке и классификации ящиков с подношениями для прибывающих со всех сторон солдат, потому что многие из этих подношений выглядели подозрительно, а вскоре оказались более чем подозрительными. На солдат обрушился шквал прокламаций, призывающих их к мятежу и расправе над своими офицерами. Эти прокламации были спрятаны (в основном анонимными дарителями) в присланных предметах, в складках одежды, между страницами невинных книг, на дне кисетов с табаком и даже во фруктах. Я помню пакет с апельсинами, верхние слои которого были фруктами, а нижние слои - контейнеры, которые только выглядели как апельсины и содержали прокламации, скатанные в шарики. Помню деревянные иконы с ящичками сзади, где прятались эти пресловутые листки. Пришлось прибегнуть к помощи полицейских сыщиков, которые пришли переодетыми, чтобы провести это секретное расследование; естественно, я должна была не разглашать этого печального дела, и мне удалось сохранить тайну ото всех, но как же мне это было противно!

41 Николай Иванович Бобриков (1839-1904) – российский военный и государственный деятель, финляндский генерал-губернатор и командующий войсками Финляндского военного округа (1898-1904) был смертельно ранен финским чиновником Эйгеном Шауманом, тут же застрелившемся.

42 Вячеслав Константинович фон Плеве (1846–1904) – российский государственный деятель, статс-секретарь, убит бомбой, брошенной в его карету эсером Сазоновым.

За стенами Дворца все громче и громче звучали раскаты бури. Рабочие забастовки заполняли предместья столицы тревожной и угрожающей толпой. В университете и во всех высших учебных заведениях уже тлели костры, готовые к большому пожару.

В это время много говорили о священнике Гапоне⁴³, который, как утверждали, оказывал благотворное влияние в кругах рабочего класса и организовывал рабочие ассоциации с единственной целью, – как утверждалось, – отделить политический вопрос от экономического и направить мирное решение второго по пути к справедливости, по легальным каналам. С этой точки зрения деятельность Гапона вызывала возрастающий интерес и надежды, а сам загадочный персонаж находил поддержку даже среди великосветских дам. В частности, его часто принимала г-жа Нарышкина⁴⁴, одна из самых влиятельных фрейлин, которой вскоре предстояло стать главной статс-дамой двора.

С г-жой Нарышкиной мне вскоре предстояло постоянно и тесно общаться, и еще раньше я хорошо знала ее и слышала, как она хвалила Гапона как замечательного человека, предназначенного для главной роли в деле всеобщего умиротворения.

Мне, естественно, захотелось увидеть этого человека, и было решено, что г-жа Нарышкина пригласит меня встретиться с ним у нее дома. Но нам пришлось напрасно ждать, потому что Гапон больше не появился у своей покровительницы, поглощенный работой в рабочих предместьях... А тем временем город полнился слухами о готовящейся серьезной демонстрации.

43 Георгий Аполлонович Гапон (1870–1906) – священник русской православной церкви, политический деятель и оратор и проповедник. Создатель и бессменный руководитель рабочей организации «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», организатор январской рабочей забастовки и массового шествия рабочих к царю с петицией, закончившегося их расстрелом и положившего начало Первой русской революции 1905-1907 годов. Был тайно повешен по приговору партийного суда социалистов-революционеров.

44 Нарышкина (урожд. княжна Куракина) Елизавета Алексеевна (1838–1928). С 1858 г. - фрейлина, потом статс-дама и обер-гофмейстерина Императрицы Марии Феодоровны, гофмейстерина Высочайшего Двора, обер-гофмейстерина Императрицы Александры Феодоровны. Кавалерственная дама (1907) ордена Св. великомученицы Екатерины 2-й степени (малого креста). По специальности биолог. Председательница Санкт-петербургского дамского комитета общества попечительного о тюрьмах, убежища имени принца Ольденбургского для женщин, отбывавших наказание в местах заключения, Общества попечения о ссыльных-каторжных и Евгеньевского приюта для арестантских детей-девочек. Ее имя носил Дом трудолюбия при женской тюрьме и богадельня для престарелых, с ее помощью содержались ясли и школа для детей арестанток. В этих благотворительных учреждениях вместе с ней работала Ю. Данзас.

Что готовится? Забастовка? Бунт? Гарнизон Петербурга был усилен. Генерал Трепов, недавно назначенный столичным генерал-губернатором с широкими полномочиями, расклеил объявления, запрещающие собираться на улицах. Наступили первые дни 1905 года.

Перевод с французского Владимира Кейдана



ОСКАР МИЛОШ (1877-1939)

НЕОКОНЧЕННАЯ СИМФОНИЯ

Оскар Милош родился в Белоруссии подданным России в семье польско-литовского аристократа. Мать его была еврейкой, а бабушка по отцу – итальянкой. Он учился во Франции, где прожил большую часть жизни, но, в основном, как литовский дипломат. Стал французским поэтом. Во Франции он именуется Оскар Венцеслав де Любич-Милош, в Литве – Оскарас Милашос. При таком смешении кровей и культур, проблема самоидентификации была для Милоша одной из важнейших. «Во Франции он литовец, в Литве – француз», - писала исследовательница его творчества, которое исключительно высоко оценивали известные французские писатели и литературоведы. Г. Башляр его назвал «великим поэтом», Ф. де Миомандр «одним из величайших французских поэтов всех времен», А. Лебуа «одним из величайших лириков всех времен». Ж. Кассу опубликовал книгу «Три поэта. Рильке. Милош. Мачадо», поставив его в ряд с крупнейшими поэтами века. Можно и еще множить эти свидетельства высочайшего пиетета в отношении Милоша. Его поклонники любят вспоминать высказывание

О. Уайльда, назвавшего Милоша не поэтом, а самой «поэзией». Высоко ценил творчество Оскара и его родственник нобелиат Чеслав Милош, с ним сдружившийся в Париже; переводил его стихи на английский и польский. Литва же отнюдь не сразу проявила внимание к творчеству Оскараса Милошюса, притом, что родство с этой землей он всегда остро чувствовал. Выпустил в своем переложении на французский язык сборник литовского фольклора, даже называл себя «литовским поэтом, пишущим по-французски». Многолетнее «игнорирование» в Литве Милоша, эмигранта, дипломата «буржуазной Литвы», конечно, связано с политикой. В последние десятилетия интерес к нему растет и в Литве, и в Беларуси. А в России, увы, этот наш соотечественник, можно сказать, вовсе неизвестен: опубликовано всего несколько переводов его стихотворений в антологиях.

I

Мы с тобой были почти незнакомы там, под
карающим солнцем,
Что повенчано с плотью людской, а не с
душами,
В том краю, где уснувших сердца
Блуждают во мраке и страхе, не ведая цели.

Это было очень давно – слушай,
любовь моя горькая в том, прежнем
мире –
И далеко-далеко – слушай внимательно,
сестра моя здесь -
На родимом Севере, где от исполинских
кувшинок озер
Исходит былой аромат – легендарных
плодовых садов, ушедших
на дно.

Вдалеке от наших архипелагов руин, арф и
лиан,

Вдалеке от наших радостных гор.
— Был фонарь и в тумане перестук топоров,
Я это помню.

И я был одинопенек в тебе неведомом доме,
Где прошло мое детство, сумрачном и
тишайшем,

В глубине заросшего парка, где озябшая
птица
По утрам воспевала стародавних покойников,
омывшись в

мутной росе.

Именно там, в этих просторных покоях с
подслеповатыми окнами

Жил наш родоначальник;
Туда мой отец, вернувшись из дальних
странствий,
Пришел умирать.

Я был тогда одинок; запомнил,
Что это было в сезон, когда ветер нашего
края,

Напитанный запахом волка, болотной
травы и гниющего льна,

Поет древние песни воровки детей в
полночных руинах.

II

Последний вечер настал, принесший озноб,
Бессонницу, ужас. И я позабыл твое имя.

Сторож, наверняка, пошел исповедаться,
Ведь не маячил фонарь на его верхотуре.

Умерли все наши прежние слуги,
А их дети разъехались кто куда; я был чужим
В покосившемся доме,
Где прошло мое детство.

Тишина тут подобна зерну из гробницы;
Тебе, конечно, знаком
Этот мягкий подшерсток безмольвья, о, сестра
погребенных
Цвета зрелой, над Мемфисом нависшей луны.

Я долго скитался по свету с собственным
братом
Неутомонным; я томился бессонницей
Во всех гостиницах мира. Теперь я вернулся
домой
С головою, уже побелевшей, как облако. И
никого не застал.

•

Эхо шагов и мышинный цокот мне были бы в
радость,
Ибо то, что изгладывало мое сердце,
трудилось беззвучно.
Я был как ночник на мансарде ранней зарей,
Как фото блудницы в альбоме.

Сгинули все друзья и родные. А ты, сестра
моя, пребывала подальше
Ореола, чем себя коронует мать снегов
В прозрачности января. Ты меня едва знала.
На твой зов я откликнулся всем своим
сердцем.

Но мы повстречались один только раз,
В странном свете парадных светильников
Средь полночных цветов и позлащенных
вельмож.
Я прощаюсь лишь с твоим отражением в
зеркале.

Одиночество меня окликнуло эхом
В сумрачной галерее. Там находился ребенок
С фонарем и ключом
От гробницы. Уличный холод

Пахнул мне в лицо прелым запахом.
Я решил, что за мной увязалась моя плаксивая
юность;
Но под лампой, с моим «Гиперионом» в руках
восседала
Старость, склонившая голову.

III

Слушай внимательно, сестра моя. Я пребывал
в голубой
Спальне своего детства.
Здесь я родился.
Именно здесь

Мне как-то привиделась наяву моя первая
елка,
Рождественская - древесина, что обернулась
ангелом -
Явившаяся из глухого и горького леса,
Явившаяся озаренной из дремучей чащобы,

Из студеного леса, где брела в одиночестве,

Царица заледеневших болот, с их
блуждающими огоньками,
Принесшими покаянье; дивной местности,
тихой и белоснежной:
И вот уже перед ней золотистые окна обители
умного мальчика.

Давние, очень давние времена! прекрасные,
чистые! та же комната,
Но замерзшая навсегда, немая, поблекшая.
Казалось, его навек позабыты
Пламя камина и шорох сверчка былых
вечеров.

Не осталось ни родных, ни друзей, ни
прислуги.
Только старость, лампа и тишина.
Старость убаюкивала мое сердце, как безумная
умершего ребенка.
Тишина меня разлюбила. Лампа погасла.

Но пригнетенный Горой темноты,
Я чувствовал, что Любовь, как потаенное
солнце,
Восходит над старинными весями памяти, и
что я улетаю
Далеко-далеко, как бывало в моих сонных
видениях.

IV

«Настал третий день». — Я вздрогнул, ибо
голос
Звучал из самого сердца. То был глас моей
жизни.

«Настал третий день». — Я уже пробудился
порою
Первой молитвы. Но бодрость еще не
пришла.

Я размышлял о местах, где обязан вновь
побывать;
Меня призывал дивный архипелаг со
Срединным атоллom,
Исполненный той чистоты и свободы, что я
потерял
Заодно с коралловым склепом своей юности.

Она ныне дремлет у подножья циклопа из
лавы.

А предо мной, на холме виднелась
водонапорная башня
Вся в лианах Эдема и в бархате тленья
На ступенях, истертых луною, а справа,

На дивной поляне средь рощи -
Руины, позлащенные солнцем! Там был
установлен секретный досмотр,
И я был допущен бродить по той Фиваиде
С онемевшей любовью, под пологом
мрака. Мне ведомо,

Где черней ежевика; где выше трава,
Где поврежденная статуя схоронила свой лик,
Подруга моя; и все ящерицы давно уже знают,
Что я вестник мира, который беззвучен:

Он облечен моей тенью. Здесь я общий
любимец,
Поскольку все видели, как я
страдаю. «Наступил третий день.

Вставай же, я твоя спящая из Мемфиса,
Твоя смерть в стране смерти, твоя жизнь в
стране жизни.

Самая мудрая и насущная»...

Вступление и перевод с французского Александра Давыдова



ИВАН ДЕ МОНБРИЗОН

ЗЕМЛЯ И НОЧЬ

Эти тексты пришли на мой адрес «самотеком» и оказались в тему готовящегося номера. Таинственность автора заинтриговала. На мой вопрос: «А откуда - извините за любопытство - у вас такой безупречный русский и русское имя с французским "де"? Это псевдоним? Кажется, и Москву вы знаете не понаслышке» последовал весьма лаконичный ответ: «Я понимаю русскую душу... моя бабушка была русской еврейкой, ее родители бежали от преследований... но сам я никто, я призрак...». Впрочем, в интернете есть краткие сведения о нем: «Иван де Монбризон - визуальный художник и поэт, родившийся в Париже в 1969 году. Он публиковался в журналах, а также в нескольких романах (так!) и сборниках стихов, его следующая книга "Ежевика" должна выйти в свет в июне 2023 года в Великобритании». Однако, честно говоря, у меня возникли сомнения, действительно ли существуют французские оригиналы этих текстов, как уверял автор. В доказательство

он прислал оригинал первого стихотворения подборки, написанное на уверенном французском языке (см. Приложение). Таинственный автор-призрак?.. Что ж, это как раз в духе и формате нашего журнала.

Александр Давыдов

АВТОБИОГРАФИЯ

Завтра, Время , ты не знаешь, зеркало открывается, ты проходишь с другой стороны, ты видишь отражение окна в другом окне, ты видишь, как кто-то дергает занавеску, ты видишь тень, это может быть женщина или может быть мужчиной, две лампочки сияют в комнате как два вытаращенных глаза в отражении уже человек исчез и в твоей голове раздается глухой шум это похоже на шум проходящего времени это похоже на эхо которое дойдет до тебя в преддверии твоей собственной будущей смерти, люди работают где-то в здании где ты живешь, но мир неподвижен, что что бы они ни делали, ты помнишь когда в детстве ты ходил в музей в городе ты был таким маленьким очень маленьким и ты смотрел на статуи не понимая толком что видеть в них статуи четыре тысячи лет ребенок один потерялся в музее а ты вышел из музея один с образами в голове что наверно ничего не значили как все образы , а вечером ты читал рассказы ты читал книги ты узнавал о жизни людей которые давно умерли ты жил их жизнью, это было более сорока лет назад, теперь смерть так близка, и твое детство уходит во времени оно почти исчезло как корабль на горизонте, как будто ты остался в полном одиночестве на суше на каком-то берегу, напрасно ожидая его маловероятного возвращения в один прекрасный день, во времени.

СМЕРТЬ В МОСКВЕ

Вот разбитое зеркало, вот зеркало, в котором укрылось отражение, вот разбитое зеркало на стене, вот зеркало, в котором я уже не знаю, кому принадлежит это отражение, я сегодня смотрю на отражение безумия, сегодня, я в болц, я безумно больно отражение вышло из зеркала он входит в мою комнату он ходит взад и вперед по комнате а мне больно мне очень жаль мне

очень жаль я покрасил стекло окна красками дня чтобы не видеть за ним день настоящий день реальный мир я рисовал красками с моим воображением день на стекле окна на стекле зеркала на стекле тишины на стекле отсутствия на стекле изгнание на рассвете я рисовал а в москве умер художник они отнесут его на кладбище сегодня в полдень в москве его мастерская пуста а его дочь надя наблюдает за пустой мастерской ее сопровождает лучшая подруга ирина и она смотрит вместе у пустой мастерской и недалеко от мастерской есть речка, которая пересекает москву там золотые купола шпильки красивой церкви что стоит в голубом московском небе на грунте дорог лежит снег в москве а на другом конце света сумасшедшая женщина шьет книги шьет книги которая весь день шьет книги как сумасшедшая она не спит по ночам ночью она становится собакой она превращается в собаку она выходит на улицу в поисках еды как очень худая собака собака бродячая собака собака по имени Сара Сумасшедшая Сара Сара та, что шьет книги, завтра я пойду на кладбище, чтобы украсть часть могилы скульптора, и я принесу эту часть могилы обратно в свою мастерскую, и я сам сделаю из нее скульптуру, она будет выглядеть в точности как лицо мертвого скульптора и этот мертвый скульптор это буду я потому что это будет мое лицо в москве в москве но в филадельфии по улицам бегают собаки которые умирают а есть сумасшедший в Париже с лицом, похожим на фетиш прибитым гвоздями наконец отражение возвращается к зеркалу я закрываю зеркало ключом бросаю ключ в реку в москве пустая мастерская а в пустой мастерской картины смотрят на нас а надя смотрит на картины и что видит надя когда она смотрит на картины она видит свою жизнь утекающую рекой к ночи она видит смерть она видит одиночество она видит лицо своего отца и я на кладбище иду как идиот как проклятый как демон я смотрю на могилы как если бы каждая из этих могил была моей, я вступаю в могилу, я придвигаю над собой надгробие и я сплю после бессонной жизни, я наконец могу спать.

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ДРУГИХ

Рука это - зеркало толпа безымянных людей здесь Я вижу пылающие на горизонте костры Я вижу твое тело посреди пылающих на горизонте костров Я вижу отрубленную руку, которая похожа на зеркало, лежащее на столе, которое дает мне смотреть я смотрю на себя в зеркало своей руки я вижу себя и

все же я вижу там не себя а совершенно незнакомого человека но костры все еще пылают на горизонте и кажется что оно движется как будто это море но это не море это горы на вершинах гор пылают костры ты держишь нищего за рукав его пальто ты ведешь его домой ты его кормишь он рассказывает тебе о своей жизни у него есть дети он давно не видел он говорит вам по русски вы не понимаете что он говорит но понимаете немного все таки понимаете что этот человек родился в казахстане но что у него украинский паспорт он не знает почему он сам жизнь странная он хорошо поел он отдыхает перед отъездом лампочка на потолке кровотоцит как глаз кровотоцит на этих руках на его руке полная крови ты наливаешь ему стакан крови нет это не кровь это вино но это одно и то же он пьет кровь и он пьет вино он пьет ночь мы должны молиться сейчас молиться за пробуждение мертвых перед последним днем человечества и мы все анонимны блажен будет тот кто не анонимный они говорят себе он кто благословлен и известен всем заранее как он лжепророк прирожденный идиот от женщины уже умершей давно уже там костры польхают на всех горизонтах нищий которого ты накормил и который говорит только по- русски уходит ты закрой за ним дверь как закрываешь стену уходишь спать устала ты закрываешь глаза и понимаешь что за смертью твоего отца последовала смерть матери за которой последовала смерть другого мужчины за которой последовала смерть его дочери за которой наконец последовал конец твоей жизни но ты это сделал не понять это в то время это пора просыпаться на рассвете, вставать и чистить зубы, мыть это старческое тело и одеваться, чтобы выйти на улицу, чтобы притвориться таким же человеком, как и другие, и все же ты знаешь что ты мертворожденный, ты никогда не будешь действительно быть человеком, снова как другие, в эту ночь которая ходит.

БАНКА

Мозг помещен в банку не забыть принимать лекарства ты также можешь позавтракать а затем наконец вынуть мозг из банки потянув его за волосы потому что это мозг у которого есть волосы ты можешь поместить мозг обратно в свой череп вот и ты тогда ты снова сможешь думать ты наконец можешь перестать кричать во сне и позволить боли уйти ночью гуляя одна по улицам города рот тоже говорит сам за себя когда ты спишь и ты это хорошо

знаешь я тоже всегда хожу один я смотрю лица люди и вещи и иногда на лице я вижу глубокий черный шрам который проходит через рот вертикально как хорошо заметный гвоздь и вонзается в плоть иногда пластиковый пакет внезапно превращается в животное иногда слова перестают говорить то что они говорят тогда я говорю себе то что нужно положить мозг обратно в банку забыть мое имя забыть что я существую а ты снова в среди ночи тебе снилось так много кошмаров тебе снились такие жестокие кошмары что твой вой разбудил тебя ночью и ты испугался что соседи могут разбудить и спрашивают себя что происходит в твоей квартире вот почему ты положил мозг в банку чтобы уснуть с лекарствами и наконец берёшь его за волосы только на рассвете чтобы поместить обратно в свой череп и только когда твой мозг будет поставлен снова в твоём черепе ты сможешь узнать если для тебя начать жить заново.

РЕЗНЯ

Земля, крик, небо, арка, другое, я не знаю, мы больше не знаем туннель проходит под могилами и переходит на другую сторону кладбища туннель проходит под могилами, мы идем туда, а над кладбищем почти война, это грохот бомб, это грохот люди уничтожены люди разбросаны по кускам мяса я слышу, как умирают убийства и рушатся дома это война это война это война это война это война это война нет ничего не говори мне ничего не говори мне мне больно я не сделал... мне больше нечего сказать там мужчины сумасшедшие и все это нелепо и бессмысленно это ни к чему не приводит есть плачущие женщины есть плачущие дети есть пустые дома есть пустые улицы есть сумасшедшие пустые есть пустые тела я больше не слышу плачущих женщин я больше никого не слышу я не смею говорить я больше никого не слышу под могилами он проходит туннель, который ведет на другую сторону кладбища и мы бежим по туннелю как крысы и превратились в крыс мы похожи на крыс, вот и ночь простирается над городом. Небо освещено только блеском бомб, блеском криков, блеском безумия, блеском бомб, блеском криков, блеском убийств, блеском безумия, ничего не говори мне, нет, ничего не говори мне, я только слушаю, как плачут женщины, я только слушаю женщины плачут и я тоже ничего не говорю я больше не знаю я никогда не был я никогда не был рожден и

ты, истекающий кровью из всех своих ран и ты дырявый, как лист бумаги сигаретой и через все эти дыры ты можешь видеть с другой стороны кровь людей, которых я видел, и я вижу, как они плачут и я тоже ничего не говорю я больше не знаю я никогда не был я никогда не был рожден и ты истекаешь кровью раны, из которых течет кровь мертвых, кровь безумцев в могилах кровь безумцев в могилах наполняет могилы наполняет могилы, как сундуки прозрачные красные сундуки, полные крови, и ты видишь все эти красные сундуки, зарытые в землю, которые образуют красные кубики, выстроенные в линию под землей, которые образуют как абстрактная картина, сделанная из камня фактически прямоугольные кубики, выстроенные в линию под землей, полные крови, полные крови, окрашенные в красный цвет. Кровь, окрашенная в красный цвет. Кровь, окрашенная в красный цвет. Безумие, кровь, окрашенная в красный цвет. Вселенная, в которой я ничего не имею, ничего мне не говори. Только слушай, как плачут женщины. Слушай только плачущие женщины слушают мертворожденных детей слушай детей, которые рассказывают тебе о своих неживых жизнях я не родился я не родился я больше ничто я больше никто я никогда не был я никогда не был чем безумие, что безумие, что война, что тело заперто в плачущем сундуке с дырами и кровотечением кровь выходит через отверстия, и постепенно красный сундук, полный крови, вытекает через эти отверстия, и кровь стекает в землю, и земля тоже теперь красная, и кровь питает землю и кровь из нее. Эта земля этой земли питается кровью красный рождаются деревья, красные, как ночь, красные, как кровь, красные, как безумие.

ГОРЯЩИХ БРАТСКИХ МОГИЛАХ

Говорить кричать не быть не думать не знать мое сердце начать снова плакать и начать снова не быть страху больше голод забвение мудрость лень земля время кровь земля там в крови ты ходишь ты говоришь ты я не не знаю кто ты ты ходишь ты разговариваешь ты смеешься ты забыл что в клетке животное это ты животное я открываю клетку вынимаю огонь я выдавливаю кровь я снова кладу огонь клетка, и снова я в клетке, я кто горит, я кто сжигает мои раны, которая сжигает время, которая сжигает ночь в горящих братских могилах.

НА БАЛУ ДЕБЮТАНТОК

Никого не осталось они все мертвы ты один в квартире со стенами увешанными картинами комнатами полными скульптур ты один и когда ты один ты можешь думать только о прошлом думать об именах думать о воспоминаниях чтобы найти там старые образы потому что когда ты становишься старше, когда у тебя нет детей ты остаешься наедине со своим прошлым как ты остаешься наедине со своим будущим, ты наедине со своей смертью, как в маленькой квартирке в пригороде Парижа, 4 декабря в 2022 году на улице 2,5° ты не отапливаешь квартиру ты остаешься под одеялом ты ел хлеб и шоколад с кофе ты думал обо всех этих людях что ты больше никогда не увидишь всех тех людей которые тебя ненавидят потому что ты их обидел ты причиняешь им боль намеренно ты причиняешь им боль потому что на самом деле единственное что ты можешь с ними сделать, это причинять им боль это было логично человек опасное животное и поэтому нужно защищать себя из-за этой опасности ты должен сначала причинить ему боль, ты должен ударить до того как другие ударят тебя ты должен ударить когда другие меньше всего этого ожидают и тогда нанесенный тобой удар оставит неизгладимый след это своего рода умственное убийство немного похожее на корриду ты должен убить быка а бык это другой человек ты машешь красным плащом красный плащ это слова и за этими словами за этими предложениями спрятан меч а плащ сделан из других слов и на нужный момент когда у быка есть рога в плаще ты убиваешь его я делал это так часто ты делал это так часто позади меня все эти трупы трупы прошлого тех кого я мысленно убил и я оказываюсь в 53 в этой маленькой загородной квартирке мне не грустно я ни о чем не жалею я не прошу у человека жалости часто в газетах вижу лицо давно знакомого человека который стал богатым и знаменитым я не завидую но я понимаю что расстояние которое отделяет фотографию в дневнике от человека которого я знал огромно как будто дневник ложь вымысел а мои воспоминания голая правда кого-то банального на самом деле но жизнь устроена из лжи и мы люди подобны плотоядным животным занятым поеданием друг друга заживо каждый день еще немного.

ПРИЗРАК

Земля в крови а не ты говоришь, на ветвях дерева плоды, в тени дерева есть силуэт, который спит в тени дерева и который на данный момент остается безмянный потому что ты не можешь понять если это силуэт фигурой животное или человек, но в конце концов это одно и то же, хотя ты предпочитаешь животных людям, ты предпочитаешь им лесных зверей, потому что они менее опасны, мне жаль, мне жаль, мне жаль, что твой отец умер мастерская пуста церемония состоялась тело отца сожгут потом его прах развеют на могиле матери твоя мать умерла так долго Надя мне так жаль тебя небо такое голубое но ночь так темно и дорога идет и идет во тьме, никогда не останавливаясь ты должна идти по дороге ты никогда не должна останавливаться не должна смотреть назад и не плачь и не думай не пытайся помнить и знать не будем вспоминать о будущем потому что будущее уже позади на дереве круглые плоды и светящиеся плоды как солнца и тот самый силуэт который всегда спит под этим деревом и ты не можешь узнать если это силуэт человека или животное, поэтому ты подходишь еще близко немного, ты подходишь , чтобы увидеть и узнать, так как небо голубое, и птицы поют на деревьях в лесу очень близко, и ты слышишь в далеке пение крестьян, которые работают на земле и после пяти шесть шагов и, подойдя достаточно близко, ты видишь , что эта форма была почти человеческой, а не звериной, тогда ты говоришь что-то тихо, как будто чтобы разбудить ее, и, слушание твой голос как это лицо медленно выпрямляется, и в этот момент ты видишь себя как в зеркале, потому что этот силуэт прекрасен и твой где-то наполовину животное, наполовину человек и ты наконец понимаешь, что тот, кто звал тебя и кто тебя разбудил это воспоминание уже это воспоминание о будущем и это голос твоего мертвого отца.

ПРОГУЛКА

Рано утром ты просыпаешься ты встаешь с постели ты кладешь на лицо немного ледяной воды ты быстро съедаешь кусок хлеба ты надеваешь одежду но не умываясь себя для тебя уже не важно чистый ты или грязный ты видишь себя в маленьком разбитом зеркале твоя борода поседела теперь с годами у тебя больше нет волос и твои зубы желтые ты открываешь деревянную дверь

своего дома ты выходишь из своей каюты ты идешь вдоль стены ты идешь по тропинке которая идет к лесу ты устал от своей ночи, потому что ты плохо спал, но ты продолжаешь путь кто граничит с несколькими деревьями на ветвях больше нет листьев потому что зима недавно пришла небо серое облака низко идет небольшой дождь на равнине ты почти не слышишь шума в начале прогулки ты просто идешь не особо задумываясь и слушаешь шорох своих ботинок по земле ты ничего не помнишь из своего прошлого через какое-то время увидеть маленькую деревню, появившуюся на твоём осталось немного дальше но ты решаешь не переходить его ты также видишь вдалеке силуэты людей выходящих из дома на работу которые садятся в свои машины так некрасиво в твоих глазах одна из машин уже уезжает едет по дороге она движется прочь быстро скоро она исчезла вдалеке ты продолжаешь свой путь другие машины проезжают по той же дороге ты слышишь как эхо их шум как эхо человеческой жизни но это тебя не интересует не человеческая жизнь для тебя уже ничего не значит это нелепые удовольствия, ты предпочитаешь лес, поэтому поворачиваешь направо, тыходишь в лес, на деревьях нет листьев, но ты все равно слышишь пение нескольких маленьких птиц, пытающихся пережить зиму, зима такая длинная, что всегда идет небольшой дождь земля мокрая твоя обувь утопает в земле когда ты идешь на земле лежат сухие листья там также растут грибы тут или там ты берешь белый гриб случайно ты ешь это, ты не знаешь, сделает ли он тебя больным, убьет ли он тебя или просто накормит тебя, но в конечном итоге все это сегодня одно и то же в твоих глазах.

ЦИНИЗМ

Ты держишь тишину в одной руке но я не с тобой разговариваю везде стены ты закрыл дверь когда вошел ты сел на кровать ты открыл книгу ты читаешь не понимая слов кто в книге она написана по-русски ты не любишь русский язык ты не любишь русских потому как ты не любишь никого ты не любишь французов ты не любишь американцев ты не любишь людей сегодня менее холодно интересно что ты собираешься провести свой день и на самом деле делать нечего ты планируешь скоро умереть ты предпочитаешь готовиться к этой идее твоей близкой смерти на стене всегда одни и те же картины и в этих картинах есть это персонажи которых ты нарисовал и эти картины как

их тюрьма ты действительно никого не любишь ты не любишь женщин женщины неинтересны ты убегаешь от мужчин чтобы остаться в одиночестве в мире который существует только в мыслях в мир который ты создал мир сделанный из безумия мир состоящий из символов мир состоящий из знаков мир состоящий из облаков мир, состоящий из домов в большом городе где никто ни на кого не смотрит где все анонимны где у каждого человека больше нет идентичности где есть так много людей где ты узнаешь почти только бродяг на улице потому что только бродяги кажется имеют свою индивидуальность ты продолжаешь свой путь раньше ты слушал музыку во время прогулки но ты остановился в этом нет смысла вот ты бы тоже перестал заботиться о своей идентичности и о вещи которые ты должен делать мало-помалу ты отдалился от всех человеческих потребностей ты ешь как можно меньше ты ешь самую дешевую пищу ты платишь за то что тебе нужно платить за содержание своего дома а остальное тебе все равно ты не заботишься плевать что все могут сгореть в большом пожаре мир может рухнуть люди убивают друг друга тем лучше на земле слишком много мужчин на земле слишком много дураков парфю ты удивляешься что интеллект на самом деле не является способностью которая контрастирует с глупостью чтобы лучше выделить последнюю наконец короче говоря ты не сожалешь о своей юности когда ты был глуп ты не сожалешь о женщинах которых ты знал они были глупы и предсказуемы вот что циничный вам сказали что ты циничны и ты циничны и ты счастливы быть циником Быть циничным значит понимать что жизнь не имеет ценности что ее нечего ждать нечего видеть и не на что надеяться кроме следующего смерть, если не конец всего и уничтожение этого человечества, этого дерьма.

ДРУГОЙ

Ты больше не думаешь мертвые повсюду кто-то движется вперед умирает и исчезает тишина падает вниз ты ломаешься но это не ты разговариваешь со мной в темноте это твоя смерть ты боишься всего, ты не пойдешь дальше кто-то плавает в аквариуме это не так не ты есть рыба но это не ты есть мужчина ты больше ничего не говоришь ты уходишь дальше ночь закрыта везде стены я боюсь я падаю назад кто-то разговаривает со мной но это не ты это не тень твоего отца тоже но это не ты не говори мне больше ничего иди

дальше забудь меня заткнись дверь выключи все но это не ты я боюсь умереть моя тень остается приклеенной к моей спине но это не ты ты больше ничего не говоришь закрой дверь аквариум пуст везде есть мертвые аквариум пустеет я боюсь тебя но это не ты не говори мне больше ничего не говори больше закрой дверь снаружи холодно ты лежишь в своей постели ты мечтаешь ты держишь лампу включенной рядом с тобой потому что тебе страшно в темноте и мне тоже страшно в темноте ты помнишь что в детстве тебе всегда было плохо ты помнишь что в детстве ты всегда был больной в детстве ты всегда страдал все время в темноте и днем но это не ты разговариваешь со мной ночью когда я голый и нулевой потому что то с годами боль все еще не прекратилась.

ОГОНЬ

Тишина мертвая ты выходишь из дома в твоей голове шумы но никто кроме тебя их не слышишь ты носишь огонь в кармане ты достаешь его из кармана ты кладешь его в камин огонь зажигает напиток огонь согревает комната ты кладешь его в картине он освещает персонажей на картине он освещает пейзаж картины огонь согревает комнату ты смотришь в окно мир холоден есть так много людей которых ты не знаешь повсюду так много сумасшедших ты боишься мира ты надеваешь маскировку ты надеваешь голову лошади ты больше ни на кого не похожа ты надеваешь собачью голову ты больше ни на кого не похожа ты гуляешь одна улица со своей головой собака с головой лошади тыходишь в сквер там играют дети сейчас весна жарко ты очень долго болеешь ты давно не приходил в этот сквер ты остался дома один в темнота лежит на твоём в постели неделями у тебя болел мозг он не отпускал тебя гулять теперь ты снова в сквере деревья зеленые дети играют а их мамы смотрят как дети играют в мяч друг с другом а еще есть парочки молодые женщины и мужчины которые гуляют под деревьями сада в тени деревьев ты остаешься сидеть на стуле ты наблюдаешь за людьми которые проходят мимо пар детей которые играют в мяч, вы наблюдаете за голубым небом, когда ты наблюдаешь как ветви деревьев движутся и зелень деревьев такая нежная на фоне голубого неба и цвета детской одежды кожа детских лиц кожа целующихся пар есть и взрослые которые играют в теннис которые тоже бьют по мячу но ракетками вот это мир просто кто-то встает и идет

купить в ближайшем киоске пачку конфет чтобы отдать их своему ребенку ты помнишь что ты тоже был ребенком что ты пришел в тот самый сад более сорока лет назад почти пятьдесят лет назад ты стар ты один у тебя нет детей поэтому ты смотришь на чужих детей в саду ты знаешь что твой мозг болен это не изменит больше не изменится и прошлое тяжелее в тебе чем будущее чем больше ты продвигаешься во времени тем больше будущее исчезает ты выходишь из сада ты надеваешь снова голову лошади ты надеваешь снова голову собаки ты возвращаешься по улицам ты иди домой ты достаешь огонь из кармана ты кладешь его обратно в камин и он согревает комнату ты кладешь его в картину он освещает персонажей снова на картине он освещает снова пейзаж на картине ты возвращаешь огонь опять в кармане ты смотришь на улицу сейчас нет весна еще зима на деревьях нет листьев ты представлял все это ты помнил тот сад куда ты ходил ребенком ты представил как вернешься туда еще раз в этот сад но это иллюзия огонь горит в картине и ты ложишься в свою постель и смотришь как огонь горит вдалеке на холмах которые ты нарисовал в картине, и это на вечность.

НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

Ничего не осталось мне больно ты выходишь с другой стороны ты закрываешь дверь кто-то плачет но это не ты вот это улыбающееся лицо в осколке зеркала вот эта рука берет стакан с водой на столе вот это небо, которое появляется в углу едва заметного окна, висит картина, на которой изображена женщина, беременная ребенком, но ребенок в форме собаки, но ребенок в форме монстра ты не смеешь плакать ты не смеешь спать ты не смеешь мечтать есть эта картина на стене в форме зияющей дыры и если ты пройдешь через нее ты окажешься в другой комнате чтобы прожить другую жизнь с другими людьми но нет ты останешься лежать в своей постели ты не разговаривай ни с кем ты ничего не знаешь ни о смерти ни о жизни сейчас зима ты слышишь звуки которые доносятся до тебя после прохождения сквозь стены это шумы соседей это звуки мертвых стучат в дверь ты слышишь смех ты слышишь голоса которые шепчут то что ты не хочешь знать... там собака с головой человека идет по улице писает на дерево писает на мертвеца писает на твое безумие а потом собака с головой человека возвращается и все внезапно ее тело снова принимает человеческий облик как раз перед тем

как оно еще было чем-то вроде выродившегося кентавра какой-то ужасной твари статуей почти твердой как камень но способной двигаться в то же время с ловкостью которая имела консистенцию камня лень плоти и именно это существо-кентавр помочился бы на дерево которое сожрало бы труп этот кентавр твой брат твой отец будь собой ты как опустившийся кентавр лежишь в постели и копыта твои торчат из-под простыни и твои ноги и руки также высовываются из-под простыней в конце кровати и когда ты дышишь ночью твоё дыхание похоже на дыхание лошади или мертвеца и твоя голова все еще сохраняет нечеловеческую форму .

МЕЖСЕЗОНЬЕ

Никто не говорит, и все же падают куски неба в ночь, тебе снилось с открытыми глазами, на этот раз у тебя не было кошмаров, ты забыл, какой сегодня день недели, но время прошло несмотря ни на что; на берегу ребенок и он смотрит на птиц на берегу также небо и он смотрит на птиц твоя тень плавает по воде ты не пойдешь дальше лес рядом небольшая грунтовая дорожка ведет к нему недавно шел дождь так что земля мокрая но это не важно у тебя хорошая обувь ты повернулся спиной к солнцу ты идешь немного по берегу вдоль реки иногда ты смотришь на воду иногда ты смотришь на ребенка иногда ты смотришь на птиц иногда ты смотришь на птиц иногда ты смотришь на небо ты пытаешься забыть обо всем ты пытаешься забыть о своей жизни ты пытаешься не думать о плохом те мысли которые заставляют тебя страдать те мысли которые принадлежат миру людей миру ложно важных вещей ты предпочитаешь надеяться что эта весна будет длиться вечно ты даже надеешься что лето не наступит слишком быстро но в глубине души ты знаешь что уже осень что сезон уже сменил межсезонье, но ты делаешь так, как будто это всегда была весна, как будто всегда можно надеяться на будущее и что тот ребенок, на которого ты смотришь, на самом деле был тобой еще ребенком как будто птицы, на которых ты смотришь, навсегда останутся там, рядом с рекой, которая уходит и уносит с собой отражения природы ты не пошёл по тропинке ведущей к лесу ты осталась у кромки воды где виднеется чистое небо далеко впереди горизонт и ты пытаешься еще больше забыть забыть кошмары забыть прошлое забыть все, что осталось в тебе, что заставляло тебя страдать годами и годами все

и что было бы похоже на слишком долгую зиму, ты надеешься на самом деле не веря в это что эта весна будет длиться вечно что навсегда больше не будет будущих лет что больше не будет потраченного времени что в конце концов будет только этот ребенок, который играет сам по себе и эти птицы на которых ты смотришь это все только ты надеешься а река текущая без спешки и сожаления и солнце пылающее в небе, и его свет.

ПЛАТФОРМА СТАНЦИИ

Наступает день, это не ты со мной разговариваешь, ветер шевелит листья на деревьях, немного идет дождь, холодно, сейчас зима. Тем не менее, когда я иду, этот голос следует за мной в моей голове, он следует за мной с тех пор, как ты умерла, возможно, это ты в моей голове и разговариваешь со мной, когда я иду. Тем не менее, я прекрасно знаю, что слышу не тебя, а свой собственный голос, одетый в твой. Скоро будут твои похороны, я, может быть, поеду. Но я не хочу, чтобы меня видели другие, другие члены моей семьи. Так что придется оставаться, почти прячась, под ветвями деревьев, чуть дальше, в стороне. Если мне нужно пойти на твои похороны, и это почти вопреки мне, то это также, без сомнения, потому, что в последний раз я видел тебя, уже сильно пострадавшую от героина, в возрасте сорока четырех лет; ты сказал мне, на набережной одной из вокзал, когда мы вернемся поездом с похорон нашей бабушки, мы увидимся на следующих похоронах. И, главное, теперь он твой.

МЁРТВЫЕ ДУШИ

В этой пустой голове нет мыслей ночь как круглый камень лежит на столе у моей кровати я уже не помню прошлого я помню чужних страдание и мое и ночь такая круглая и такая черная и такая тяжелая и все же она витает в воздухе я помню вчера на улице идет дождь люди приходят и уходят они входят в магазины они носят одежду пальто брюки все одинаковые и кто на них почти нелепо женщины как мужчины я не вижу их иногда я смотрю на облака я смотрю на небо я смотрю на птиц и я двигаюсь вперед я двигаюсь к реке я дохожу до берега реки я немного иду рядом с ним я смотрю как вода

движется вперед и уходит в сторону океана сегодня серо ветер не сильный а вода как всегда течет на запад вода течет к заходящему солнцу но которое остается невидимым зимой из-за туч и серого неба там еще нет этой зимой в Париже снова шел снег но было очень холодно я все еще немного гуляю вдоль реки я почти один ночью потому что на этой неделе в это время года люди заняты приготовить своих вечеринки, приготовить свои еды, покупать подарков, и продавать своих душ.

ВОСПОМИНАНИЯ

Сегодня утром небо темное мы еще не включили солнечную лампочку но дома как каменные звери ты не думаешь ты не видишь ты помнишь путь по реке рыбы плавают как человеческие трупы утонули как белые тела утонули в реке ты помнишь огонь который горел во тьме пламя словно тысяча рук вышли из огня поймать воздух и согреть его ты помнишь растения их руки и ноги но неподвижны и бесполезны к нему двигаться ты помнишь деревья над головой которые сделали как бы потолок вдоль реки где тени задерживаются чтобы заснуть на земле глядя на солнце в лицо которое стирает их солнце которое стирает их одно за другим как стертые штрихи на листок бумаги как потерянный рисунок который мы пытаемся забыть ты помнишь все из комнат где мы спали из кухонных тарелок поставленные на стол от огня от газа от старых кастрюль от старых тарелок от золотой собаки ждущей еды из старой квартиры из затянутого паром окна кухни ты помнишь погоду в такой-то день ты помнишь гостиную огромную ты помнишь так много всего и все же у тебя ничего не осталось ты всего лишь кукла из плоти кукла из мягкой плоти ты можешь умереть в любой момент это тебе все равно теперь смерть больше не значит ничего это не имеет значения теперь есть только пустота молчания и рваный карман брюк куда я прячу свои мысли куда я прячу свои мечты ставшие бесполезными и даже смешными порой я поддерживаю тебя от кончика губ до конца телефона и если бы я замолчал на мгновение ты можно была упасть в бескрайней ночи и вдруг сломать себя как терракотовая марионетка, о голую землю.

КОНЕЦ ДНЯ

никто не смеет заговорить. дверь оставалась открытой. двор снаружи пуст. слышен голос плачущей женщины, совсем одна, где-то спрятана в квартире на верхнем этаже. двор почти пуст, кроме нескольких растений, которые раньше были посажены в горшки, им кажется нужна вода.

небо серое, но дождя еще нет, в этом январе очень холодно, часто ночью замерзает. ты задаешься вопросом, как бродяги выживают весь день, а затем всю ночь на улице, в такой холод. однажды, совсем недавно, ты прошел мимо женщины, которая всегда спит на одном и том же месте на улице, лица которой ты никогда не видел, которая разговаривает сама с собой, ты думаешь, что она бредит. сососедству также есть мать и ее дочь, которые годами живут на улице, одеты во все черное и ни с кем не разговаривают. девочке неопределенный возраст, мать очень стара сама и, без сомнения, умрет в ближайшие годы. тебе интересно, какой тогда станет его дочь.

тебе очень повезло, ты живешь как отшельник, но у тебя есть крыша над головой, чтобы защитить себя, и достаточно еды каждый день.

ночь подходит к концу. никто не смеет заговорить. дверь оставалась открытой. двор снаружи пуст, и ты слышишь где-то голос плачущей женщины; которая, без сомнения, никогда не перестанет плакать, до конца дня.

ВОРЫ

лицо перевернуто вверх дном
ад прямо за дверью
ты закрываешь глаза и плачешь
безумец бежал по улице
убив кого-то
ты забываешь свое собственное имя
она сказала что-то ужасное
и ты никогда не смог бы ее простить
безумец только что убил кого-то
и труп все еще лежит расколотый
весь красный на полу тротуар

похож на брошенный мешок с костями в который может
немного подуть ветер чтобы он улетел
прошлой ночью было так холодно
земля, должно быть почти замерзла
а сегодня утром небо белое
ты ложишься на кровать
твоя голова холодная.
но сердце горит
тебе нужно оставить дверь открытой
чтобы воры могли войти
и взять все что захотят
ты хорошо спрячешь нож
и топор на кухне
пусть они входят и берут все что захотят
ты дашь им на обед
их собственные мелко отрубленные руки
одиночество - это просто безвкусно
и у тебя никогда не было друзей
для тебя это еще одно бессмысленное слово
подобное этим предложениям сказанным чтобы скрыть
настоящую уродливую реальность
Я обезглавил свою память
и оставил ее на столе
Я могу легко наблюдать за этим в темноте
но моими глазами в задней части черепа
Мне нужно лечь на живот
смотри эти пятна крови со своей одежды
потому что жизнь - это всего лишь мертвое тело
оставленное разлагаться на тротуаре
которое только что убил сумасшедший
тебя ни о чем не волнует
друзья как и все остальные
поскольку ты оставил свою дверь открытой
чтобы убить всех воров.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вчера мы говорили ужасные вещи друг другу.

это был ее день рождения.

ресторан был битком набит, в этом фешенебельном районе, который вы так ненавидите.

потом, когда ужасы миновали, ты поехал ночью один домой, в пригород, где ты живешь в своей убогой двухкомнатной квартирке и где ты умрешь в одиночестве, как идиот.

ты вспоминал вечером свое детство и понимал, что все это, что вся твоя жизнь, в сущности, совершенно ни к чему.

животные-люди иногда говорят друг другу ужасные вещи, которые потом никто не может стереть.

это был ее день рождения.

некоторые бегут, чтобы выжить, другие позволяют себе умереть на месте, вы, к сожалению, являетесь частью второй половины.

люди на улице чаще всего носят маску глупости, прикрепленную к их лицам, и с течением времени лучше не становится, в ваших глазах, но на самом деле мир всегда был таким, за исключением того, что до него было гораздо лучше спрятано, без сомнения.

мы говорили ужасные вещи друг другу. это был ее день рождения.

вот, рассвело, я принял лекарство, чтобы лучше спать.

Я уже смотрю на то, что я потратил в этом месяце, и у меня все еще есть счета, которые нужно оплатить, как и у всех остальных.

шестнадцатое января две тысячи двадцать третьего года, на самом деле мир еще движется вспять, а на улице еще холодно.

ЗАБВЕНИЕ

есть что-то, что уходит в небытие, как какая-то гоночная машина, может быть, это мое единственное воспоминание о тебе

так что не совсем тебя я вижу уходящей по уже свернутой от тебя пустынной дороге, ты даже не успела со мной попрощаться

отражение отрывается от зеркала что-то ломается в забвенье что-то уже потеряно

Я никогда не видел, как ты плачешь, я думаю, и нет твоей фотографии в моем доме, нет и следа твоей памяти, но ты была так больна ближе к концу, что, наверное, так намного лучше

вот черно-белая фотография но она о другом я говорю себе если бы ты пережила меня что бы ты сделала с моим трупом

прошлое однажды положил в землю я поставил на нем твой крест ты уже не помнила мое имя не о чем больше сожалеть а значит и ожидать больше нечего

тишина подобна этому дереву, которое шум заставляет замолчать, только кончики его зеленых листьев шевелятся, как пальцы, когда они наклоняются над дорогой, и только если внизу ветер, машины крутятся, и поэтому воздух довольно загрязнен

тебе, вероятно, нечего было больше ожидать от будущего и настоящего, а я, и даже если ты никогда не знала об этом, я так долго ждал тебя.

РЕКА

Ты сидишь на краю окна смотришь как приходят и уходят уличные люди, ты говоришь себе что все они похожи друг на друга и это правда и все же каждый немного отличается от другого эта маленькая разница так же велика как вселенная ты хотел бы идти по улице быть тебе тоже посреди прохожих ходить слушать музыку в ушах и ни о чем не думать идти к реке как каждый день как каждый день смотреть на воду реки отражения света на воде где вода подобна зеркалу где возникают отражения домов отражения деревьев отражения неба твое собственное отражение а иногда ты видишь рыбу в воде а иногда птиц на реке как чаек утки бакланы бакланы ловят рыбу под водой утки едят хлеб который дают им прохожие чайки кричат без видимой причины чайки белые утки зеленые бакланы черные все на своих местах и все движется но как танец смерти танец не остановится танец каким-то образом продолжится после того как ты умрешь после конца человечества после разрушения этого города после исчезновения земли танец будет продолжаться потому что единственный смысл существования вещей и самой реальности — это наконец возможность продолжать танцевать.

ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА

Ничего не осталось.

Мы так устали.

Кусочки солнца скользят по моему лицу и обжигают мою кожу, из-за чего мое лицо немного кровоточит.

Я меняюсь от часа к часу, я уже не тот, кем был, только перед уходом домой к обеду.

Я принимаю лекарства.

Я не очень голоден.

Я видел своего брата сегодня днем, и мы обсуждали прошлое.

Я понимаю, что мы выросли без родителей, наши были призраками, поверхностными и пустыми людьми, людьми уже мертвыми внутри.

Мы говорили о наших общих воспоминаниях, он очень страдал в детстве, он тоже страдал, когда узнал, что я недавно пыталась покончить с собой.

Может быть, я и не был лучшим из братьев, но я сам был так уничтожен.

Ну вот, я снова в мастерской на rue de la Forge Royale, на этот раз на стенах висят абстрактные картины, которых я не делал уже почти двадцать лет.

Сегодня утром я выбросил свой телевизор.

При этом я выбросил свое прошлое и свое будущее в мусорное ведро, мое прошлое было камнем весом десять килограммов, на котором покоился телевизор, мое будущее было уже не более чем трупом.

Здесь, наконец, подействовав наркотики, я смог съесть немного макарон на кухне.

Ночь наступала медленно, снаружи, в баре, я слышу, как довольно молодые люди смеются и пьют пиво, ни о чем не беспокоясь.

И я, который больше ничего не чувствует, снова один, лежу без движения на кровати; у меня выколоты оба глаза.

Авторский перевод с французского

ПРИЛОЖЕНИЕ

AUTO-BIOGRAPHIE

Demain le temps tu ne sais pas un miroir s'ouvre tu passes de l'autre côté tu vois le reflet d'une fenêtre dans une autre fenêtre tu vois quelqu'un qui tire un rideau tu vois une ombre cela pourrait être une femme cela pourrait être un homme il y a deux ampoules qui brillent dans la pièce comme deux yeux fixes dans un reflet déjà la personne a disparu et il y a un bruit sourd dans ta tête c'est comme le bruit du temps qui passe c'est comme l'écho qui te parviendrait à l'avance de ta propre mort future des gens travaillent quelque part dans l'immeuble où tu vis mais le monde est immobile quoi qu'ils fassent le monde reste immobile tu te souviens quand enfant tu allais seul au musée dans la ville tu étais tellement jeune tout petit et tu regardais des statues sans vraiment comprendre ce qu'il fallait y voir des statues vieilles de quatre mille ans un enfant seul perdu dans un musée et tu ressortais seul du musée avec des images dans la tête qui ne voulaient rien dire sans doute comme toutes les images et le soir tu lisais des histoires tu lisais des livres tu apprenais la vie d'êtres humains morts il y a longtemps tu vivais de leur vie c'était s'il y a plus de quarante ans maintenant la mort est si proche et ton enfance s'éloigne dans le temps elle a presque disparue comme un navire à l'horizon comme si toi tu étais resté tout seul échoué sur la terre ferme d'un rivage quelconque à attendre en vain son retour improbable un beau jour, dans le temps.



АВТОБИОГРАФИЯ КАК ОТШУМЕВШИЙ ДВОР

Это был день зимних страстотерпцев.

В трамвае – высохшая до белой бабочки Мнемозины, до снежного мотылька пассажирка лет ста или сверх, в тарелочном берете, в старинном покрое, с тростью, с тысячей извинений.

Сядьте уже, вам уступили место, кричала ей в ухо огромная красноликая кондукторша. Простите, кротко отвечала столетняя, я не могу сесть, у меня очень болят ноги, но если я стою у вас на пути, пожалуйста, обогните меня, я скоро выйду... На какой? – кричала кондукторша. Мне нужна улица Большие Дары, кротко отвечала столетняя. Другая воительница восклицала ей из мехов: вот ваши Дары, вам пора! – но столетняя вздыхала: я не слышу, что вы говорите, простите меня, пожалуйста...

Впрочем, на Больших Дарах трамвай тормозит трижды, и улица сия, как всякая жизнь, сначала раздольна: в верхах ее – театральные дворцы и горластый парк, рослый бизнес-центр, магазин модного белья и властительный сталинский дом с рестораном, над которым некогда проживал мой беспримерный прельститель, старый шалопай с дзержинской бородкой, ну да уже – на двадцатых небесах...

Одна сторона Больших Даров – безбурна, меланхолична, другая то сребрет ступени, то заставится междугородними автобусами, то пустит толпу болельщиков, и кому на ней удержаться кроме молодых и азартных? В итоге та и эта пешеходки, промотав сестринскую привязанность и спесь, сникают в провинциалок, начинают косить – и впутываются в южную и в северную окраины.

Столетней нужна была последняя остановка на Больших Дарах, и стоящие рядом наблюдали, как она, схватившись за качую трость и лоя поручни, мышным скоком одолевает метр до двери и вечность спускает себя по унции со ступеней. Надувался страх, что железнодорожники не выдержат, сплюнет ее и тронется. И ужас: за что самым долготерпеливым душам – такое сокрушение?

После полудня мне встретились две выходицы с востока – мать и дочь, лица темнее пива, нос птичий, брови на обеих – густые негнущиеся тире, а глаза во рву. Обе были в черных одеждах – прорехи в деревьях заметенного леса. Два слепых кипариса. Черные паруса, коих страшатся на берегу... Обе медленно влачили сквозь снег, не глядя по сторонам и не обмениваясь ни словом: каждая все и так знала.

К сумеркам обнаружился привязанный к перилам супермаркета серый кудлатый гриффон или среднешнауцер, притом в беднягу зачихнул трубный глас осла, каковой теперь рвался наружу. Зеваки вокруг, должно, любители муз, изумлялись, как зверь несносно утруждает глотку – и не ведали, что делать с ревущим заемным голосом. Пожирала ли пса изнутри его другое и третья я? Не сносил ни минуты разлуки? Не то спешил,

пока хозяина нет, пожаловаться на подлеца и напроситься к кому-то из сочувствующих?.. Но, как осел, не догадывался, кому нужна столь оглушительная собака?.. А может, полагали – гриффон вообразил себя ослом, осел же прозрел себя ракетой на взлете?

Зато вечером на нижние ветки замороженной аллеи вдруг слетели – зеленые мотыльки. Ветер раздраженно отдувал видение – в будущее, но вновь под абажурами крон, как капли дождя, как ноты, спорхнувшие со стана на добавочные линейки, перемигивались мазки весны.

Вот, зима уже прошла на земле; смоковницы распустили почки; время – пению... Мне теперь – век; различу ли хорошее от худого? Вкус еды? И буду ли в состоянии слышать голос певцов?

Мир сотворен дыханием Совершенного и пока вне конкуренции, что при случае подтвердит тебе, слышу я, некто по имени Леонардо. Может быть, в городе, так сдвинутом в прошлое и на юг, что здешним взорам невидим.

Где несколькими странникам назрело пересечь с международного автобуса, подкатившего к своему рубежу, в новый, чей путь начинается.

Где поджидают транспорт на кромке вечерней улицы, качаемой ранней тьмой и начиненным амброзиями жаром субтропиков – неизвестно, как зовется и куда ведет, но протянулась сквозь центр бытия – и безупречна.

И на одной из вершин ее этажей сияет имя «Leonardo». А окружившие его звезды есть – горящие окна таких же схваченных тьмой верхних, небесных улиц – и это лучшая точка обзора, откуда открываются разом – все мироздание и все насыпавшие его события.

Ну, а если одно примешь за другое, так утвердивший обмен на светлой стороне суток, жалок воображеньем.

Итого: полусеверные деревья, чье процветание пастельно, подслеповато, сумеречно и скоротечно, на вседневных мних асфальтах – обносившиеся в дороге почвы от необузданных, сладострастных султанов той улицы, что воссели на всякой ветви, на ярусах и террасах, присвоили изгороди и задышали любой пробел – эти тяжелые, не знающие сроков бутенвиллеи, польхающие кассии, пышные жакаранды и прочий багряник, и можно укрыться их соцветиями, как одеялом, и видеть неправды о золотой сердцевине, об ослеплении и обгоревших, сыплющихся краях.

И голубиные перья, что спикировали в мой двор, булавки, приколовшие к пыли его – один-два оттенка той улицы, напомнят – ту, в чьи окрестности слетаются из стывших времен самые царственные, длиннокрылые, длиннохвостые, длинноклювые... и в знак расположения роняют перо, а кто поднимет дар журавля, или фламинго, или жар-птицы, напишет длиннокрылую книгу... или самую длинную строку.

Но что наваляешь – мелким, гнущимся голубиным, если не безотрадное описание семи остывающих сосудов, крайние два – с бликом солнца на плече?

Об этом вспоминаю я от дома к трамваю, глядя, как ветер на углу неосторожно разгребает березу – до глубоко зарытых и самых тайных ее белых косточек.

Отсылка к великим карандашам и кистям?

Или это орнитокоптер – и ветер так вывернул крыло, что надпись «Леонардо» читает только сама себя?

А не то часы с пророческими картинками – и вдруг распахнули мне свой прогноз.

Две молодые особы прошли предо мной из тех, кто впоследствии улетел в окно. Две кинодевы, одна – ассистент заштатного режиссера, вечно того же – и рассыпала вокруг его речи, высока, как ее восторг и смех, с птичьими глазами, упрятанными, как детский секрет, под стеклышко. Вторая – монтажер, столичница, кренделек на затылке, сущие посоха, с хромым подскоком и круглый год язвящая. Но изнутри их пожирало страдание. И, кажется, выбрали отселить его в пернатую водонебесную. Уточненную утку, которая если хлопнется на воду между речных кабанов и лис, в тот же миг будет разнята и погашена...

Связал ли кто два их окна – в цикл, в серию? Ведь у них существует общее звено: я, кто бросилась из окна – вдогонку. Но дважды, не долетев до разъявленных жаровен, малодушно ретировалась. И во-вторых – место, которое мне явилось по принятии трагических новостей с разрывом в год: довесок не то к отшумевшему двору, не то к следующему: промежуток, подобный наброскам к важному письму, скомканным и отброшенным. Да и само послание, двинув к адресату, чем-то отвлеклось. Стрелки часов шли здесь против ветра – и их задувало вспять. А может, этот зазор был – длительное событие, ибо под листьями и травами его копились уныние недавних и собравшихся дождей – и безысходность.

Здесь осели не самые почитаемые фамилии: многоглавое семейство ржавых гвоздей, династия башмаков, сбитых и заткнутых клочками дороги... Истыканные брешью наряды, скомкавшие чертеж хозяина, и семейство бумаг, что когда-то сжимали в объятиях... о-о-о! – и заносчиво выставляли жирные пятна и рваные раны... Наконец, не переводящийся род пирамидок собачьих...

В каковом насаждении длинных родственных связей одиночество – особенно лишний рот.

Всех выше же поднялся клан Лопух – и был необъятен.

Верно, в его длинные стебли вселяли развидневшихся без вести военных. Переросшие человекoв, в пыльном, внахлест, хаки верзилы хвалились друг другу звездами тусклого серебра – на чьих плечах с горкой, а у кого с плешью, и пуговицами нагрудными и общлажными.

Единственно внимавшие рассказням были – буквы на треснувшем столбе, пригревшем с фонарного прошлого – проволочные контуры островерхих звероушей, но ветер замещал в них и перепонки, и слух.

Лучший призыв времен и народов не решился опоясать столб – и запахнуть и слопать половину себя, но стекал с груди фонарщика к первой и последней его лодыжке. Ergo: назначался – читающим по вертикали. Например, летящим вниз из окна. Или – возвращающимся в окно: ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ!

Во втором раскрытии места надпись вдруг переменилась, впрочем, на столь же востребованную: КТО НЕ СОГЛАСЕН, БУДЕТ КАЗНЕН.



ВСТУПЛЕНИЕ

У нас Александра Поупа знают мало, тогда как он такой же великий английский поэт, как Шекспир или Байрон (для самих англичан). Его главным литературным жанром была поэма, которых он написал восемь или девять (это смотря как считать), а также большое количество длинных эпистол и сатир. В XVI–XVIII вв. в Англии писали долго, а короткие лирические стихотворения (за исключением сонетов) писали очень немногие. Поэма, которую я предлагаю читательскому вниманию, называется «Виндзорский лес». Она писалась Поупом долго, целых девять лет, с 1704 по 1713 г. и была второй по счёту в его поэмном списке. Именно с неё пошёл его знаменитый «героический куплет», пятистопный ямб с парной рифмой, который будет абсолютно превалировать в творчестве Поупа до конца жизни. Хотя до Поупа это был довольно популярный стихотворный размер, которым писали очень многие, начиная с XV в., именно Поуп возвёл его в ранг «английского гекзаметра» и довёл его, по мнению буквально всех критиков, до логического завершения: знаменитой поуповской точности и недостижимого формального

блеска.

«Виндзорский лес» был первым большим произведением Поупа, в котором он начал говорить от своего собственного имени. Поскольку тема этого выпуска «Комментариев» – автобиография, вопрос, насколько автобиографична поэма Поупа, отнюдь не праздный. Надо сказать, что почти все английские поэты до Поупа были весьма автобиографичны, т. е. описывали в стихах события и перипетии (включая любовные), которые их касались непосредственно. Другое дело, что они часто тщательно маскировали объекты описания, особенно когда речь шла о любовных объектах. Самый известный здесь пример – Шекспир (1564–1616), но были и те поэты, которые, несмотря на очевидную скандальность их выбора, были предельно открытыми на сей счёт. Например, исключительно автобиографический поэт дошекспировского времени Генри Говард, граф Суррей (ок. 1517–1547), о котором Поуп упоминает в поэме, так прямо и писал о своей возлюбленной (перевод тоже мой):

Описание и похвала его возлюбленной, Джеральдине

Как мы видим, Суррей ничего не скрывает, в отличие от того же Шекспира, хотя нам и требуются длинные комментарии, чтобы вникнуть в текст и определить прообраз. Тут непременно нужно отметить то, что «скрытность» как таковая пришла в английскую поэзию уже с романтизмом самого конца XVIII–XIX в., который любил напускать таинственность на все факты личной биографии. Поуп, безусловно, предельно автобиографичен в «Виндзорском лесе». Родившись в лондонской католической семье, которая отказалась переходить в англиканство, что было в те времена очень рискованно, Поуп в возрасте двенадцати лет переехал вместе с семьёй в деревню, находившуюся в непосредственной близости от Виндзорского леса, где он и вырос. Переехала семья как раз из-за преследований католиков, которым запрещалось жить ближе, чем в шестнадцать километрах от центра Лондона, которым считался Вестминстер. Таким образом, Виндзорский лес оказался соучастником поуповского взросления, и поэт остался ему навек благодарен.

В поэме Поуп изобретает свои собственные мифы, подражая Овидию, переводом из «Метаморфоз» которого Поуп начинал свой поэтический

путь. Этот перевод был сделан тоже «героическим куплетом» в возрасте четырнадцати лет, т. е. когда Поуп жил в Виндзорском лесу, и практически лишён каких-либо огрехов. В поэме достаточно описаний собственного образа жизни и тогда, и потом, когда Поуп переехал в пригород Лондона, но тоже на Темзе, – Твикенхэм.

Поуп влюблён в Темзу. Ей посвящены, наверное, лучшие строки поэмы.

Короче, подлинному Виндзорскому лесу Поуп был обязан многим, хотя впоследствии и подсмеивался иногда над легкомысленностью своей молодости и над навеянными ей стихами. Во «Второй эпистоле из Второй книги Горация, симитированной г-ном Поупом» (1736) он писал:

Читать на греческом по мере сил
Я начал рано, кто такой Ахилл.
Отец меня учил – снова и снова –
Только хорошему взамен дурного.
(А в Виндзорском лесу учился я
Правде безудержного бытия.)
Но, из родительской удравши кельи,
Я понял, что оно не сплошь веселье
И что Законы, как мы ни страдай,
Ведут лишь в Ад, а в никакой не Рай.
Католикам же вовсе стало худо,
Когда Вильгельм взошёл на трон, Иуда!¹
Он на Наследованье ввёл налог
И Бедность подстегнул где только мог;
Католик я, но пережил всё это
Преследованье в качестве Поэта.
Я сохранил себя как старовер,
Мне в этом посодействовал Гомер²;

1 Вильгельм III Оранский (1650–1702) взошёл на трон в 1689 г. в результате гражданской войны с Яковом II Стюартом (1633–1701; король Англии с 1685 г.), младшим братом Карла II; был свергнут с престола в 1688 г. в результате так наз. «Славной революции» из-за подозрений в его желании восстановить в Англии католицизм. Придя к власти под протестантскими лозунгами, Вильгельм III усилил репрессии на католиков. (Они продолжились вплоть до XIX в.) В его царствование Англия стала «великой державой». Поуп явно пристрастен в своём отношении к Вильгельму III.

2 Поуп начал переводить «Илиаду» Гомера в 1713 г., а «Одиссею» в 1726 г. Перевод «Илиады» был назван Сэмюелем Джонсоном, самым влиятельным критиком того времени, «исполнением,

Но если я продолжу так чудесить,
Монро³ не хватит, нужно будет десять!

Как мы видим из вышеприведённого отрывка, Поуп – очень открытый поэт. Если понимать автобиографичность как «открытость» (а слово «открытость» у Поупа появляется в стихах несколько раз!), то более открытого поэта во всей английской литературе, чем Поуп, найти, пожалуй, невозможно.

ВИНДЗОРСКИЙ ЛЕС⁴

Высокочитимому Лорду Джорджу Грэнвиллу, первому барону Лэнсдаун⁵

Не без приказа пою. Но, Вар, кто моё
сочиненье
Будет с любовью читать, увидит: все
наши рощи,
Верески все воспевают тебя! Нет Фебу
приятней
В мире страницы, чем та, где есть
посвящение Вару.

Вергилий⁶

Твои леса, мой Виндзор! сень дают
Монархам, Музе же моей – уют,
Так петь позволь ей! Пусть Сильван все чащи
Ей распахнёт, пусть вторит ключ журчаще!
Грэнвилл командует мне: Пой на ять!
Грэнвиллу как мне можно отказать?

которое не может быть превзойдено ни одним временем и ни одной другой нацией». Переводы Поупа пользовались огромной популярностью.

3 Примеч. Поупа: «Доктор в Бедламе». Джон Монро (1716–1791) был утверждён ведущим врачом в Вифлеемском госпитале (более известном как Бедлам) в 1728 г. После него семья Монро контролировала Бедлам на протяжении 125 с лишним лет (с 1728 по 1855).

4 Нап. в 1704–13, опубл. в 1713. Примеч. Поупа: «Эта поэма писалась в разное время: первая её часть, относящаяся к деревенским местам, одновременно с «Пасторальями» в 1704 г., другая не была добавлена к изначальному тексту до 1713 г., когда сия поэма была, наконец, опубликована».

5 Джордж Грэнвилл, первый барон Лэнсдаун (1666–1735), покровитель юного Поупа, поэт и крупный политик-тори времён королевы Анны.

6 «Буколики», эклога VI, пер. С. Шервинского.

Давно исчезнувший покров Эдема
Знаком по тексту, что даёт поэма⁷;
Пусть Виндзорский станет объектом слав,
Моё повествованье в мир послав!
Леса, холмы, предгорья и долины
Свои высоты слили здесь и длины,
Но им не свойствен никакой хаос,
Который бы гармонию разнёс:
В разнообразье здесь царит порядок
Без столкновений, споров и накладок.
Кусты здесь, как на шахматной доске,
Эти – на солнце, ну а те – в тени,
А нимфы к приставаниям сатиров
Вполне бесстрастны, в листьях спальни вырыв.
Есть здесь и тоненькие деревца,
Что не имеют своего лица,
Красно-коричневые же равнины
Бросают небу вызов петушинный;
Здесь вереск фиолетовый багрян,
А красных фруктов – целый океан.
В полях здесь созревает кукуруза,
Что жёлтых зёрен не боится груза.
Пусть мы у Индии всю берём
То специи, то амбру с янтарём,
Сии дубы везут их к нам оттуда,
Из коих состоит флотилий чудо.
И с самого Олимпа вряд ли вид
Был благороднее того, что зрит
Паломник с этих гор, где боги тоже
Живут себе, их достоянья множа:
Вот Пан со стадом, вот в своём венке
Памона, вот и Флора налегке,
А там Церере машет знай рукою
Жнец за своей работой полевою.
Здесь индустрии начали цвести

При Стюартах, здесь роскошь во плоти.
Нет, раньше здесь всё по-другому было:
Стояло беззаконье у кормила,
И дикими те были короли,
Кто к нам из недр Нормандии пришёл⁸.
Они себя владельцами назвали
Пустых лесов, открытых всем вначале;
Были пусты и города, ведь люд
Бежал в пещеры, устранившись пут,
Но кто свободен, если даже звери
Тиранов опасались в равной мере?
Дожди напрасно нянчили зерно
И солнце грело зря его, оно
Неубранным так в поле и осталось,
И щёк пастушьих поражала впалость.
Закон был одинаково жесток,
Был человек убит или зверёк,
Тираны же охотились средь свиты,
Но звери-то хотя бы были сыты.
Охотником великим был Нимрод⁹,
Но человека почитал за скот;
Такими же здесь были и Норманны:
Равны им зверьи и людские раны.
Без пастухов остались здесь поля,
Без храмов – боги, люди – без жилья:

8 Здесь и ниже Поуп излагает популярную, но важную для него версию норманнского завоевания, в частности отношение норманнских королей к природным богатствам, когда все леса были названы охотничьими угодьями Вильгельма I Завоевателя (1027/28–1087; король Англии с 1066), главной страстью которого в жизни была охота. Заслуживает беглого внимания и тот факт, что многие члены его семьи и потомки нашли свою смерть именно в Виндзорских лесах (Нью-Форесте), что многие мистически настроенные комментаторы считают мстью за создание в них королевского заповедника. Что касается «беззакония», то оно проявилось и в том, что все охотничьи законы Нормандии начали действовать и в Англии, поглощая всё новые лесные территории, прежде открытые для всех, и превращая их исключительно в королевские, а само слово «лес» стало не географическим, а юридическим термином.

9 О Нимроде, царе Вавилона, сказано в «Библии» (Быт. 10: 9), что «он был сильный зверолов перед Господом», но ничего не говорится о его отношении к людям, хотя многие её комментаторы указывают, что он был тираном. У христиан он считался строителем Вавилонской башни и прообразом антихриста.

Все города позаросли бурьяном,
А храмы были сбиты ветром рьяным;
Средь рухнувших колонн, куда ни глянь,
Бродит одна, потом другая лань;
В руинах древних промышляют лисы,
Пока закат спускает вниз кулисы.
Поддержан знатю, проклят миром всем,
Тиран на всё, что мог, надел ярем;
Над церковью глумясь и над народом,
Он был здесь, так сказать, вторым Нимродом.
Хоть пощадили их и сакс, и дан,
Травил зверей он меньше, чем крестьян.
Но тот, кто лес себе загрёб свирепо,
Остался даже без простого склепа!¹⁰
Его надежда, Ричард, тоже лёг
В лесах синих, как скорбный мотылёк¹¹,
А Руфус здесь же был потом подстрелен,
Как будто бы елень, что топчет зелень.
Монархи, что вослед за ними шли,
Вдруг осознали ценность сей земли,
И вновь в горах стада кормиться стали,
А урожай расти по вертикали,
Леса внезапным вверились плодам,
А пастухи опять запели там.
В Британии вновь расцвела Свобода:
Богиня наша краше год от года!
Эй, пастухи! покамест юность в вас
Бесстыдно бродит, выберите час
От стад отвлечься, и бегите скопом

10 Поуп здесь намекает на сразу несколько вещей. Во-первых, Вильгельм I и Вильгельм III Оранский, которого Поуп ненавидел, оба умерли в результате падения с лошади. Во-вторых, Вильгельм I в результате остался без могилы, т. к. его тело эксгумировали в 1522 г. и перенесли их в храм во Франции, разграбленный гугенотами в 1562 г., вскрывшими гробницу и уничтожившими останки; удалось найти лишь одну берцовую кость, которую захоронили в 1642 г.

11 Второй сын Вильгельма I, Ричард Нормандский (1054–1069 или 1075), погиб от несчастного случая в Нью-Форесте, а его младший брат Руфус, т. е. Вильгельм II (1056/1060–1100), и племянник Ричард тоже погибли в Нью-Форесте двадцать с чем-то лет спустя, о чём Поуп пишет ниже.

По не протоптанным стадами тропам!
Когда Сентябрь приходит, шалопут,
А куропатки с пажитей живут,
Тогда в поля вбегают спаниели,
Дыша прерывисто, в предчувствие цели,
И ветра ждут, что выдаёт её,
Чтобы вскочить, и нюхают жнивьё,
И гонят дичь, пока та не взлетела,
И тут охотник довершает дело.
Так (если малое сравнить с большим)
Живёт и Альбион: сначала им
Сыны его на битву посылались,
Потом (чтобы продолжить мой анализ)
Они какой-то брали гордый град,
И стяг британский довершал парад¹².
Смотрите! вот фазан взлетел с опушки,
Убить его достаточно хлопучки,
Но выстрел сделан! Он лежит в крови.
Попробуй-ка, причины назови,
Зачем ему пурпурное обличье
И тулово, сплошь золотое, птичье,
И этот иссиня-зелёный хвост,
Когда он чуть-то и взлетел с борозд?
Когда Арктур восходит Волопаса,
Поля пустеют и лесная масса,
Мы ж с биглями идём на русака
Охотиться, ибо зима близка.
(Звери, как люди, лишь себе подобных
Преследуют, учась у нравов злобных.)
Когда ж леса посеребрят мороз,
С ружьём идёт охотник, с ним – барбос,
Туда, где сотнями сидят голубки
С вальдшнепами на лесовой порубке,
Он целится, и очень краткий гром
Вдруг раздаётся, всё будя кругом;

Иль чибисы, едва взлетев с болота,
Встречают смерть в течение полёта;
Иль жаворонки с неба грянут вдруг
На землю, в нём оставив свой испуг.
Когда ж весна приходит, и поляны
Ветрами дышат, что им так желанны,
С удилищем своим стоит рыбак
Возле воды, в неё вперяя зрак,
Не дёрнулся ли поплавок на глади
Её, но тот застыл к его досаде.
А, между тем, здесь много карасей
С пыльцой золотой вдоль середины всей,
Угри к нам забредают часто в гости,
Ещё форели – в крапинках, как кости,
И жёлтый карп, и щуки, чьих зубов
Боятся все, и даже рыболов.
Созвездье Рака уж совпало с Фебом¹³,
И молодёжь спит под открытым небом,
А, пробудившись, травит рогачей
Борзыми, бег не остановишь чей.
И вот уже рысак ваш бьёт копытом,
Бежать желая полем духовитым;
Он холм осилил и лесоповал,
А, кажется, что и не начинал!
Смотрите! молодёжь мчит вверх по склону
Через кустарники в лесную зону,
Привстав в седле и наклонясь вперёд,
А конь от скорости мундштук грызёт.
Аркадия¹⁴ вновь во цвету отныне,
Везде следы безмужницы-богини¹⁵,
А также – лучшей из всех королев,

13 Солнце (Феб) находится в созвездии Близнецов с 21 мая по 22 июня и вступает в созвездие Рака в момент летнего солнцестояния, 22 июня.

14 Утопический идеал, названный так по области в Древней Греции, означающей гармонию человека и природы.

15 Девственная богиня-охотница Диана (Артемиды).

Кто, как она, сей бережёт засе¹⁶.
Радуйся, Виндзор! знаешь ты обеих,
Они в твоих пусть вечно ходят феях!
Свой Кинф¹⁷ Диана, песни так поют,
Сменила на Виндзор, поселившись тут,
Здесь девственные спутницы Дианы
Опустошают и свои колчаны,
И по росистым носятся лугам,
Пока не начинался птичий гам.
Их много, нимф, хотя во время оно
Прославилась одна из них – Лодона:
(Судьба её осталась бы темна,
Но Муза воскрешает имена)
Диану отличал от нимфы этой
Месяц во лбу, поэтами воспетый;
У той был поясом охвачен стан,
А лик был бело-розов без румян,
В колчане расписном теснились стрелы,
Коиx елень страшился порыжелый.
Она однажды за предел полян,
Гонясь за зверем, вырвалась, и Пан
Узрел её и так проникся страстью,
Что гнаться стал за ней, к её несчастью.
Как горлица летит прочь от орла,
На оба налегаючи крыла,
И как крепчает лишь полёт орлиный,
Когда он жертву видит над равниной,
Так прочь бежала нимфа от того,
Кто был быстрее, он всё же – божество;
Все силы поистратила бедняжка,
А Пан всё ближе, сзади дышит тяжело,
Покамест тень его не слилась с ней,
(А тени на закате лишь длинней)

16 Имеется в виду Анна Стюарт (1665–1714), королева Англии, Шотландии и Ирландии с 1702 г., очень любившая охоту.

17 Диана, согласно мифологии, родилась на горе Кинф, что на о-ве Делос. Отсюда её эпитет Кинфия или Синтия; см. ниже.

И не приблизилось его дыханье
Вплотную к шее, ей глаза туманя.
Напрасно нимфа молит Темзу-мать
Помочь ей – некому здесь помогать;
Взмолилась нимфа тут к самой Диане:
«О, Кинфия! Мы все – однополяне,
Дай мне вернуться под родную сень
Твоих лесов, холмов и деревень!»
Слезам Диана оказала милость,
И нимфа в речку тотчас превратилась,
Которая её девичий стыд
В воде холодной до сих пор хранит
И носит имя бедственной Лодоны¹⁸,
Деревни омывая, лес и склоны.
Диана нежится в её струях,
О нимфе плача, но всегда впотьмах;
В её стекле пастух зрит отраженье
Соседних гор и игры светотени,
А также мокрые верхи дерев,
Что в ней дробятся, вдруг заголубев
На плоскости её волнистых линий,
Зелёную смешавши краску с синей.
Но вдруг он вспенился и приналёг,
Великой Темзы небольшой приток¹⁹.
О, мать британских рек! Ты горделиво
Леса осматриваешь в час прилива,
Где и сосна стоит, и дуб растёт,
Чтоб обеспечить древесиной флот.
Ты дань Нептуну платишь постоянно,
Хоть он в ответ не жалует ни грана,
Но краше берегов не знает взор
Ни у морей, ни у больших озёр,
Ни даже у течения Эридана,

18 Примеч. Поупа: «Река Лоддон». Она один из 38 притоков реки Темзы.

19 Скорее всего Поуп придумал свой миф, ориентируясь на миф у Овидия в «Метаморфозах» (кн. I, ст. 702), где действие происходит на берегах реки Ладон и где Пан домогался наяды Сиринги, превращённой в тростниковую продольную свирель, так называемую флейту Пана.

Что был предметом оды и пеана²⁰,
Чем у тебя, где для земных богов
Построен не один роскошный кров.
Созвездья в небе не настолько яркие,
Сколь блещут здесь твоих лесов дикарки,
Юпитер же, сбегавши от семьи,
Олимп сменил свой на холмы твои.
Счастлив тот смертный, кто возлюблен лесом
И со страной совпал по интересам,
Кто смог в его уединиться сень,
Кто любит лиры ощутить трень-брень,
Кто дни проводит дома, не скучая,
За книгами и ценит чашку чая,
Заваренного на одной из трав
Лесных, – он духом твёрд и телом здрав.
Он химией извлечь умеет соли
И запах трав воспроизвест в неволе;
Следит он за расположеньем звёзд,
Чтоб знать, когда начнётся косохлёт;
У древних книг он учится мышлению,
Пока мир мыслит всякой дребеденью;
Гуляя по лесу, рутину читит
Философов и даже nereid;
Он ценит золотую середину,
Чтоб цели выбирать себе по чину;
Он трезвым взглядом озирает высь,
Надеясь, что душе туда нестись,
Что будет чувствовать себя как дома
Она лишь там, где всё нам незнакомо!
Вот жизнь, которую вёл Сципион

20 В античной географии река Эридан впадала в великий Океан. Многие ассоциировали её с итальянской рекой Пад (По); её воспели в частности Вергилий в «Георгиках» как «царя всех рек» (I, ст. 482) и в след. строках: «И Эридан, чьи рога золотые над бычьей личиной / Блещут – река ни одна по землям, возделанным пышно, / С мощью такой не течёт, устремляясь к пурпурному морю» (IV, ст. 371-373), а также Овидий в «Метаморфозах» (I, ст. 702) как «берег зелёный реки Эридана» (все пер. С. Шервинского).

И Аттик, Трамбулл же нам шлёт поклон²¹.
 О, девять Муз! лишь к вам душа несётся,
 Чтобы испить из вашего колодца,
 Перенесите ум мой в те места,
 Где зелень древ тениста и проста;
 Где Темзы берег охлаждаем бризом,
 Где Куперс-хилл²² является сюрпризом
 (Его должны бы украшать венки
 За то, что встал он прямо у реки),
 Чтоб мог пройтись я по зелёным склонам
 И слышать музыку и быть влюблённым,
 Как Денэм некогда, прекрасный бард,
 Его воспевший так, что жив азарт²³;
 Здесь рифмы кончились в разгаре лета
 У Каули, великого поэта²⁴.
 Скажи мне, Темза, сколько горьких слёз
 Ты пролила, зря траурный обоз²⁵
 Но стихли ноты лебедей учтивых,
 А Музы стали жить в плакучих ивах²⁶.
 Милорд, ваш долг (и непременно ваш)

21 После победы над Ганнибалом Сципион Африканский (235 г. до н. э.–183 г. до н. э.) отказался от всех политических должностей, которые ему предлагались. Когда годы спустя его привлекли к суду за взятку от покойного короля Селевкидов Антиоха III (185 г. до н. э.), он напомнил о своих прошлых заслугах, после чего удалился в своё загородное имение Литернум в Кампании и никогда больше в Рим не возвращался. Тит Помпоний Аттик (ок. 110 г. до н. э.–32 г. до н. э.) был ближайшим другом Цицерона (от их переписки сохранилось более 200 писем) и известным эпикурейцем; он отказался участвовать в любых политических интригах и переехал из Рима в Афины, посвятив жизнь чтению и писательству; его прозвали Аттиком за длительное проживание в Греции. Уильям Трамбулл (1639–1716) был старшим другом Поупа в юности, ему Поуп посвятил свою первую Пастораль «Весна»; он был известнейшим политиком, добровольно ушедшим в отставку после целого ряда самых высоких должностей.

22 Очень пологий холм в графстве Суррей, приблизительно в 20 км от Лондона.

23 Сэр Джон Денэм (1614/1615–1669) – англо-ирландский поэт и придворный, написавший об этом холме знаменитое английское стихотворение «Куперс-хилл» (1642). Его дом в Эгэме возле Виндзора был конфискован по приказу Кромвеля в 1643 г. за участие в Гражданской войне на стороне Карла I.

24 Абрахам Каули (1618–1667) умер 28 июля в Суррее.

25 Примеч. Поупа: «Г-н Каули умер в Чертси, что граничит с Виндзорским лесом, и именно оттуда его тело было перевезено по Темзе в Вестминстерское аббатство».

26 Каули попробовал себя в очень многих жанрах, а в его надгробной эпитафии, написанной на латыни, говорится, что «здесь лежит английский Пиндар, Флакк и Марон».

Вернуть нам Муз сюда, в лесной шалаш,
Дабы они всё заново воспели
И взяли камертоном птичьи трели.
Прославьте Виндзор в рифмах, чтоб он смог
Потомству предъявить хоть сотню строк;
Чтоб не считалась наша быль за сказки,
Почтить вас надо орденом Подвязки²⁷.
Здесь благороднейший впадал Суррей²⁸
В гнев, кто Грэнвиллом был прошедших дней:
Непревзойдён он был в стихах, в турнирах
И в танцах (хоть Грэнвилл писал о Мирах²⁹);
Здесь, в этих лабиринтах Купидон
Настраивал его кифары тон:
Он Джеральдину³⁰, главную зазнобу,
Здесь пел, забыв про ревность и про злобу.
А сколько здесь родилось королей
И умерло! – поди запечатлей!³¹
А сколько ратоборцев! – их останки
Оплакивают горько лишь пейзажки!
Здесь фресками расписан потолок
О славе Эдуарда (он поблёл
И обвалились Веррио³² фигуры):

27 Благороднейший орден Подвязки был учреждён Эдуардом III (1312–1377; правил Англией реально с 1330 г.), прозванным Виндзорским, в Виндзорском замке в 1347/48 г., который он специально восстановил, чтобы те, кто был его удостоен, могли там встречаться за круглым столом. По уставу ордена, число его рыцарей не должно превышать 24 человек, не считая короля, принца Уэльского и иностранных монархов.

28 Примеч. Поупа: «Генри Говард, граф Суррей <ок. 1517–1547>, один из подлинных реформаторов английского стиха, расцветший в царствование Генриха VIII». Был, в частности, первым, кто придумал форму английского сонета с заключительной «двустихием-кодой», разработанную впоследствии Шекспиром. Был казнён по приказу Генриха VIII за несколько дней до смерти самого короля.

29 В своих собственных любовных стихах Грэнвилл называл именем Миры сначала Марию Моденскую (1658–1718), королеву Англии при Якове II, а потом свою любовницу леди Френсис Бруденалл, графиню Ньюбург (ок. 1677–1735/36).

30 Леди Элизабет Фитцджеральд (ок. 1528–1589), подруга Елизаветы I, была младшей дочерью графа Килдэр, лорда-наместника Ирландии, ведущей фигуры в её истории XVI в. Считается, что любовные стихи Суррея были адресованы именно ей, хотя она и была замужем.

31 Эдуард III (1312) и Генрих VI (1421) были рождены в Виндзоре, а Эдуард IV, Генрих VIII и Карл I были в нём похоронены.

32 Антонио Веррио (1639–1707) расписал потолок зала Св. Георга в Виндзорском замке,

Бредёт в цепях король французов хмурый³³,
А лилии там топчет леопарда³⁴.
По мне, так вы должны, английский бард,
Воспеть, коль Франция опять в Европе
Восстанет, мощь и гнев британских копий.
Здесь бедный Генрих похоронен, пусть
Вайи небес его исцелят грусть³⁵,
Пока ж сей мученик, коль мерить ярдом,
Спит рядом со зловещим Эдуардом.
Разросшийся аж до краёв земли,
Наш остров Альбион, мольбе внемли:
Пусть прах смешают оба – угнетённый
И угнетатель – под одной короной!
Хоть место то, где похоронен Карл,
Британец и без надписи смекал³⁶,
Сделай его известным! ибо раны,
Что вынес ты, действительно пространны!³⁷
Мы зрели всё: и пурпурный конец,
И храмов срам, и как жесток подлец³⁸,
И войн внутриутробных результаты,

изобразив триумфальную процессию, где первый сын Эдуарда III и наследник престола Эдуард Вудсток, называвшийся всеми Чёрным принцем (1330–1376), ведёт пленённого им Иоанна II Доброго.

33 Король Франции Иоанн II Добрый (Жан де Бон) (1319–1364) был разбит и взят в плен Чёрным принцем в битве при Пуатье в 1356 г.

34 В 1340 г. Эдуард III принял титул короля Франции и стал изображать на знамёнах французские лилии рядом с английским леопардом.

35 Генрих VI (1421–1471) – последний англ. король из династии Ланкастеров (с 1422 по 1461 и с 1470 по 1471 гг.), был единственным королём, кто действительно правил значительной частью Франции и был там коронован (1431) после Столетней войны; он развязал Войну Алой и Белой розы (1455–1485), вследствие чего был взят в плен и заключен в Тауэр, где и умер, согласно хронике, того времени, «от меланхолии». Его тело перенесли в Виндзор и похоронили недалеко от похороненного там же позднее Эдуарда IV, его главного противника из дома Йорков, умершего в 1483 г.

36 Тело Карла I (1600–1649) было захоронено без всяких почестей в часовне Св. Георга в той же могиле, где покоится Генрих VIII (1491–1547).

37 Поуп подразумевает то, что после казни Карла I на Англию обрушился целый ряд бед: эпидемия чумы (1665), великий пожар (1666) и так наз. Славная революция (1688), в результате которой король Яков II был свергнут Вильгельмом III Оранским, которого Поуп не выносил. Всё это, считает он, произошло в качестве возмездия за казнь короля.

38 Оливер Кромвель (1599–1658) – победитель в Гражданской войне, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии; после пышных похорон его тело было эксгумировано и посмертно предано казни за цареубийство, а голова выставлена на шесте возле Вестминстерского дворца.

И шрамы битв, что навсегда трекляты.
Но Анна³⁹ на престол взошла – и тут
Мир воцарился после долгих смут!
И в сей благословенный миг привстала
Темза на ложе, где лилась устало,
И выплеснула на́ берег богов
Своих рогатых⁴⁰ золотить покров,
Луна же придержала чуть отливы,
Чтоб виды Темзы стали вновь красивы,
И в золоте Августа⁴¹ поднялась,
Забыв недавние вражду и грязь.
Взбодрила Темза, помня сей оазис,
Свои притоки: бурный Тейм и Айзис⁴²,
И Кеннет, преисполненный угрей,
И Лоддон, что не может течь быстрее,
И Коул с островами у верховья,
И ток Уэй, как молоко коровье,
И Чаруэлл, чей столь велик размах,
И Ли, затерянную в камышах,
И Моул, что на вид жёлто-шафранов⁴³,
И Дарент, полный кровью диких данов⁴⁴.
И тут из Темзы пополневших вод
Богиня синеглазая встаёт,
Глядя на Виндзор и на замка башни,
И вдруг заводит разговор домашний:

39 Королева Анна Стюарт (1665–1714) царствовала с 1702 г. после смерти Вильгельма III Оранского; при ней Англия и Шотландия объединились в одно государство. Бездетная, несмотря на 17 беременностей, она была последней в династии Стюартов.

40 Примеч. Поупа: «Речных богов часто изображали либо с бычьими головами, либо с их же рогами, чтобы обозначить этим их мощь и влияние на сельское хозяйство».

41 Имя, которым римляне одно время называли город Лондон.

42 Римляне, как и до них, считали, что река Тамезис (Темза) является притоком Тейма и Айзис. В нижеследующем каталоге притоков Темзы Поуп следует примеру римского поэта Авсония (ок. 310–394) и его знаменитой поэме «Мозелла».

43 Приток Моул полон песком и глиной, поднятой со дна.

44 Кровопролитная битва англичан с викингами-данами при Ассандуне в Сассексе в 1016 г., которая закончилась победой данов (другие считают, что англичан), после которой, однако, датский конунг Кнуд Великий (994/995–1035) и Эдмунд Железнобокий (ок. 990–1016) подписали мирный договор, вследствие которого Англия была разделена на Уэссекс и остальные территории, оставшиеся за данами.

«Да будет славен мир!⁴⁵ Мы этих дней
Уж заждались! Да будет ток сильней!
Пусть Тибр и омывает Рим, а дерма
Стволов прочна на побережьях Герма⁴⁶,
Пусть омывает семикратно Нил⁴⁷
Сто разных царств и славу заслужил,
Но их никто уж не поёт! Пусть долго
Воюет Рейн, пускай оружием Волга
Щегинится⁴⁸, и пусть Аурангзеб⁴⁹
Почил на Ганге после непотреб,
Я мир хвалю, чтоб дети Альбиона
Не умирали по велению трона
На склонах Эбро или где Дунай⁵⁰
Струится, – Англия – безбурный край!
На берегах моих все овцепасы
Защищены, им не страшны кирасы,
Империя моя из тёмных крон,
Нет, никому не принесёт урон;
Фанфары битв охотничьей валторной
Сменились в местности лесной и горной,
А вилла – там вон! – тень бросает на
Поверхность вод, хрустальна чья волна.
Смотрите! Вон видны Августы шшили,
Теперь в ней новых храмов – изобилье!⁵¹
И Лондон, и Вестминстер – всяк расцвёл,

45 Подразумевается Утрехтский мир 1713 г. в окончание Войны за испанское наследство между, в частности, Англией и Францией.

46 Герм – река в Малой Азии (теперь называется по-турецки Гедиз), упомянутая в «Илиаде» Гомера (песнь XX, ст. 392) как «быстропучинный Герм» (пер. В. Жуковского).

47 У Нила семь притоков, так или иначе, по названиям, связанных с цветов воды.

48 Имеется в виду война России со шведским королём Карлом XII.

49 Падишах Империи Великих Моголов (1618–1707), при котором она достигла невероятных масштабов (1658–1707), а – после многочисленных войн и восстаний, включая его собственного сына, и смерти Аурангзеба – распалась на части. По-персидски, его имя означает «украшение трона».

50 Имеется в виду военная кампания Англии и её союзников в Испании в 1710 г. и взятие тогда же Сарагосы, расположенной на берегу реки Эбро, а также победа герцога Мальборо (которого Поуп не любил) и принца Евгения Савойского над франко-баварскими войсками в битве при Бленхейме в 1704 г., расположенном на берегу Дуная.

51 Примеч. Поупа: «В Лондоне было построено пятьдесят новых церквей».

Пора уж воскресить и Уайтхолл!⁵²
Решаться будет там дальнейший жребий
Всемощных наций, что сокрыт на небе;
Там склонятся земные короли
Пред нашей Анной до самой земли.
Деревья Виндзора! будьте готовы
Покинуть навсегда свой лес мачтóвый
И по воде отправиться туда,
Где в вас для всей Британии нужда,
Чтоб крест её нести в другие страны
По морю холодному, чьи ураганы
И штили всем известны, а огни
Стоят над полюсом там искони;
Иль к Южным небесам направьте парус,
Откуда ладан к нам везут, стеклярус
И специи, а также янтари
С рубинами, и – кóлера зари –
Кораллы, где так жарил Феб когда-то
Почву, что та вся обратилась в золото.
Наступит время, когда целый мир
Темзу воспримет за ориентир,
Когда включится Новый Свет в исканье
Связей со Старым, а островитяне,
Все в перьях, на пирогах поплывут
Сюда, чтоб наш скопировать уют,
Придя в восторг от нашего прононса
И цвета глаз исконного бретонца!
Прострись, прекрасный мир! и будь таков,
Чтоб кончились захват и ввоз рабов,
Чтобы индеец мирно жил в вигваме,
За жён расплачиваясь соболями⁵³,

52 Дворец Уайтхолл был главной резиденцией английских королей до того, как он сгорел в пожаре 1698 г., уцелел только банкетный зал, построенный Иниго Джонсом; все попытки, предпринятые с целью его восстановления, ничем не закончились.

53 Имеется в виду испанская колонизация Америки с 1492 г. (после открытий Колумба) по конец XIX в. К XVII в. в Америку переехали из Испании около 200 тысяч человек, что привело к массовой работорговле и вымиранию индейцев от инфекционных заболеваний, а также почти

Чтоб в Мексике быть злату и серебру,
А инки вновь прославили Перу.
Дискордию изгнал с небес Юпитер⁵⁴,
Чтоб в Тартаре ей всяк бока повытер,
Пусть там примкнут к ней Ужасы и Боль
С Амбициями, что мрачат юдоль;
Там Мечь лишь мечется напрасно, ибо
Туп меч её, там Зависть от прогиба
Своих же собственных страдает змей,
У Травли же колёс там нет осей,
Там Фракции томятся и Восстанья,
А Фурии – без средств для пропитанья.»
Заканчивайся, песнь! Довольно, стой!
На Альбион пришёл век золотой;
Пусть речь богов подхватит стих Грэнвилла,
Чья будущее видит всё сивилла.
Я ж ретируюсь, Музу упросив
Закончить свой безудержный мотив.
О Муза, ты уже и так успела
Спеть про леса и гущи чистотела,
Теперь здесь мир, и хоть здесь нет оливо,
Их ветвь простёрта над простором ниво.
А дни мои, как будто мёд, тягучи
И сладостны, пока не вышли тучи;
Я первым был, кто спел для пастухов,
Пора и мне отвлечься от стихов.

полному разрушению их культурных устоев.

54 Римская богиня Вражды и Раздора (греческий аналог – богиня Эрида).



КОГДА СМОТРИШЬ НА ДОМ СКВОЗЬ ВЕТКИ, НЕ ВСЕГДА
РАЗЛИЧАЕШЬ, ГДЕ ОН, ГДЕ ДЕРЕВО¹

Встречи с городами

МАССА ПОКОЯ (Прага)

Золото спокойно, в реакции не торопится. Устойчивая зубчатость зданий-комодов эклектики для хранения жильцов и их гардероба. Надежные фронтоны и башенки. Музами и золотом по решеткам балконов. У золотой шуки, у серебряной шуки. У золотого гада. У золотой чаши. У золотой подковы. У золотой лилии. У золотого колодца. У белого единорога. У трех мушкетеров – хотя на углу дома все равно стандартный рыцарь с копьём. Рукопожатие попало в венок.

Девушка блестит локтями и коленями у входа в кофейню. Ступени к воде, по которым порой поднимается вода, порой русалки, одетые в траву. Змеи целуются над номером дома. Остроголовые поганки танцуют на улице.

¹ Названием послужила цитата из не включенного в подборку эссе о Барселоне, уже ранее публиковавшегося. Редакция, подумав, решила, что данные тексты соответствуют теме номера, поскольку это впечатления автора от его реальных поездок по городам, хотя он и отстраняется от субъекта повествования, избегая личных местоимений. (Ред).

Лиса несет в зубах розу. Бездонен книжный колодец. Никого не обманет нарисованный граненый камень. Птица распростертым цветом перьев над входом. Над другим – только руками развести.

Слишком много плодов на рельефах. Спокойствие вспоминает о еде. На гербах вареный рак, три усатых карпа, три гусиные головы или птица на блюде. Кентавры везут колесницу Диониса. Но здесь место пива, от него вакханки не пляшут. Святому Георгию лень рубить голову дракону, так и стоит на чешуйчатой спине в вечном замахе. Нептуну тоже спокойно в городе, далеком от моря – не надо ни за чем присматривать в своих владениях, он тут в отпуске. Десятки голов – только выступы из стены. Слишком тяжела корзина с плодами – не удержать двоим, раскачиваясь взглядом сквозь веера балконных решеток.

Дом разделился, чтобы танцевать, и в нем танцуют волны реки. Покой, бесконечно разнообразный в отличиях от себя. Масса покоя – то, что переходит в энергию движения. Афродита выходит из раковины и поднимает парус, собираясь куда-то плыть. Меркурий с жезлом примостился на верхушке фасада – ничего, у него крылатые сандалии, не разобьется. А девушкам над окном и сандалии не нужны – они и так легкие. Кариатида читает. Лев запутался в собственных лапах. Из волн металла появляются лицо и ладони. Где-то остаются стоять в закругленном спокойствии кривых, где-то обзаваются углами танца.

Начальники, что гражданские, что церковные, за рекой в своем тумане. От них тяжелые арки моста. Рыцарь далеко внизу, и никого остановить на мосту не может, а святые с пропеллерами над головами и не пытаются, стоят по сторонам. С порталов убежали скульптуры, остались только балдахины и подножья. Город влезает на свои утесы, дальше, где из земли торчат три каменных пальца, где крыша церкви двумя волнами втекает в небо.

Продымленная тысячей пожаров башня ворот. Попытка спокойствия посреди. Усталость от всех, кто захватывал. Из стекла магазинов выпадает то ли дирижабль, то ли бомба. Короли в обмотках солдат Первой мировой. На рельефах каски и противогазы. Покой помнит. Свиток раскручивается по фасаду. Может быть, устойчивость возникает и из несводимого? Кафка, Майринк и Гашек жили в одном городе в одно время, но не только не встретились – и не могли, слишком разные пространства. Дети уселись на крыше на птеродактилей и лабиринтодонт. Одну сторону моста охраняют трехголовые зми, другую – девушка с факелами. Совы слетаются на

спокойствие, прячут лица за цветами.

Плиты на кладбище опираются друг на друга, легли отдохнуть на траву, толпятся и обсуждают свежие новости. Спокойно впускают вновь прибывших – потеснимся, места на всех хватит. Выше золотого солнца орел, но грифы, сторбившись, сидят на крышах и ждут своего часа. Идолы между ногами склонивших головы усатых богатырей. Часы синагог идут назад. Львиная шкура не помогает Гераклу держать балкон. Раковина вцепилась лапами в карниз. Тело от усилия трескается на кусочки.

Спокойствие заряжено беспокойствием. Атлант на углу крыши держит только глыбу камня – и будет очень рад бросить ее вниз. А две девушки скинут с фасада гостиницы стеклянную бочку – звон будет на весь город. Но они пока ждут. За спиной очень католической святой обнаженная девушка с гирляндой цветов в руках прислушивается к скрипачу. Из-под плаща барышни на фасаде вырывается обнаженный демон. Старик подрывает корни дерева, конь ворует зелень из корзинки заболтавшейся крестьянки. Дерево разбрызгано на двери. Големов продают в музее, за последствия музей не отвечает. Взъерошенные коты у закруглости куполов.

Для нарушителей спокойствия в подвале припрятаны кресло с гвоздями, железный ошейник и топор с плахой. Лозы порой не отличить от когтистых орлиных лап. Чем ближе к небу, тем более дома становятся крепостями, обрастая зубцами и башнями, обороняясь от непредсказуемости воздуха. Клочковатые статуи барокко рядом с жесткими прямыми глухих стен. На крыше у круглой башенки возлежит мрачный бритоголовый тип, опирающийся на еще более мрачную маску. Под ним потолок то ли оранжереи, то ли мастерской художника. Муха, приехав сюда, провалился в занудство масштабных исторических полотен. Но за окнами стекло Судека, тела-пружины Дртикола. Ограда балкона – невесомый росчерк зелеными чернилами.

На углу дома вместо мадонны смотрящаяся в зеркальце модница. Выйдешь на балкон – а над тобой держат гирлянды босоногие танцующие, и не знаешь, куда провалиться, чтобы не оказаться в центре славы. Многие сидят в задумчивости на карнизах, порой притворяясь, что откручивают какую-то гайку. Многие зависли в воздухе – прохожий с зонтиком и чемоданчиком, полупрозрачные блестящие летуны, человек на длинной тонкой балке, святой Вацлав, воевода чешских земель, на дохлом коне. Пока висят – город жив. Атланты стоят с ключами и фонарями.

Спокойствие – естественность. Сова раскинула крылья между девушками над входом, настолько спокойными в своей обнаженности, что для них и не бывает другого состояния, их одежды – лишь чтобы развеяться позади. Опереться на одну ногу и согнуть в колене другую – кому какое дело до поднятой пятки? А высоко над ними зубчатая тонкость листьев на стенах, с которой переплетается апрельская тонкость веток деревьев в воздухе. Но можно и ругаться по сторонам окна, застыв, гневно указывая рукой.

На Златой улочке золото не алхимиков с их носатыми посудинами, а покоя вместе. Кровать да шкаф – что еще нужно? Сушеная трава на стенах, свеча на подоконнике. Дом ненамного выше человеческого роста, ненамного шире раскинутых рук. Алхимия – сверла да напильники, кувшины да чашки. Тут и кинолентку проявлять – темно и тесно. Спокойствие внимания. А печаль рядом, не выше ступенек, спрятавшаяся в своих волосах и коленях. Памятник памяти об опере – пустая мантия без тела внутри. Танцующая пустота, смотрящая провалами глаз на садик и ближний собор. Кафка устроился на плечах пиджака, надетого на пустоту.

Цитадель спокойствия и неизменности – Древний Египет? Египтянка в центре лотоса перекрещивающихся дуг, в окружении рыб. Египтянин и египтянка держат подносы, где живут змеи. Здесь сфинксы не забыли, что они женщины, влетают полосатые ленты в прическу. Золото – и молчание. Можно стать рекой и течь мимо башен Града. На крыше – девушка с якорем, он ей нужен для остановок в полете. Одно окно поддерживают бараны, другое львы. Даже петух ухитряется держать балкон, зацепившись ногами за еле заметный выступ, почти на лету. Летучая мышь не поддерживает – раскидывает крылья над окном, предлагая ему ночь. Огромный провал часов в черно-белой тяжести. Спокойствие – чтобы его нарушил шаг, но шагу нужно на что-то опереться.

Смешивается. Переплетенный металл. Ветки, похожие на хребет змеи. Свитки, похожие на львиную шкуру с лапами. И началось это давно, самая старая синагога похожа на романский собор или небольшой замок, другая от ближайшего готического собора обзавелась шпильями с цветочками. Почему бы не поставить на крышу вместо аллегорической фигуры пожарного со шлангом в руке, вместо рогов изобилия – топоры и кирки? Под балконом бог между Адамом и Евой, мирно собирающими яблоки без всякого змия. Крылатые девушки и юноши слишком вольны для ангелов.

Каменный будитель спокойно сидит между мечущейся бронзы. У одного

чудища из ушей растет виноград, шея другого вытекает из венка. Светофор не для перехода через улицу, а для входа в ее узость. Желтые пингвины идут гуськом над рекой. Всадник руками отталкивается от земли, помогая коню. Орлы столь шерстяные, что бабушка связала бы с них не одну пару носок. Птица спрятала длинную шею под жестким крылом – и выглядывает оттуда. Высоко над ней на верхотуру посадили медведя, и он с опаской поглядывает вниз. Девушка и юноша подают друг другу руки – и так удерживают от падения солнце. Другие в обнаженности могут лететь на крыльях ткани, на ее вихрях, разбрасывая руки.

Дым долгих лет собрался в соборах и башнях. Дома – светлые. На колокольнях толпятся башенки около главной. Готика, чье неспешное строительство дожило до неоготики. До реалистичных химер. Ребра готических потолков переплелись, кто как хочет, – но не падают. Выцветающие фрески на стенах. Ключоголовые рыцари. Гладкие жестяные скаты верхушки башни рядом с пирамидой кокошников с кружевами внутри. Чтобы пригласить девушку на дом, не жаль пожертвовать окном. Тем более, если она с палитрой или циркулем. Павлин выгибает шею поперек окна. Вокруг часов ангел и турок в торбане – точное время дело божье, но и турецкое.

Шлепает водяное колесо, водяной присматривает за ним и курит трубку. На реке наклонные бревна для чаек. По стенам ходят черные слоны и процветает конопля. Святые в окнах разбиваются на чешуйки света. Ствол дерева становится рукой. Над входом печальная змеиноволосая Горгона в окружении львиц, чьи шеи вытянулись как у мозазавров. Гном в зеленом колпаке вылез из пещеры почти в небо со своим фонариком. Сварочный козлик приглашает поужинать. Угол дома раскрылся книгой. Девушка протягивает венок над глазами-цветами. Подсолнухи светят, пока солнце неторопливо встает из волн. Мечтательно лицо небритого короля. Спокойствие таит в себе беспокойствие, питается им – и питает его.

Рыбы в рыжей чешуе обплывают иглы и столбы каменного дыма. Между учеными в папочках – сова с параграфами. Между джентльменом в кепке и леди в шляпке – теннисные ракетки с мячиками. Между витязем в шлеме и дамой в геннине – мечи и щит в цветочках. Между художником с буйным чубом и художницей с лентой и цветком в волосах – бюст и палитра. Между просыпающимися – кувшин с молоком.

Ведьма прячется в листьях около двери. Мальчик играет на дудочке, кошка трется о его бок. Собака смотрит на них, положив голову на лапы. Девушка

смотрится в зеркало, другая идет над совой в полусне ткани. Работники косят цветы и тянут какую-то веревку. Лист спит, стоя на одной ноге. Кто-то спокойно сидит у фонтана, кто-то под деревом, кто-то так же спокойно летит в звездном небе, протягивая ладони к ветвям. Девушка, чуть выступая из стены, вытекая из полос платья, держит ключ. Спокойствие открывает. Придем на мост на рассвете.

БОЛЕЗНЬ (Чергальдо)

На холме, ближе к пустоте неба. Цвет домов один – светло-коричневый, обожженной глины. Таковы же и тарелки, бочки, вазы для цветов. Из глины и плитки мостовых, и почтовые ящики. Болезнь монотонна. Супрематичнее супрематизма – в нем хотя бы менялись краски у фигур. Выразительность жестов углов на фоне неба. Чуть цвета снаружи – только на гербах правителей. Все где-то внутри, болезнь прячется и прячет. И все, что у тебя есть, ей не нужно.

Стена вокруг города, и каждый дом – крепость, врастая в стену. Окна темнее – ставнями и жалюзи. Окна и двери зарастают кирпичом, только следы от арок. В домах ненамного больше отверстий, чем в кувшинах. Глухие крыши-ступени. Что делать, когда ничего сделать нельзя.

Три улицы – немного вариантов пути. И свернуть некуда, ты всюду чужой. Город пуст, пройдешь в длину, никого не встретив. Никого у колодца или за столиками у кафе. О тени можно порезаться. Острая боль различия. Воздух колеблется над снова горячей глиной. Чужая болезнь прозрачна – не уловить. Двойная печаль – от нее и своего бессилия. Не искать смысл, не оправдывать. Быть. Беречь того, кто оказался там, выцарапывать из кирпичных стен ему еще кусочек жизни.

Если болезнь не загородит глаза, из нее может быть далеко видно. Лишнее осталось внизу. Все ворота – в простор. Вдали виноград и оливки, голубые холмы. На горизонте крепкие серые башни одиночества, до них не дойти. Рядом – кипарисы. Нет воды. Болезнь жесткая, растекающийся в лужу даже болеть не умеет, тут таких нет.

Возраст зданий неопределим. Болезнь была всегда. Но это не камень, этого не было. Но затвердело и остается. Черепки нанизаны на стержень кусочками пашлыка. Режущие или спокойные звуки флейты. В глухоту не укрыться от

неба. Чужая болезнь всегда важнее своей. Своя – комната, в которой привык жить. Чужая – отнимающая другого стена. Впрочем, помогая в чужой, от своей уходишь. Автор «Декамерона» отсюда. Рассказы в спасени(и/е) от болезни. Но для последней он сюда вернулся. Порой она пахнет розами, пуста и тиха.

Но целуются девушка и юноша, их общая корона – кораблик. Вспыхивают синие и красные кони вокруг цветка. И рубашка сохнет на стене, взмахивая рукавами. Молчание подходит к болезни – кто в ней, и так делает что может, ему не надо напоминать. Только самому помнить.

ПОД ЗАЩИТОЙ (Верона)

Зелень у человека только на своем балконе, и то во дворе. Личная, как белье на веревках. Даже церкви прячут ее во дворах. Только река течет и не боится живых ветвей на своих берегах. И древнеримские развалины холмом с бегущими лестницами, с деревьями на совсем другом берегу: у них перспектива времени, с которой город – лишь немного из возможного.

По краям врат со сценами жизни Христа чешуйчатые птицы хватают друг друга за шеи. Полосы колокольни – как жалюзи во всю высоту. Но они никогда не откроются, не впустят ни свет, ни воздух. Статуе на крыше привязали веревки к поясу – чтобы не убежала. Голову съест грифон, ногу лев. Замурованы древнеримские окна. Ворота застряли между домов. Катулл отсюда ушел. Ласточки окаменели, воткнувшись в стены. В этих стенах семейства подсунули Джульетте и Ромео чужие жизни, чужую вражду.

Может быть, сами по себе влюбленные бы разругались через месяц – или через два у них закончились бы деньги. Могли и убить друг друга от ревности. Но могло быть и иначе. Часто ли дает семья хотя бы попытку повзрослеть? Даже когда человек вырастает и вроде бы принимает ответственность, он ее принимает по не им выбранным правилам и поэтому не слишком готов отвечать. Семья порождает индивидуальность – но она же ее может убить. Передает накопленные богатство и опыт, без которых ничего не сделать – и с которыми слишком часто тоже ничего не сделать, кроме все того же самого. Дурная бесконечность воспроизведения все того же, когда все жертвуют будущему и никто не живет сейчас. Семье до всего есть дело, она не может не вмешиваться. Порой втягивая в окостеневшее безумие, делая

ответственным и за него. Семья кормит и одевает, но человек все менее лишь тот, кто накормлен и одет. Да, ближние помощь и защита, но цена этого иногда оказывается такова, что от защищенной жизни ничего не останется. Само выражение «под защитой» предполагает что-то, основательно давящее.

Мелкая серая рябь по рыжим кирпичам. Персонификация головной боли – святой с режущим голову громадным ножом. Кит с ногами, крыльями и длинным змеящимся хвостом глотает Иону. Над городом мертвые в полном вооружении на высоте колючих гробниц за колючими решетками. Оно и власти удобнее, когда за подданными присматривает кто-то с совсем близкого, семейного, расстояния. Посреди торжественной фрески белый конский зад. Персонажи застряли в неподвижности сна. Веронал изобрели тоже тут. Церкви расплющены собственными горизонтальными полосами.

Перемешаны в стене римские квадраты, средневековые кирпичи и валуны ледникового периода. Под отломившейся штукатуркой с идущим оказывается плывущий. В сухопутном городе дельфины окружили огромный морской якорь. Бог извлекает Еву из ребра, но, похоже, что он опоясан змеей. По бокам хвостатые звезды-странницы. Не пустая ни с кем не желающая согласовываться свобода, не смена семейных стереотипов на другие, религиозные или контркультурные. Возможность иного. Семье стать выбранной, рожденной второй раз. Отпустить друг друга в самостоятельный путь под дождем через город, падать, ломать углы – только тот, кто может уйти, возвращается прочно. Стать со-обществом (со- и в сознательном выборе). Близость по выбору прочнее.

Крышу держат улыбающиеся, скрестившие ноги от удивления. Колонны могут свернуться винтом, завязаться узлом, но все равно будут расти вверх. Бес, размахивая руками, улетает изо рта исцелившейся. Сломанный двуглавый орел валяется под задом памятника. Ангел не ленится подметать карниз большой шваброй, и крылья ему только помогают. На башне ратуши часы, чтобы жить во времени, а не в вечности, и зубцы, чтобы в случае чего отстреляться.

ВЫЙДЯ В ГОРУ ЧТО ВЫШЛА ИЗ ГОР (Монтсеррат)

Вышла на юг – погреться, посмотреть на рощи оливок и пробковых дубов, рассыпанные корбочки городов, блеск моря вдали. Гора порой оглядывается

на снег тех, от кого ушла. Но ее вершина – туман, неясность, а не холодный свет. С юга приходят люди – она разрешает их неясности подняться. Дает возможность пути выше и выше – и возможность выбора этого пути. Ей интересно, кто куда пойдет – и где остановится. Крепость, где нет ворот – вместо них вертикальность и высота.

Возможность оказаться в полете – в воздухе, в ветре. Возможность удивления открывшимся высоте, пространству, фигурам – но только ли им? Возможность отстранения и масштаба – насколько мало оставшееся внизу. (А кто близок тебе – не мал, с человеком можно пойти вместе, вот он или она стоит тут, становясь больше от наполняющего вас пространства.)

Еще гора развлекается, создавая формы. Слона, обнимающуюся пару, перья, повисшую над пропастью задницу. Шлемы рыцарей, смотрящих вдаль. Тюленей, орла, сосущего крыло, как медведь лапу. Древние города, градирни теплоэлектростанций. Страницы в клеточку, заточенные карандаши. Колонны, поддерживающие ветер. Она оберегает их от деревьев, чтобы лучше было видно. Чтобы смотрящий находил новое и новое – под внимательным взглядом камень что облако. Путь, смена точки зрения, меняет камень, как вода или ветер. Иногда скульптуры стоят отдельно, иногда свалены кучей – работа продолжается. В круглых ваннах запасен весенний поток.

Тяжелее всего туда, где гора отломилась от соседей, чтобы уйти. Где вертикаль обрыва километровой высоты, под которым блестящая паутина дорог на мохнатом одеяле полей. Где разломы вонзаются глубоко в спину горы. Где больше всего полета.

Некоторые люди поставили на середине горы храм, в храм поставили Черную мадонну и спрашивают у нее совета. Они проложили путь на гору. И не больше ли советов они получили бы, посмотрев на нее? И на тех, кто помогал смотреть – нес наверх камень для ступеней и дерево для перил. На тех, кто прилепляет одинокие дома и башенки к горе, как птицы. Одиночество и усилие дают полет. И растут на одиночестве горы. Она напоминает, что основа – жесткость. Но ее камни вытянуты вверх.

У горы много голов, их гладкие неспешные лбы думают о кометах и современном дизайне, рыбах и теории множеств, обмениваясь между собой, как процессоры компьютера. Слушать молчащие голоса, идти через движущийся туман. Выше, пока гора позволяет. Возвращаясь к ночному морю.

ПЕРЕМЕНА (Милан)

Зачем дому быть только с одним цветом? Половина может быть светло-голубой, половина светло-коричневой. У обнаженной музы в руке шестеренка. Памятник поднимается каменными скамьями – опускаясь с другой стороны водой. Решетки окон превращаются в змей. Дельфины слились в огромный цветок. Под стеклянным полом биржи фундаменты римских домов, основания колонн театра. Под собором мрамор Медиолана.

По стенам дома виноград и оливки, платаны и вязы, акации и магнолии, девушки сидят в раздумьях, кормят птицу на ладони, читают, юноши собирают плоды, наливают воду в чашки из кувшинов. По балконам расходится зелень, на первом этаже продают хлеб и макароны. Где одно переходит в другое?

Собор забрел сюда с севера и торчит занозой среди благодной закругленности куполов, разумных, не переламывающихся посередине, полуциркульных арок.

Поднимаясь внутри легкостью теней по ступенькам света (похожий лес начнет расти через столетия в Барселоне). Но внутри и разомкнутые карнизы барокко.

Белизной снаружи принимая и отражая любой цвет. Поднимается и дает возможность подняться. Сначала мимо химер, потом мимо остриев и лепестков, скрученных кривых. На спокойную поверхность, где ни обо что не споткнешься, если будешь смотреть в небо. На вершине шпилей – люди, не кресты или петушки. А люди внизу – скорее тени.

Один из возможных миров исчезает, оставляя меня. Что я есть, что во мне есть – осталось от этих возможных миров. Мир всегда исчезает от чего-то определенного, не от судьбы, не потому, что пришел срок увянуть цветку. Но когда-нибудь исчезнет. Он уходит, чтобы появился новый. У юношей не свирели, а части балок.

Дом кипит белой каменной пеной, она не тронет паутины, ее не удержат птицам. Высоко над улицей сады на плоских крышах. Плющ располагается по стенам, делая новое старым. Глубоко синий небоскреб похож на кристалл медного купороса. Дом залез на крышу другого, более узкого, дома. Статуя одеждой вокруг пустоты тела – но лицо есть. Город сегодня празднует белый цвет – который становится любим от фактуры поверхности. Город смеется, вытаскивая на улицу огромное кресло из лоскутов.

К счастью, ничто не совпадает с именем, а живет в переменах и множественности связей. К счастью, ничто не совпадает в человеке, и в этом несовпадении возможность роста, останавливающегося при совпадении. Есть надежда на встречу с индивидуальностью, меняющейся, рождающейся, разрушающейся, которую надо успеть встретить и беречь сейчас, в веках такой больше не будет. К счастью и к горечи, ничто не установить раз навсегда. И перемена измеряется другой переменной.

Здесь атланты очень задумчивы. Берсальеры бодро летят по проломанной стене за знаменем. Белые колонны кажутся костями на красном кирпиче. Площадь Борхеса уместна у церкви святого Сатира. Вглядываясь в улицу, находить модерн по торчащим из стены рукам или бедрам. В основании колонн – крылатые верблюды. Литые цветы решеток перемешаны с живыми. Прорези в тонком камне балконов. Северные химеры и южные плоды. Тени и солнце. Вихрями лепестков.

Кельты, римляне, готы, лангобарды, франки, немцы, город разрушили, прошлись плугом по центральной площади, восстановили, республика, герцогство, французы, испанцы, австрийцы, снова французы, снова австрийцы, королевство, снова немцы, снова республика. Кто-то несет лампочки, идя через воздух по рельсу. Девушка с желтой сумкой сидит на траве.

Над входами подковы цветочных гирианд. Окна берегут тюльпаны, подсолнухи, маки, звезды. Пусть мир длится, оставляя всё новое. Но если уходит – время строить новый мир. Не бояться исправлять что сломал – ошибаются все, упорствует в ошибках дурак. Не бояться признать, что этого мира больше нет, чинить больше нечего. Не цепляться за разваливающеся. Лучше никак, чем кое-как.

Фантастичность и разнообразие капителей – над растекающимися рядами по горизонтали симметричными арками. Козероги закручивают хвосты над серьезной процессией святых. Два тела кого-то вроде льва то ли сливаются в одной голове, то ли разбегаются из нее. По одной колонне зигзаг змеи, другая сама свернулась винтом. Чертик удобно устроился под эркером. Птицеобразные и конеобразные химеры поддерживают балконы. Еще для этого хорош павлиний хвост.

Карниз проломан бараньим лбом. Перемены ко всякому. Мир не склонен нам помогать. Тяжеленные быки взгромоздились на крышу вокзала, по бокам зубастые рты под безжалостными глазами. Кони с крыльями, но полет такой

тяжести страшен. Гладкая симметричная крепость присматривает за городом из угла. Перепончатоусые каменные морды питаются дождем. Готовность выстаивать и готовность идти. Не цепляться за комфорт, потому что рост не комфортен. Не соглашаться на то, что есть, потому что так и останешься только с тем, что есть. То, что нашел в переменах – крепче того, что было дано.

На стенах церкви множество черепов, позвонков, берцовых костей, настоящих. Почему бы им не стать частями фигур, орнаментами на стенах и карнизах? Превращения вовлекают и смерть. Вечное отвлекает взгляд на себя, люди и предметы не раскрываются взгляду сквозь них. Перемена богаче вечности. В печали постоянного расставания, в радости постоянной встречи. И почему бы не вернуться – чтобы попрощаться или продолжить.

Дома поднимаются этажами из центра золотого диска. Рука атланта исчезает в его волосах. Под карнизом девушки опираются на окна в цветах. Из-под другого карниза глядят на прохожих пантеры и пеликаны. Глубоко синий, светло-зеленый на фоне серого камня. Стебли вливаются в самопересекающиеся колодцы каменных решеток. Дом прячет свое сердце в листьях. У колонны вместо капители лампа. Не застревать в одном и том же. Не бежать от одного к другому. Тоска по каждому из этих миров – и радость от того, что он был.

В арку над окном воткнуто что-то вроде кегли с шарообразным навершием – может быть, она еще будет статуей? Дом стал скалой в плöße. Древнеримский город принял модерн и небоскребы, дизайн и точное машиностроение. В саду свободных идей можно переставлять и деревья, и стулья. В руках не рог изобилия, а кораблик – пусть плывет по реке. Двое переглядываются на фасаде с разных сторон окна – не собираясь держать ничего, даже легкий карниз. Сбоку маленькая Венеция со своими каналами и выгнутыми мостами, в ней меньше дворцов, но больше огней, чем в настоящей.

Дом вскипает цветами и девушками, и в него не войти иначе, чем через это кипение, и оно же держит в воздухе его части. Но внутри кувшинки над спокойным прудом. Постоянная перемена. Переменное постоянство.

Здесь встретились с тобой на ступенях собора и пошли растить наш мир дальше. А с тобой там встретиться не успели, наш мир разрушился прежде. А с тобой еще встретимся, но пока не знаем об этом.

ТЕМНАЯ УЛЫБКА (Будапешт)

Тяжестью бывшей империи – слишком тяжелой для города. Здания в завитках ставят на себя массивные пирамиды, купола, шатры, короны, кремовые торты – в которых никто не живет. Двери парадных с основательностью гробов. Даже модерн порой становится тяжелым, превращая окна в вертикальные щели, обрастая вазами и башенками, пытаясь замаскироваться золотыми заплатами мозаик. Но тяжесть может быть и от отчаяния. Но луна все-таки отделилась от земли – и девушка стоит на ее фоне.

Подняться на гору и обнаружить, что свобода привязана к цитадели и вместе с ней за решеткой и колючей проволокой. Посмотреть издали можно, подойти нельзя. Обещают, что временно. Но до какого времени? Закрывают на бесконечные реконструкции мосты, фуникулеры, музеи, заматывают в тряпочки здания. Отражение неба – тоже за забором, чтобы никто не подошел.

Холм, где холодно, тяжело и безопасно жить, смотрит на открытую всему, врагу в том числе, равнину. Крепость-король пытается идти навстречу девушке-городу – но между ними пропасть.

Третья часть и в имя не попала, но она самая древняя. Купальни основательностью архитектуры с куполами напоминают соборы или музеи. Русалки простирают руки к сидящему юноше – но тот не торопится чинить высохший фонтан.

Колонны стоят по одной, группируются по две, но ничего не держат, и стекла между ними выбиты. Облезающие здания, поштукатуренные последний раз, похоже, при последнем императоре. Легкие уличные скамейки, чье дерево покрашено, кажется, тогда же. Потом монархия без короля, народная республика, давившая народ. Много экспрессии в памятниках. Может быть, от горечи подавленных восстаний. Склонили голову окружившие Лайоша Кошута – кому в эмиграцию, кто погибнет. А сзади них те, от кого и имен не осталось.

Под городом идет по трещинам вода, размывая свои ходы. Можно строить дом и открыть пустоту под ним. Там живут блестящие каменные ежи, окончательно каменные черепахи и пузырчатые каменные рыбы, подбирающие каменный горох. Удивленные носатые фигуры. Стены из спрессованных лезвий или застывших волн. Не залы – узкие проходы. Там и жить отчаянно, когда оно еще не вошло в человека или уже его

покинуло. Ржавая охра, свинцовый блеск. Пустота смотрит каменным зрачком. Но девушка сможет пролезть в игольное ушко и открыть новое пространство. Каменный орган продолжает играть, пусть это концерт для одной слушательницы. Каменная птица расправляет перья над сталагмитом. В пещеру дверь для людей, а в ней еще маленькая дверь для летучих мышей. Дом-пещера под горой крепости, пробитой насквозь. Церковь в пещере – хрупкая статуэтка Марии среди неровной тяжести камня.

Вода живет и в тротуарах, порой поднимаясь цветом и оглядываясь. В стене она тоже может жить – и тогда выходит новой стеной, движущейся и блестящей. Стая китов, размахивающих своими фонтанами, поселилась под островом. Над чердачным окном осьминог в не по-морскому зубчатых водорослях. Мальчик несет одну большую красивую ракушку, девочка много маленьких съедобных в мокром подоле платья.

Смерть уже сняла голову с танцующего с ней, держит ее на своей ладони – но тот продолжает танцевать. От отчаявшегося до отчаянного недалеко. Гусары – из Венгрии. Черный флаг и сейчас развевается над зубчатым неоготическим балконом. Сражающийся со змеей танцует с ней. Люди несут громадные пустые мешки возле огня. Святые Козьма и Дамиан поливают цветок. Черти радостно протягивают фонари – напоминая, что Люцифер и есть светоносный. Еще один чертик улыбается из кольца на ограде. Здесь кальвинисты, которым положено стремление к строгой простоте, строили самые яркие и динамичные церкви. Ива, плачущая серебристыми листьями, перевешивает безнадежный восток полосатых стен. Колонны вырастают волнами тонких фигур со строгими лицами, разделяющих окна потоком цветов. Кладка из белого кирпича становится окнами.

Это не описание, даже если на мгновение описывает. Разговор предметами как словами, их расположением и сопоставлением. На крышах заводятся цветы и змеи. Танцующие зубчатые линии поддерживают фонари. Идущий с посохом пытается направить к единственному открытому музею, но остается не понят. Кариатиды поворачиваются и отворачиваются, на мгновение проявляется колено или грудь и через мгновение исчезает обратно в деревянный столбик. На плаще Синдбада волны и бумажный кораблик, а под Синдбадом куб, круг и квадрат – пройденное и оставленное ради волн.

Башенки, лестницы и площадки бастиона, который никогда не был бастионом. Павильоны зоопарка напоминают церкви с куполами и мечети с минаретами. На берегу поддельного озера глубиной по колено – поддельный

замок, архитектурный центон от романики до барокко. Но многие лоскуты этого центона – теперь вне страны. И не превращались ли в такие смешения стилей настоящие замки за столетия их жизни? Историю страны начал писать Анонимус, никто. Не родственник ли вечного странника Одиссея? И рядом напоминание об основе Европы – улыбающейся фантастике романских церквей. Одна колонна на спине человечка, соседняя растет из зубастой пасти громадной рыбы. Дальше всешло серьезнее и серьезнее, оживая разве что благодаря трещинам и плющу, пока улыбку не подхватил модерн.

Девушка выступает волнами из красного стекла кувшина. Танцуют фужеры, их ножки гнутся. Тянутся зеленые побеги по краям бокалов. На синий втекают цветы стекла. Танцует и тонкая ваза, за ней шлейф ручки. Может быть, ее научила Лои Фуллер из соседней комнаты. Люстры красными лепестками цветов, сверкающим пятикрылием, шаром фиолетовой омелы. Часы предупреждают: *Delay not, time flies*. Обод чаши из белых крыльев. По стенкам чаш поднимаются ящерицы и жуки. Красные медузы цветов. По дну расходятся бутоны и желуди. Крыша из листьев с колодцами света между ними.

Одинаковые лица ухитряются высовываться одновременно из разных круглых окошек. Не смогли договориться об отпоре – и попали на полтора века под турок. Турки развели розы, оставили бани, могилу святого, каменный тюрбан на задах крепости – и множество развалин. На углах у парадного стоят перепонками на асфальте облезлые гуси лапчатые с гордо поднятыми шеями. Мрачно смотрит сутулящийся орел, похожий на свинью с вытянутым пятячком. Пустота площади героев, годная только для парадов. Внутренние окна домов выходят в щели, где почти нет света.

На верхушке Турецкого банка всадники в пестрых одеждах с кривыми саблями, только разглядев кресты и ангелов, можно догадаться, что это не турки. Из шапки средневекового полководца торчит назад длинный хвост – видимо, чтобы дать дополнительное место трем голубям. Романтический безумец поэт и романтический безумец музыкант повернулись спиной друг к другу. Музыкант размахивает руками, поэт закутался и насутился. На здании музыкальной академии атланты, уставшие, как классическая музыка. Внутри – золото и лазурь египетской гробницы. Улыбается другой музыкант, одновременно распадаясь на части и сворачиваясь в кольцо, протягивая одни руки к трубам, а другими держа хронометр. Одна змея полукругом танца с девушкой, другая свернулась в тарелку.

Дома, раскрашенные плиткой в желтый, зеленый, голубой. Волнами вместо линии карниза. Цветная черепица даже готический собор делает немного восточным. Дворцы, на стенах которых обнаруживаются окаменевшие аммониты или геологические молотки. И глобус на верхушке шатра. Воздух живет в легких прорезанных кубах, а рядом тяжеленные неподвижные фигуры, пытающиеся напоминать человека выступом или отверстием. Государство построило себе колючий дом – может быть, он и должен быть таким. Но перед ним на ровном зеленом газоне растут стайки поганок того же цвета, что и дом государства. Уставший Кёстлер сидит на свете, оглядываясь на тьму, куда вписано его имя. Не поддержать падающих на мешки с песком солдат Первой мировой.

Все выше и выше поднимаются тяжелые русты дворца – не бывает легких королевских дворцов, как бы архитекторы ни старались. Наверху та же тяжесть, только цветом чуть посветлее. Даже конь сдержан уздой. Королевская охота – толпа людей и собак на одного оленя. Стоит ли гордиться взирающему сверху? Скорее мальчикам, поймавшим рыбу в их рост. Угнетаемые одними – считали себя вправе править другими. Но отчаяние невозможно передать другому, переложить на него. И ворон утащил кольцо на паутину ворот.

В прозрачных грудях виллы маки, щеки гладят павлины, ноги щекочут кузнечики, в прическе подсолнухи и кленовые листья. Фонари растут из углов столба, как почки на ветке. Двери берегут по две большие змеи по сторонам, окна – по три поменьше. А под ними психоделические грибы и ромашки психоделических цветов. Модерн включает в себя тепло дерева – балконов, карнизов. Балкон выбрасывает из себя угол – чтобы стоящий на нем почувствовал себя еще более в воздухе. Веера над входами заплетены листвой. Почтовые ящики не приделаны к стенам, а стоят на своих завитых ногах. Рыцарь взобрался на конек крыши и озирает пространство, держа копьё-громоотвод. Процветает бутонами тюльпанов О на углу дома.

Черный ров на площади у парламента – в память о расстрелянных там местной госбезопасностью и советскими танками. Деревянный резной столб на бульваре – девушка с птицей топчет звезду под дулом танка. *Gloria victis*, слава побежденным. На стенах за островом Маргит – следы от пуль, то ли боев, то ли расстрелов. Были казнены и те, кому дали гарантии безопасности. Не надо надеяться, что стоящие у власти соблюдают обещания. После подавленного (с помощью России) восстания 1848-1849 годов казнили 14 человек, после подавленного СССР восстания 1956 года – более 350.

Тоталитаризм обходится дорого. Тень террора продолжает напоминать над проспектом.

В неровностях стены проступают головы, руки, дома – и исчезают в неуверенности существования. В другой стене под ветром вспыхивают искорки. Возвращаются с добычей охотники, девушки приветствуют короля, катится воз с бочками вина, бык идет за жнецами. Это не то чтобы выше отчаяния, а параллельно ему. Кто-то натягивает лук, кто-то играет на двойной флейте. Целуется в танце или склоняет голову перед танцующими. Кто с молотом, кто с лирой. Лица рвутся из фонарных столбов. Уверенно несет крест башня, поднимая вверх рамы для неба. Обрыв горы под свободой подходит, чтобы бросать в реку епископов. И стоит на мостике через сухой гравий тот, кто в последние годы и дни все же смог жить достойно, попробовал быть свободным и открыть свободу другим – и заплатил за это жизнью.

Пустые кладбища – тем, кто там лежит, не тесно. От одного кладбища к другому ходит трамвай – можно поехать в гости. На могиле летчика – самолет со сломанным крылом. Автолюбитель и автомобиль поставил себе на надгробье. Рвущиеся в разные стороны из-под покрывала неоседланные кони с всадниками и люди с крестами. На надгробии того, кто собирал модерн, три девушки вырастают, выпрямляясь, из камня. Склепы заплетены стволами деревьев, корнями, ветвями, листьями, как ацтекские храмы в джунглях Юкатана. Кое-где из зелени проступает белизна квадров кладки, чернота дорической колонны, провал входа. А внутри порой вспыхивает золото мозаики, под синим небом цветут деревья, поднимаются пальмы, горят звезды, идут львы. Погибшие в последнее восстание – у деревянных резных столбов, под языками каменного огня.

Белой и фиолетовой пеной октябрьских цветов. С корабля с головой лошади на носу сгружают тяжелые мешки. Египтянин в платке-пшенте продает финикийке пшеницу. Изгибаются рубчатые камни. Клочковые ангелы прилетают и на фасады современных домов, не только к барокко. Строгий профиль вдруг появляется на ровном месте стены. Юноши несут подруге цветок в кадке – та кокетливо отворачивается. Пытается стоять крепко колокольня разрушенной церкви. Спешащая пролетает горизонтально сквозь угол дома – так торопится. Бронзовая ящерица тихо спускается по камню памятника. Капля подземной воды падает на губы.

В парке домики для насекомых с наполнением из камней, деревяшек,

сена – где кому удобнее жить. У водокачки фрески с иной планеты, где синие кольцевые облака и горы висят в пространстве. Девушки лежат над изгибами окон в каменной и живой листве. Дом – бык с острыми рогами. Ухваты и кастрюли пытаются уловить небесную воду в воронку. Толпы раскачивающихся полос через дорогу от трамплина в две стороны неба. Почтамт – замок с коронами. Деревянные карнизы виллы напоминают о китайских крышах. Цифры сыплются из закрученной белой загогулины.

Дельфинам с переплетенными хвостами не поплавать – вот они и смотрят бульдогами. Гигантский купол расселся на сером доме, придавленном еще двумя пирамидами. Не помогут никакие волны орнамента по фасаду. Зубчатые окна цепляются друг за друга, у крыши работает огромный редуктор, но крыша тяжела и никуда не сдвинется. Множество статуй, держащих птиц. Идол – то, что сводит в один центр все складки. Спокойна сидящая на островке среди лотосов – а мальчику вцепился в палец рак.

В саду человек пытается поймать Землю в парус, сложил руки перед собой печальный, примеряет кадр вылезший из кинофотодеталей кинофотограф. Для починки фонаря нужно четверо – один чинит, другой его поддерживает на лестнице, третий на лестнице же поддерживает поддерживающего, четвертый смотрит и дает указания. Толпы белых обнаженных дипломных работ университета искусств гуляют по саду, прячутся под навесом, влезают на насесты, осуждающе смотрят на поднятые колени упавшей серой подруги, разглядывают проволочную корову. Кто-то из них все-таки отделяется и садится в уединении. Крылья совы над арками окон.

И в предпоследний момент город говорит, где он прячет что-то еще. На углу дома в нише вместо Девы Марии – Венера Милосская. Что-то среднее между готическим собором и замком оказывается виллой. Любопытная высовывается из одного окна – а ее ноги торчат из другого. Под лобовым стеклом автокрана – человеческий и бычий черепа. Голова Наполеона замотана в тряпочку, и выечат ее явно нескоро. Школа зовет учиться яркостью вязи на стенах. В окне дома разодранный железный свиток. Русалка балансирует на дольках лука и ананаса. Подпирают этажи усатые квадратные вожди мадьяр-кочевников. Мудрецы только разводят руками перед блеском мира. В октябре снова зацветают крокусы.

Тело крылатой девушки изгибается так, что голова не поспевает за ним. Утопи компьютер и пей кофе, размешивая ложечкой сахар. Девочка радостно съезжает на попе по наклонному камню между рыбой и морским

ежом. Хлеб № 271 вкуснее хлеба № 272. Пальцы черны от орехов с горы. На свободу лучше смотреть, забравшись на узкий карниз, куда нельзя, держась за перила со стороны обрыва. Покрути колесо – и сможешь напиться воды.

ОЖИДАНИЕ

Кидония, Канеа, Ханья - на тысячу лет древнее Рима, не перестающая жить и ждать. Основал ее на дальнем лесном западе острова, среди диких кидонов с отравленными стрелами, - народ, обходившийся без настоятельности культа предков, без огромных статуй правителей и богов. Хоронивший многих, может быть, в море. Не прошлое в прошлом - и не такое же прошлое в будущем - а будущее в прошлом. Ожидание - к будущему.

Отсюда дорога к ущельям и мысам, древним городам и теплым бухтам Ливийского моря с синей водой (эгейская - зеленая). Отсюда кидонийское яблоко, которое айва. Город - тот, что сейчас и всегда - не лезет на глаза, ждет, когда наконец остановишься, останешься, оглядишься рядом.

И окажутся маленькие личные фонтаны, не стремящиеся поразить площадь. Перетекающая в переулке из чаши в чашу, из кувшина в кувшин вода. Впадают в море тихие узкие чуть горбящиеся улицы под зеленью, где и Венера, и Теотокопулос. Туда и повозке не въехать. Ступени лестницы завалены лепестками. Проволочная прозрачность лиц на стенах. Туфли на каблуках стоят между камней венецианской крепости. Змеи покусывают друг друга за хвосты и предлагают комнаты.

Семь сводов, под которыми строили корабли. Море то в пене бросается на город, то легко поддерживает плывущих. Прорастает домами крепостная стена со львом святого Марка, с пушечными стволами античных колонн. Ожидание - опора и перемена. Десять раз перестроенные дома с дверями, выходящими в пустоту около двухголового византийского орла. Старое дерево ставней. Пусть в доме 12 века простыни остались, видимо, с того же времени - но чистые же.

От основавших - чашки то ли с кошачьими ушами, то ли с ласточкиными хвостами, чешуйчатые кувшины, длинношеяя глиняная птица. Но тот, кто вспоминал, как “гончарами велик остров синий”, говорил и о праве “дышать

и открывать двери, и утверждать, что бытие будет, и что народ, как судия, судит”. Тесаная минойская кладка, многоугольные улочки. Под стеклом пола магазина - стены раскопанных домов. Город железных рук. Одна тянется с погибшего корабля, другая бережно держит цветок. Город внимателен. Предлагает ботинки вместо изодранных на камнях мысов и ущелий, и подбрасывает на них немного денег. Убирает с улицы каменные столбики, чтобы кто-нибудь не споткнулся.

Стена мола балансирует на острых камнях. Сесть на камень и чистить пойманную тут же рыбу. Казематы и дома с исчезнувшими потолками открываются на улицу вечерними столиками. Белые гибискусы у каменного занавеса. Колонны у входов - может быть, подобранные древнегреческие, может быть венецианские. У микенского воина в могиле - меч, стрелы, но и вазы, и зеркало.

В саду восьмигранная могила святого - христианского? мусульманского? Минарет у Святого Николая. Порой только и остается - ждать. Не поддаваясь, оставаясь собой. Мечети исчезнут, останутся бани. По углам площадей усатые повстанцы с кинжалами и кремневыми пистолетами за поясами. Ждать - это и действовать. Близок маяк, но длинна дорога к нему вокруг порта. Маяку не нужна острая верхушка минарета, он - к тем, кто ищет землю в море, не в небе. Хватит церкви размером со шкаф - за стеклом ящичков иконы, близость к богу не зависит от размеров. В большой церкви в цитадели сначала поменяли стрельчатые арки на прямоугольные окна и входы, потом окна уменьшили, а потом так и оставили все без крыши, пусть там живут пальмы. Пусть от нас остаются только тени на камнях. Нам не мешать.

Очень модные девицы в рваных колготках влезли в лодку явно не затем, чтобы ловить рыбу удочками. Синие абстракции граффити разбегаются по стене. Ожидание не остановка, ждет продолжающаяся жизнь (порой забывающая, что именно она ждет). Модерновая решетка в окне здания 15 века вполне подходит к венецианской колонне между окнами. У крепостной стены кактусы поднимают недолгие деревья своих цветов.

Вглядывается в город твоя спина. Ждать - быть с тем, кого или что ждешь. Черепаха вынырнет в порту, посмотрит на тебя и поплывет дальше. Дверь чуть приоткрыта. Нарисованные цветы отделяются от стены.

ЕДИНСТВО (БРЮССЕЛЬ)

Плавить металл, обрабатывать металл. Город стал расти из металла, выйдя из средневековья. Но даже чугун может стать легким, превратиться в рисунок. Разойтись листьями, лепестками, паутиной. Дом станет лесом. Или нервный бросок перил - поддержать? остановить? - или всплеск стального фейерверка в небо. Где-то расплавленные потоки металла летели в ветре, так и застыли, порой отклонившись вбок или разбрызгавшись. Может быть, контуры скрипок, может быть, ноты. Дом из переплетений металла и стекла - хорошее место для музыки, ей надо много воздуха. В другом доме обычный рельс выступает из балкона, поддерживая балкон следующего этажа и расцветая там, дом с некоторым удивлением смотрит на все это, чуть наклонив голову в угловатой фуражке из металлических листов с металлическим же шитьем. Третий дом почти в воздухе на тонких стальных стержнях-стеблях.

А до этого была площадь в нервной золотой ряби барочных завитков. Даже стекла разделены на мелкие всплески. Неоготика подхватывает эту дрожь строгостью камня. Столица страны, которая отделилась от другой - чтобы затем стать частью иного единства. Город, который и сейчас перетягивают друг у друга два народа. Слишком хорошо расположенный на дороге для вторжений, только в XX веке дважды за 30 лет оккупированный и дважды освобожденный (но не теми освободителями, которые потом забывают уйти и от которых тоже приходится освобождаться). Никогда не пытался заставить себя уважать страхом. Потому и стал местом единства Европы. Сталь и кирпич - оба вышли из огня.

Индустрия и коммерция - под цветами вишен. Электричество поддерживают львы. И вино заслуживает своего дворца. Шлемы, трубы, рога изобилия и весы справедливости. На крышах легкость девушки с тонкой флейтой, воинов с тонкими мечами. Шашечки рыцарских замков-гербов. Подбоченившиеся мансарды. Ромбы гнезд ласточек и ступеньки в небо. Золотая лиса над входом. Выдры несут рыб рыбоному гиганту. Крепостная башня смотрит слишком узкими глазами бойниц и не может найти дорогу. На соединяющей стеклобетонные здания галерее танцуют акробатки с лентами в руках.

Аристотель говорил, что город - единство непохожих. Единство - не единое. Единое - слитное, у него разве что части, а может и их нет. Единство - разных и самостоятельных, переругивающихся, тянущих в свою сторону.

Живое - рядом с единым казармы, из которой получится только казарма еще больше.

Множество девушек, часто на золотом фоне, потому что они лучше, живее, радостнее и печальнее всякого золота. У золота нет лица, его можно сложить куда угодно, а такие девушки этого с собой не позволят. В их волосах цветы. Они танцуют, обнимаются, зажигают факелы, скачут на козерегах. Но и несут тяжелые ведра с водой. Охраняют сковородку с древними рыбами. Вместе с мужчиной поддерживают балкон.

Множество цветов на камне и стекле - ромашки, маргаритки, ноготки, бархатцы, тугие розы, гвоздики, лилии, крестоцветы, табак, те, каких и не существует. И нет одинаковых. За ними порой подниматься под самую крышу. Множество птиц - орлы, гуси, воробьи, попугаи. Павлины целуются. Петух приветствует восходящее солнце. Малиновка утра, голубь полудня, ласточка вечера, летучая мышь ночи. Разные, они несут день, сменяя друг друга.

Дома касаются друг друга, но не зажаты соседними - у них есть место проявить себя, не тесня других. В городской тесноте достаточно фасада в два окна, даже в одно окно, чтобы у дома оказалось лицо. В полукруге чердака прямоугольник окна, но оно само разбито на неравные прямоугольники, и рядом улыбается еще одно маленькое окошко. Или эркер над полукругом входа, над ним окно, сдвинутое влево, а в небе решетка террасы на крыше. Или каждый этаж - грот, затянутый тропической зеленью лиан, выступающих из переплетенных коричневых стволов, протягивающих вьющиеся зеленые усики к облакам и к рукам входящего. Повторения одного и того же громоздят очередной царь или диктатор, а город не будет.

Пусть дверной проем будет не прямоугольным, а с выемкой наверху, или обнимает полукружием плечи входящего. Дверь встречает переплетением стеблей. Смотрит большими глазами. Подарит цветы. Рама двери в приветственном поклоне.

Отражения веток превращают любое окно в витраж. Круг окна во весь фасад. А вокруг круга девушки предлагают друг другу скульптуру и города, музыку и книги. Кружево камня в небе. Рифмы рам окон и дверей. Острые шляпы гномов, живущих на чердаках. На верхушке одного из домов устроилась маленькая волна, выгнувшая собственную верхушку.

Моря на стенах почти нет, город твердо стоит на земле. Здесь вода - река с кувшинками, цаплями, зимородками. Со своей кривизной и

непредсказуемостью течения. Кривые линии балконов и рам живут. Пусть казармы состоят из прямых. Птицы успевают улететь. Изгибы модерна уверенны и стремительны. Модерн порой расточителен рядом с бережливочупеческой Голландией. Но иногда потраченное один раз живет всегда. Таковы и встреча или путешествие. Под балконами золотая чешуя. Стекло ультрасовременных домов тоже выгибается волнами и дугами, еще и отражаясь друг в друге, что не по силам камню.

Статуи - не только генералов или писателей, но и писающего мальчика - чтобы знаменитости не слишком гордились. У фонарного столба вязаный полосатый шарф. Город играет в куклы, пробует им разные сумасшедшие прически и одежды. Библейские старцы с посохами подводят тупью ресницы. Раздевшиеся девушки целуются посреди улицы. В основании колонн ушастые рожицы. Грибы по сторонам двери. Дракончик подметает тротуар, другой обгрызает плоды с дерева. Лишь единое уныло серьезно, не желает знать ничего кроме себя.

Внутри домов колодцы света. Путешествия кривых. Сады ветвящихся линий, не торопящихся куда-то прийти. Даже дерево становится лентами, обтекая себя. Золотые рыбки и серебряные танцовщицы (золото разве что поплывет, но танцевать вряд ли сможет). Крылья стрекозы оберегают вышедшего на балкон. Цветы тоже хорошая опора. Крылья бабочки - хорошая крыша. Голубые лучи по желтому, оранжевые по серому. Выгнувшиеся вдоль неощутимого ветра стебли присов и маков стали опорой птицам. Трехгранник раздвинул плоскость стены и стекает на окна. Балкон медленно растекается от вошедшего на него. Смотрит на город с чердака, задумавшись, статуя Микеланджело. Плющ поднимается по камню. Красные листья расходятся по булыжникам, желтые по траве.

Избегать симметрии. Входная дверь по диагонали от башенки крыши. Где-то балкон над окном, где-то на эркере. Однообразное не годится и для единства. Осторожнее с мраморными колоннами. Древняя Греция - источник многого. В том числе и фашизма в "Государстве" Платона. Нельзя быть в единстве с теми, кто загоняет в единое. Единство добровольно. Оно - действие, вновь и вновь проверяемое и совершаемое. Потому всегда молодое. Единое - не действие, а состояние, попав в которое, не очень-то выберешься. Верхняя перекладина рамы выгнулась вверх, выдерживая напор, разделяя сходящиеся друг другу левое и правое, не давая им совпасть. Крылатые лица - но земных девушек, не ангелов. Не боги и не аллегории. Динамика линий. Нисходящее

раздваивается, встречаясь с раздвоенным восходящим. Солнце помогает, достраивает изгибы камня и металла тенями.

То, что притворяется единством, затыкая рот всем, не встающим в его строй, называется не единством, а совсем по-другому. В строю разговоров и вовсе нет. Это даже не кладбищенское молчание - не оскорбляй кладбище. Оно тоже живет. Разводит руками, плачет. Помнит, не пытаясь сделать из памяти универсальную затычку для настоящего. Жизнь и смерть вместе поднимают к небу. Совы стерегут трубы на крыше. Свет, пройдя через окна эркеров, становится золотым.

Цветок вытекает из цветка. Дверь своим верхом раскручивается в лестницу, по которой поднимаются ирисы. Металл переплетается в танце, вырывается из тутого клубка, оставляя следы движения, разбрызгивающиеся круги и спирали. Это есть, будем его хранить и идти к нему. Будем держаться за эти изгибы и жить наперекор тем, кто заталкивает нас в единое. Мы в единстве. Но не с ними. С единством единому не справиться, единое слишком тупое и неповоротливое, только давит. Город, если необходимо, постоит за себя, откроет дорогу морю, чтобы земля не досталась врагу. Море все-таки рядом, и металл в парке выгибается хвостами китов и крыльями чаек. И возвышается над городом обугленный кирпич колокольни.

Огромность окон, едва заплетенных деревом и металлом. Девушка строго и спокойно несет чашу под ветками дуба. Камню стать занавесками над окнами или дверью. Водопадом, разделяющимся над входом. Минусовой, стерегущим проемом. Участник единства не покидает единство при превращении. Над окном целующиеся лица. Рыжие волосы грусти. Голубые цветы встречают фиолетовые лучи рассветного солнца. Птица защищает под крыльями сердце. Корабли домов плывут к чему-то еще.

МИРАБЕЛЛО

С одного края иссохший камень, с другого проказа, посередине прекрасный вид. Мирабелло. Мягко-розовые закатные скалы. Киты островков и внезапная ровность бухт. С другой стороны - серая почти вертикальная стена в триста раз выше домов, в одном месте разрубленная до основания топором, для которого камень - древесина. А между ними люди - кто всегда еле держится между блеском воды и жесткостью скалы.

Вот сюда бык привез Европу. Европейец – кто с Крита. А критяне лжецы поэты.

Молния рождается в пещере. Пальмовый лес и ущелье мертвых. На острове белого камня мудрость выбрала для купания озеро с черными стенами и без дна. Город ремесленников обходится без дворца. На мысу устроился язык зелено-голубого пламени. Церковь не дом, а коридор внутри скалы, и там зовут матросов в далекие плаванья. Америка приходит кактусами. Ветер в горах поднимает к себе воду.

Серая пирамида острова, смотрящего в море круглой многоглазой головой. Попытка камня командовать волнами. Но в жабрах бойниц ветер. Деревья сгибаются от него. Но все менее отличимы стены крепости и скалы. В стены вмурованы книги и круги с воды.

Лепрозорий. Крепость вывернулась наизнанку. Стены защищают не тех, кто в ней, а мир от тех, кто в ней. От прокаженных, кто говорит, что никакой проказы нет, и все должны так жить. От желающих распространить проказу запретов. Что делать тому, кто оказался заперт с больными? Заперт даже не в пустоте, потому что пустота - возможность, а это место запретов. Держаться и помогать другим запертым поневоле. Кто не смог подняться, чтобы помочь другому, не сможет подняться и чтобы сделать что-то интересное. Лечить тех, кого можно попробовать вылечить, не поддаваться тем, кто неизлечим.

А вокруг вода, одновременно стеклянно-хрупкая и движущаяся. Отблески на ней столь прочны, что можно ходить. Черепицы Валери. Под ними город деловитых серых рыб, а красные и черные рыбы там ласточки с черными хвостами. Рыбы-иглы вытягивают губы для поцелуя. Носатые рыбы грустят. Донные камни, уходя от сетки бликов в зеленый туман, утаскивают на себе клубки морских ежей. Ежи сворачиваются черными пушистыми кошками. Залепляют трещины в скалах. На дне лежат продолговатые предметы, только взглянув через полчаса, понимаешь, что они все-таки меняют позы, движутся, поедая ил. Термос, уже не держащий тепло, будет неплохим домом маленькому осьминогу.

Мир все же большей частью прекрасный вид. Кто-то в месте проказы, с которой там не смогли справиться. Которая постаралась, чтобы ее заперли. А мир остается. Музей починят. Кто-то придет за лучшим оливковым маслом и крепким запахом трав. Продолжаются взъерошенные тропинки. Переставляй камешки в лунках неизвестной шры.



О ПОИСКАХ ЖИЗНИ

Я устал. Устал от большого города, от метро, от карусели дел, похожих одно на другое, устал от недостатка жизни. Под жизнью я понимаю жизненный порыв, который иногда настигает, как в детстве, и все вокруг преобразается – деревья становятся больше деревьями, чем раньше, синее небо становится более синим, начинаешь чувствовать легкость, желание попрыгать на одном месте, сделать какую-то глупость, серебряные и золотые звездочки проходят сквозь тебя чудным ветром, а самое главное – чувствуешь саму жизнь, одновременно и парадоксально - и в движении, и покое.

И вот я у моря, в холодном весеннем ветре, в запахе водорослей и цветов, а потом мы едем в горы, спускаемся в ущелья к речке, залезаем в ледяное озерцо темно-синего цвета под обрывом, разглядываем лужу с тритонами, головастиками, лягушками, с какими-то невиданными существами. Я ищу жизнь и нахожу ее. Бродят по дороге лошади и козы, смотрят снежные вершины, выводят трели черные дрозды, трепещут в ветре веера пальм (звук детства!) а в городе даже цветут розы. И еще звук прибоя, когда лежишь в одежде на едва теплой гальке, тихая пульсация, ритм крови.

На третий день моих жадных поисков жизненной прибавки в наш домик в невысоких горах приехал Серега Сидоров и попросил показать какую-нибудь простую медитацию. Мы пошли за дом, на небольшую площадку у огорода, освещенную солнцем – именно отсюда открывается вид на снежные горы и поворот горной дороги, исчезающей за ближайшим склоном. Там мы сели напротив зацветающих яблонь, лицом к далекому морю, я объяснил, что надо делать/не делать и мы стали пробовать.

Через несколько минут внутреннего «путешествия» я тихо открыл глаза, и в этот момент порыв ветра тронул ветку яблони. С нее одна за другой слетели две белых точки и, задержавшись в воздухе, пошли к земле.

Я сейчас пишу про белые точки по двум причинам: во-первых, я не хочу называть их лепестками, потому что они были именно непонятными и очень белыми точками, почти звездами, а во-вторых, в них было столько жизни, сколько лепестку на себе не унести, во всяком случае, из тех лепестков, который я видел много раз на ходу, восхищаясь и задерживая на них взгляд.

Эти две точки готовы были понести на себе весь город вниз и горы, и дорогу, и нас с Серегой, как несут огромную раковину острые и белые кончики ее шипов. И дом за спиной, и удары пульса, и шум моря, и чудесную лужу с тритонами и головастиками – все сразу, потому что они и были жизнью, одной на всех.

Потом я отвечал на Серегины вопросы и думал, что то прикосновение жизни, которое я испытал, созерцая мгновенный полет двух белых точек, ничем не отличается от ощущения, которое я испытывал в Москве, у себя дома, сосредотачиваясь по утрам на полчаса, «проходя» вглубь своего дыхания или за мысли.

Вот именно. Моя родина, этот город¹ и горы – прекрасны даже сейчас, когда вокзальная площадь стала напоминать московскую толчею, когда многие места не узнать из-за выросших, как грибы неказистых современных домов, перестроенного порта и все более озабоченных людей, набивающихся в автобусы, зажав в руке айфоны.

Но обнаруженный парадокс состоял в том, что в поисках жизненного порыва, прибавки к жизни мне не надо ехать куда-то далеко, чтобы их ощутить. Достаточно остановиться, выйти из мировой и очень конкретной озабоченности (телефоны, поездки, обязанности, нехватка времени, сломавшийся компьютер, который надо чинить, статья, которую надо сдать к завтра, у каждого – свой набор) и начать прислушиваться к дыханию –

собственному и единому со всеми, и хорошо, если есть рядом Серега, который спросит: расскажи, как медитировать. И рассказывая, а потом медитируя, обязательно найдешь то, что искал, и, как всегда, не там, где искал. А в близости человека, пытающегося разобраться с собой и своими проблемами, в неожиданном полете лепестков с яблони, и, конечно же, в присутствии того, что неизменно, что и есть ты и мир одновременно, что и есть большее, чем ты и мир.

ДРУГИЕ

С Веничкой Ерофеевым я виделся два раза в жизни. В первый раз его привел в мою комнату на Верхней Масловке Илюшка Дворецкий, мой знакомый, тогда еще не отсидевший свои три срока, а имевший за плечами всего один, за попытку изнасилования, от которой девица увернулась, выпрыгнув из окна и вывихнув ногу.

Накануне Илья привел ко мне в гости двух студенток циркового училища, расположенного неподалеку, и жена на следующий день тщетно пыталась найти свои бриллиантовые сережки.

Ерофеев был в завязке, я же в том году трезвым бывал редко. В связи с этим все сразу пошло наперекосяк, и мы друг другу не понравились. Ерофеев сидел на моем выдавшем виды диване, который никогда не складывался, а я громко читал свои стихи, сидя за столом с огромной пепельницей и бутылкой портвейна. По мере чтения Ерофеев мрачнел, и Дворецкий, который говорил про свою фамилию, что это не фамилия, а должность, бегал на диван его успокаивать. Потом я совсем отвлекся на вино и на свои мысли, и не помню, как и когда они ушли. Не помню, ушел ли я с ними или ушел один, и вообще, уходил ли я в тот вечер куда-то, скорее всего, уходил. Я, кажется, так и не понял, что у меня в гостях был автор «Петушков», Илья объяснил мне это на следующий день.

Такая же история у меня была с Ольгой Седаковой, с которой я ни разу не пересекся, хотя учились на одном, кажется, курсе, и с Татьяной Толстой, которая преподавала у нас английский по утверждению того же Ильи Дворецкого. Я несколько раз пытался отождествить писательницу с одной очень толстой и необыкновенно красивой, с хрупкой линией шеи и подбородка, преподавательницей, сразу же меня невзлюбившей, но у меня

так ничего и не вышло.

Через семь лет мы с Илюшей сидели в парке напротив ипподрома, там, где фонтан с конскими статуями, у него в ногах стояла двуручная сумка, полная денег, а сверху на банкнотах лежал пистолет. Я подбивал его выпить, но он был на торпедо и мои предложения вежливо отклонял. Через год он сорвался, потерял все, что у него было, я навещал его в семнадцатой наркологической больнице вместе со Славой Гайворонским, точно так же, как мы с ним успели вместе навесить в больнице мою маму перед смертью, потому что Слава человек, который не только творит свою легенду, но и сшивает легенды других при помощи музыки и встреч.

Через полгода Илья стал терять память и рассудок. Я еще раз успел навесить его уже в другой больнице вместе с его женой, которая говорила, что он всегда выкручивался и, видимо, надеялась, что и этот раз - не исключение, но в этот раз ему выкрутиться не удалось. Через пару месяцев его поймали на Тверской с боевой гранатой, но объяснить, откуда он ее взял и где он живет, Илья не смог. Закончил он свой срок в дурдоме тюремного типа, кажется, на станции Столбовая.

На похоронах был жуткий мороз, пришли мать, сын, жена и я. Непристойно черная ямка земли на белом снегу приняла урну, и все стали уходить. Пока задержавшаяся мать на свирепом морозе сидела над урной, я думал о том, куда подевались все те легкокрылые девчонки, которые вились всю жизнь вокруг этого обаятельного человека. Было странно, что у них сейчас своя жизнь, и все их слезы, стихи и поцелуи остались при них, а Илья пошел своим узким ходом под землю без всякого сопровождения, хотя бы в виде получасового внимания или пары слов, произнесенных дрогнувшим, но сексуальным женским голосом.

Мы с ним учились вместе, в одном здании, я на филфаке, он на ИВЯ, изучал вьетнамский, мог запомнить с одного раза сорок вьетнамских слов, я сам проверял.

Второй раз я видел Ерофеева на каком-то вечере с перебинтованным горлом, и не узнал. К тому человеку, что сидел на диване на Верхней Масловке, он, казалось, не имел отношения. Может быть, я и других людей видел в своей жизни по несколько раз, но с такими перерывами во времени и разницей в состояниях, что впоследствии тоже не узнавал и думал, что это другие люди. А, может, это и были другие люди, кто знает.

Я как-нибудь расскажу о проститутке, с которой я познакомился в гостях

у Саши Зуева, о Борисе Слуцком, с которым у меня, как у начинающего поэта, был длинный и содержательный разговор о пользе плавания кролем и работы тренером, расскажу о том, как Межиров читал стихи Луговского про восточный рынок в предбаннике «Нового Мира», и это было сногсшибательно, хотя и немного манерно, и еще о чем-нибудь, что запомнилось из тех времен.

Может быть, я расскажу о том, что секса в СССР не было, а было что-то, не поддающееся выражению, но отстающее от секса примерно так, как значение слова отстоит от написания – на невысказанный уровень. Как один парень из Кащенко объяснял мне, почему он выкинул магнитофон за окно. И как мы ездили к Бахтину, и там был Миша Эпштейн, который не видел меня, а я не видел Эпштейна, видимо по той же самой причине, про которую я уже рассказывал. Может, я также расскажу, как я лежал на рельсах, а надо мной светил фонарь и шел дождь, и жилистый бомж пытался загнать мне перо в живот, но не получилось. А, знаете, я, наверное, не буду больше ничего такого рассказывать, потому что это были те самые другие люди, которых так много в вашей собственной жизни и которых не удастся узнать ни вам, ни мне. Потому что с одного раза человека легко понять неправильно и также легко забыть насовсем, а при следующей встрече обращаться с ним как будто совсем с другим человеком, так и не поняв, что другим стал ты сам, что и в тот прошлый раз ты тоже был другим, как и твой забытый знакомый.

ПОД МЕЛКИМ ДОЖДЕМ У ПОРТА

Мелкий дождь сеялся с неба, плитки тротуара, ведущего к порту, отсвечивали и блестели, кое-где на тротуаре лежали бурые листья платана, пахло сыростью и водорослями. – Хорошо бы, пошел снег, подумал Н., - тогда платаны и кипарисы постепенно станут белыми, и запах тающего снега зайдет холодом в ноздри, а снежинки будут падать на крыши пустых кафе. Бортики фонтанов станут белыми и выпуклыми, нависая над зеленой водой, и сразу немножко зябко, а потом снова тепло.

Все эти слова он сказал про себя одновременно, и также одновременно увидел все то, что они означали, и почувствовал волнение. Он волновался от того, что мокрые улица и сеющий дождь совпали с чем-то неувлимо огромным и гуляющим внутри него - каждый раз он от этого волновался,

понимая, что он относится к этому родному и огромному так же свободно и легко, как чайка, косо летящая над портом, – к небу.

Он полез в карман своей американской куртки и вытащил пачку «Pall Mall», купленную вчера из-под полы у знакомого бармена. Дым от затяжки медленно ушел влево сизым облачком и растворился рядом с лестницей, ступени которой шли вверх, к маяку и церкви, а по бокам росли мокрые кипарисы.

Было совсем тихо, машин на улицах почти не было, и только от порта долетала едва слышная музыка.

На повороте к парку стояла желтая бочка на резиновых колесах с надписью «Пиво». Продавщица в прозрачном синем плаще с капюшоном, надвинутым на глаза, сидела рядом на табуретке. Дождь сеялся на нее, по краю капюшона дрожали капли, плащ был мокрый и блестящий, и сквозь него видна была черная полиэтиленовая куртка и розовый шарф. Он выпил кружку чешского пива, а когда отсчитывал деньги, то ему показалось, что монетки особенно нарядно блестят во влажном воздухе.

Тут же, рядом с продавщицей, у ее ног сидела полосатая серая кошка, и бочка, вместе с кошкой и продавщицей отражаясь от тротуара, казалась большим размазанным акварельным пятном.

У порта он подошел к будке телефона-автомата и остановился в нерешительности. Потом вошел в автомат, бросил две копейки в прорезь и завертел диск. В будке было сухо, и он заметил, что изо рта у него идет пар. Он не набрал номер до конца и сел на корточки, так и не выпустив трубку из руки. В мембране что-то шелестело и щелкало, потом пошли короткие гудки, а он сидел, прислонившись спиной к стеклу и зажмурив глаза от тихой радости. «Век бы так сидел», - подумал он. В приоткрытую дверь вошел порыв ветра и запахло мокрой сосновой хвоей. От пляжа, примыкавшего к порту, слышался слабый шум прибоя.

Он поднялся во весь рост на сильных ногах и снова набрал номер.

– Кетти, - сказал он, - давай пойдем куда-нибудь. Сможешь освободиться? Хорошо, через час в «Феликсе».

Н. вышел из будки, скрипнувшей ржавыми петлями, и пошел в сторону набережной. Шторм был, но небольшой. Пляжи были пусты, только по одному бродила старуха в клеенчатом плаще и ковыряла длинной палкой выброшенные на берег бурые водоросли, искала монетки.

На набережной тоже никого не было, как будто загорелых толп,

фланирующих по ней в плавках и купальниках летом, вообще никогда не существовало, и от этого она была сейчас похожа на фотоаппарат, из которого вынули пленку.

Старуха что-то пробормотала и замахнулась палкой. Испуганная чайка взлетела в и парила теперь на одном месте в потоке воздуха, а он вспомнил, какие у Кетти белые ноги, и картинка была немного более отчетливой, чем та, акварельная, отразившаяся под бочкой с продавицей в прозрачном плаще, но все равно немного смазанная. Когда они встретятся, все наведется на резкость, подумал он.

Хорошо бы написать, о том, как он бредет сейчас по набережной, пару строк. Где-то в кармане куртки должна быть бумага, которую он взял вчера в редакции, бумага и карандаш. Только непонятно пока, о чем они, эти две строки, будут. Они могут быть про чайку, или про бочку с чешским пивом на повороте к парку, или о том, как тихо играет музыка из пустого ресторана. А еще можно написать о том, что здесь будет, когда все же пойдет снег. Как все станет торжественным, белым и гулким, как будто происходит не с тобой. Еще можно написать о старухе с палкой на пляже. Или о том, как в телефонной будке он заметил, что изо рта идет пар. Всего пару строк. Да и неважно, о чем они будут.

СНЕГ ВО ДВОРЕ

Я тогда работал грузчиком в магазине «Российские вина». На заднем дворе магазина, куда заезжали грузовики с ящиками фруктов и вина, гудел транспортер, непрерывно бегущая лента которого шла в подвал, и мы сружали на нее с открытого сзади фургона ящики в двадцать бутылок шампанского, в двадцать бутылок пива и, реже, коробки с фруктами. Мы были одеты в халаты мышинного цвета, чуть выше колен, двое молодых – мы с Сашкой - и двое пожилых, но хватких рабочих отдела.

Когда я ранним утром поднимался по улице Горького к своей работе, я предвкушал длинный и полный силы день с запахом лимонов и яблок. Чаще всего вино мы пили с утра, а потом во время обеда и вместо него. Однажды бутылка шампанского взорвалась в ящике, который я ставил на ленту и толстый осколок стекла перебил мне сустав пальца. Я замотал его обрывком газеты и продолжал разгрузку.

Как-то Сашка, двухметровый пьяный парень, поскользнулся на краю грузовика – так и вижу его парящим над бездной с ящичком на груди - и полетел вместе с ним спиной вперед в яму транспортера, я успел его перехватить, и сдернуть на асфальт рядом. Вечером он пригласил меня в центр лабиринта из ящичков, где было что-то вроде комнаты без потолка, а на полу стоял еще один с бутылкой водки, помидором и солью на обрывке бумаги. Сашка держался очень торжественно. «Для тебя украл», - сказал он. Так он выразил свою благодарность.

Ко мне приходил отец, и мы с ним порой выпивали на лавочке асфальтированного двора.

Еще приходили друзья, с которыми мы прежде учились на филфаке.

Однажды я продал раньше разрешенного тогда времени бутылку вина молодой девушке. Она оказалась продавщицей букинистического магазина. «Достань мне Ницше», - попросил я. – «Тебе-то зачем?» - удивилась девушка. – «Надо».

Через неделю у меня был дореволюционный томик Ницше.

Напиваться у нас с Сашкой редко получалось, алкоголь выходил потом на очередном грузовике. Часто они шли один за другим, без перерыва.

Наступила осень. С деревьев, растущих во дворе рядом с ящичками и транспортером, стали падать, кружась в воздухе, листья. Желтые и красноватые, они устилали, едва слышно шурша, двор, а я сидел на ящичке, глядя в синее небо, слегка пьяный, и мне было хорошо и одиноко. Кажется, я так и не слез с него, когда пошел снег.

Снежинки порхали в воздухе и ложились на холодный асфальт, а значит, еще один сезон подходил к концу, и в груди у меня пела печальная труба восторга, а снег то прядал вверх, натываясь на воздушные сквозняки, то плавно смецался вбок целой семьей разнобойных снежинок.

И отчего так смертельно опасно душе, так колко и бездонно, когда суховатый снег идет в замкнутом дворике! Скрипки осени пели в сердце, и от этого тело становилось невесомым.

Вчера я прочитал старинную новеллу одного японского писателя. Там рассказывается о том, что некий знаменитый художник больше всего любил рисовать карпов и вообще рыб. Но рисунки карпов он никогда не продавал. Перед смертью он пошел к реке и опустил все рисунки в воду. И тогда золоточешуйчатые карпы отделились от листов бумаги и, играя, поплыли в глубину.

Иногда мне кажется, что если описание того двора с транспортером погрузить в среду настоящего времени, ступающего, с каждым новым днем до плотности воды, то, может быть, однажды двор, внезапно отделившись от букв и россыпи слов, их, впрочем, не теряя, а лишь изменяя и превращаясь вместе с ними в то, о чем мы все втайне мечтаем, - этот двор поплывет в найденном им новом пространстве, и тогда все вещи и люди в нем, наконец-то, станут тем, чем они так хотели стать, когда я сидел на пустом винном ящике и смотрел на падающий во дворе снег.

ПАМЯТИ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

Уже упоминал о том, что короткие встречи часто оставляют в памяти ту символическую трехмерную фотографию при малой выдержке, которая лишена дальнейших уточнений, обратной связи в результате новых разговоров и впечатлений и т. д., создавая почти геральдический оттиск. Правда, не думал, что следующие воспоминания почти ни о чем последуют так скоро.

Году в 63, кажется, весной, мать спросила меня, не хочу ли я сходить в мастерского Эрнста Неизвестного? Про Неизвестного я знал, что у него неприятности, что он «левак» и формалист. Карикатуру на него я видел в журнале «Крокодил», где был изображен очередной стилиста рядом с каким-то нагромождением форм на подставке. Карикатура называлась «Несусветный автопортрет». Вознесенский тогда еще не написал своего стихотворения, на мой взгляд, отличного, посвященного скульптору, и роман «Ожог», кажется, не существовал ни в каком виде.

Экскурсию организовала Академия Художеств СССР, думаю, что не без прямого участия, а может быть, и инициативы матери, с целью лично ознакомить сотрудников с творчеством крамольного художника. Я не помню, где точно располагалась тогда его мастерская, хоть это и не составляет труда узнать – где-то в центре Москвы. Но узнавать мне не хочется. Мне хочется оставить все, как оно было тогда. Мальчика, который так недавно приехал из Сочи, тот светлый день, немногочисленные автомобили на улицах и вот мастерская. Вспомнил – это была ранняя осень. Первые сухие листья уже начали падать. Внутри помещения стояло множество больших скульптур, темных, но сквозных, что меня сразу же заинтересовало. Еще бы – они не

были тяжелыми, луч света вполне мог пройти такую скульптуру насквозь. Вдоль мастерской тянулось несколько стеллажей, на которых горели чудесные эмалевые распятия – так примерно выглядит под водой морской окунь в луче света, переливаясь фиолетовым, розовым, серебряным. Распятый было много, и не одного похожего. Я ощутил знакомое желание взять такую штуку в руки и больше с ней не расставаться.

- Эта заливка по особому рецепту, - раздался рядом голос хозяина. – Византийская эмаль, секрет утрачен. Но я восстановил технологию. Сам делаю.

Первое впечатление было какое-то весеннее, легкое, несмотря на нежную массивность скульптора. Он был опрятен, как я уже говорил, легок, почти открыт собеседнику и молод. Он был молод для меня, для которого тридцатилетние мужчины казались тогда стариками, и я это запомнил, потому что меня это удивило.

– Не понимаю, почему запретили мою статую Прометея. Обычная статуя. Я сделал ему прозрачную грудь, в которой билось красное сердце, подсоединенное к помпе. Всего-то. Это же литературный прием, обычный. Метафора! Вот Вознесенский пишет: «По лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл» – метафора, правда, фиговая, но его же за нее не запрещают. Мотоцикл по лицу, а тут живое сердце в груди – та же динамика. Нет, говорят, формализм...

Что-то в нем таилось нарядное, приподнятое. Он был обаятелен и мыслил вслух отчетливо – было ясно, что для него не существует мучительных раздумий, что этот человек когда-то что-то трудно решил, и с тех пор он такой нарядный, легкий, свободный, несмотря на угловатость, и пронизательный во всем, а в том, что касается его искусства – абсолютно. В его утверждении была однозначность, расширяющаяся, однако, после первого заявления, как бензиновое пятно на воде.

А я все ходил в своей школьной форме мимо больших распятий, пронзенных солнцем, и малых, похожих на морских рыб, загоревшихся в луче солнца, если на них смотреть, тихо подплыв в маске и ластах к камню, из-за которого они появляются и за который уходят. Я почему-то остался один – из соседней комнаты слышались голоса, а я стоял в роще плеч, ладоней и глаз. Это был странный миг живого одиночества, в единстве с молчаливыми обитателями студии. Мне кажется, тогда произошло что-то похожее на то, как мы брателься в отрочестве с Сашкой Климовым рядом с

сочинским фонтаном, порезав друг другу запястья и отпив по капле крови. Возможно из-за пульсирующего красного сердца, которого здесь не было и которое, упомянутое, здесь все равно ходило и стучало, я брался с эти воздухом и этими камнями, и этой осенней стеклянной пустотой.

- Вот теперь ты посмотрел, - сказал Эрнст, обращаясь ко мне. – Скажи им в академии, что тут нет никакого формализма и ничего страшного. – И вы скажите тоже – обратился он к матери почти просительно. – Тут я заметил, что он все же напряжен, что легкость его была слегка наигранной, что, возможно, он даже был взволнован. Я все прикидывал, попросить на память одного из «окуней» или нет. Но так и не решился. Уверен, что он бы подарил. Да он и подарил всем нам много чего. Включая тот сентябрьский день, в котором ясно было, что сила существует, что солнце светит и что с этим человеком все будет хорошо, как и с его деревьями-распятиями.

И еще я ясно тогда видел, что творчество - это энергия. Такая же, как у дельфина, мотоцикла, распятия или окуня.

Потом, во время написания диплома по Достоевскому, я рассматривал изданное в «Науке» академическое издание «Преступления и наказания» с иллюстрациями - сплошь черно-белые рисунки, кажется, тушью, умопомрачительные, как небесный лабиринт с просвечивающими предметами и главным человеком в центре небосвода. Рисунки эти одобрил Бахтин, и они тогда чудом вышли. Через некоторое время автор уехал в Америку.

В Америке, спустя несколько десятилетий, мой товарищ звонил ему и уже было договорился о встрече, но в последний момент не сложилось. Может быть, это и к лучшему, к играм судьбы, в которой какой-то день остается навсегда единственным.

«ОКРУЖНАЯ»

В конце семидесятых я сидел в подвале с тремя такими же бедолагами в пластмассовых очках и дни напролет сбивал победитовым молотком края цветных стеклянных плиток, которые начинали переливаться и играть светом на сколах. Мы делали мозаику. Комбинат располагался в квартале «Красных домов».

Как-то в обед с одним из работяг по имени Слава мы отправились в

столовую выпить пива и перекусить. Чувствовал я себя неважно, потому что вчера много выпил, и было видно, что Славе тоже хотелось поправить здоровье. Поэтому мы зашли по дороге в магазин и купили вина.

Это была странная пора. Я писал какие-то дикие стихи, но все реже и реже, «тишь заплаканных синих каналов» - было в одном из них, а в другом «бродил гипсовый атлет». С утра я проходил ангаром, заставленным ящиками со эмалью и станками, и спускался в свой цех, слыша громкий голос бригадира, рассказы которого начинались примерно одинаково: «Канал по этапу...». Бригадир отсидел свой срок и любил рассказывать истории с зоны, я так и не спросил, за что он туда попал. Третьего дня он встретил меня радостным возгласом: «Видал! Унитаз лежит, совсем новый. Срочно надо толкнуть и пойти освежиться».

Странное было время. Что-то кончалось, но еще не кончилось. И от этого все сильнее подступала тоска. По вечерам трезвыми мы не бывали. Впрочем, и с утра мы бывали трезвыми редко.

Со Славой мы не то, чтобы подружились, а как-то несколько раз поговорили, о чем, я уже не помню, и не почувствовали между нами большой разницы. Это нас таинственно сблизило.

Когда мы выпили портвейн и запили его пивом, Слава задумался. «Ты Рафаэля любишь?», - спросил он меня.

Я ответил уклончиво, что Микеланджело мне ближе.

В столовке толклись работяги, пахло котлетами и капустой, на столах стояли пивные бутылки. Половина народа была в рабочей одежде.

«Знаешь, - сказал Слава, - я его видел в Дрездене». Я стал слушать внимательнее. Дрезден для нас тогда был чем-то вроде Марса, я и не чаял туда попасть. А вот Слава там был.

- Я видел его Сикстинскую мадонну, - сказал Слава, глядя мимо меня, в окошко.

- И что? Что? - разволновался я.

- Она... Как бы это сказать... Знаешь, когда я встал напротив и посмотрел ей в глаза, я понял, что эта женщина, все простит, - сказал Слава. - Понимаешь?

- все и до конца. Чего бы ты ни натворил. Просто все и до конца, простит и не вспомнит - я это видел.

Красные глаза самого Славы стали влажными. Мы замолчали. Я варуг понял, что мой напарник сказал чистую правду. Не знаю, почему я это понял. Это было время научного атеизма, и в церковь ни я, ни Слава не ходили.

Через несколько лет Слава погиб в результате несчастного случая, а точнее говоря, с сильного бодуна, не выдержало сердце, а опохмелить его на этот раз было некому.

Но пока что мы сидим и молчим, и каждый из нас видит перед собой всепрощающие глаза Мадонны, которую изобразил Рафаэль и которую Слава видел в подлиннике, а я в альбоме.

Мы сидим в духе и истине, за окном осень, мир неожиданно глубок и радостен, и Рафаэль в этом мире – за нас.

Сегодня, спустя много лет, я вышел на остановке «Окружная» и попробовал найти ту столовую. Опознал я ее с трудом, тут все переменялось. Окна бывшей столовой были наглухо задраены, а на дверях висела надпись «Новое измерение». И я подумал, что, возможно, есть связь между тем разговором в несуществующей больше столовой и сегодняшней надписью. Иногда я даже думаю, что мы со Славой еще тогда обладали даром в это измерение случайно попадать. Впрочем, все зависит от того, кто эту надпись читает.

КАШТАН

Я стою у ограды и смотрю, как осыпается каштан, припоминая японское трехстишие примерно такого содержания: «тревожусь, как я буду жить без вас, сливы, когда опадут ваши последние лепестки». Но ощущения не совпадают. Более того, я чувствую в этом уходе, в этой промежуточной смерти что-то изначально-прекрасное, я бы даже выразился еще более интенсивно: фундаментально прекрасное.

Я вспоминаю, как с помощью небольшого буддийского гонга практиковал следование за звуком, отождествив свое тело с тихой вибрацией медной пластинки и наблюдая, как она постепенно затухает полностью, уходя в глубину вещей и событий, исчезая. И в этот момент (я не сразу почувствовал описываемое переживание) на место угаснувшего звука входит праздничная и радостная полнота, какая-то райская полнота всего. Думаю, что это и есть истинная полнота звука: звук может возникнуть лишь тогда, когда он исчезает - тут она, пришедшая ниоткуда, и замещает его, и, если звук всегда немного приближителен, то в этой полноте он обретает несомненность самого себя, свою обратную сторону, идущую в мир примерно так, как в него идет раскрывшийся - на все его горизонты - цветок.

Уход - это не потеря «вещи» или человека, это, можно сказать, его предварительно максимальное явление, осуществление вложенного в него первородного начала, это, если хотите, явление вещи, очищенной и преображенной. Вот что такое смерть. И все то, что ушло с лица земли, из наших жизней, остается здесь «навсегда», заливая пространства земли очищающим светом своего целомудренного присутствия, своего вечного «здесь», среди которого мы ходим, не замечая, и все же вдыхая эту целительную силу «обратной стороны» (а точнее, стержневой природы) вещей и существ и оживая от этого дыхания. Так со всем: с цветком, со звуком гонга, с угасающим днем, прочитанным стихотворением, песней, ушедшим человеком. Они не исчезают, они появляются заново и уже в том «ангельском» качестве, которое всегда было в них, а теперь вышло на свободу, и вы это увидите, если ждете.

Они не уходят – они, на самом деле, приходят.

Бог, действительно, «сохраняет все», но не как оно было, а как оно «всегда есть», т. е. преобразив конечное – в изначальное.

Причем с цветами и добрыми людьми здесь все ясно, но что делать со злыми и подлыми? Хочется думать, что и в тиранах, и в убийцах теплился Божий огонь, и, если там хоть что-то светило к концу жизни, мы это однажды тоже увидим. Возможно, не так быстро, как мы видим красоту опадающего каштана, на который я сейчас смотрю, ощущая, как он, этот огонь-свет, возникает. И я смотрю на него до тех пор, пока кто-то сзади не трогает меня за плечо и не спрашивает тревожно: «Вам плохо?»

Нет, - говорю я темноволосой пожилой женщине с трогательным и озабоченным лицом, - мне хорошо, все в порядке, мне хорошо.

ЛАВОЧКА В ПАРКЕ

Я сижу на лавочке в парке, светит солнце, деревья еще голые, подступает весна с ее будущей зеленью. Я тут после неприятного телефонного разговора, в последней трети тяжелых медицинских процедур, от которых распухает язык и тело охватывает слабость. Я сижу, расстегнув куртку, потому что на солнышке уже жарко и смотрю на все подряд – сухую прошлогоднюю листву болотных дубов, на воробьев и жирных неопрятных голубей, на мамаш с колясками, одна, в очках и с породистым носом с горбинкой напоминает мне мою вторую жену, на энергичных бабусь в ярких куртках и с финскими

палками для ходьбы – как же неприятно они стучат – на детей, хватающих грязную, неопрятную листву и разбрасывающих ее по подсвеченному солнцем асфальту дорожек. И сижу долго, еще не чувствуя, как оседают хлопья восприятия, сбитые этим утром в неопрятные комья пыли, которые я чувствую, как дурное настроение, но не как что-то привнесенное в мою душу и тело, но им не свойственное – просто привычное место, куда они так любят заглядывать, но это не я.

И вот незаметно все меняется. Приходит То. Оно неуловимо безмерно, оно невероятно неопределенно, мягко, увертливо, слабо, неявно, подозрительно... И все же оно – То, без чего ничто невозможно. Ни плитки с голубями, ни лавочки с неприятными людьми, ни шум трамвая за спиной, ни мои грустные мысли по поводу ограниченности и предопределенности всего, что я сейчас вижу.

И я внезапно вижу еще и то, что без Того все эти люди – пошлы, одномерны, неинтересны, собственно гонцы ада, который здесь устроен вполне буднично и в этом-то его ужас. Сами по себе эти фигуры, даже деревья и любимые мной птички – просто ожившие муляжи, просто ограниченные манекены фальшиво претендующие на реальность.

Но каждый из них не сам по себе, даже грязные листья, даже стволы свинцово коричневого цвета без листьев, а только с красно-желтыми мусорными почками. Там, где в бесконечной капле любви, расширенной за все горизонты, таится мое истинное я, а оно сейчас везде, и нет ему ни начала, ни конца, они нащупывают свою родину, источник своего существования, свою большую часть тела, которую мы обычно не видим и которой не интересуемся, потому что она слаба, непригожа и незаметна, невыразительна и сера. Но, соединившись с ней, ад начинает терять свои силы, и То, что пришло, незаметно и бесконечно медленно вытаскивает, а точнее сказать, выводит предметы из их убогой определенности и ограниченности, награждая их вместо предсказуемых мыслей, движений, звуков и почти видимых сквозь лица моторных эмоций чем-то, не имеющим названия, но снимающим пошлость отделенности, убожество конкретности. Все оживает, не изменившись. Имена, еще не ставшие словами, как я думал об этом утром, и меня поразила эта мысль – вот они-то и проявляются сейчас вокруг меня. Я встаю со скамейки и иду домой. По дороге я думаю, как трудно будет выразить все это, когда слова станут словами, а не именами до слов.



* * *

Какие, если бы вы знали,
выдывал я антраша,
пока меня не подковали,
когда бы не балда Левша.

Не по своей – по царской воле
меня в железо он обул.
Я не скачу в припрыжку боле,
зато беру на караул.

Я больше не брыкаю ножкой,
но, если спросит государь,
идя ковровою дорожкой:
А это, что еще за тварь?

Я от восторга замираю,
когда он глянет свысока,
и государю козыряю:
Я – ваша верная блоха!

И, провожая долгим взглядом,
я слышу, как звенит во мне
не то что мускул – каждый атом
в кремлевской мертвой тишине.

* * *

Как в зайце утка,
в ней – яйцо,
так наше царство берендеево
устроено – внутри кольцо,
а за кольцом тем – смерть кощеева.

А по кольцу тому – трамвай
грохочет швейною машинкою,
строчит, обметывает край
меж Яузкою и Неглинкою.

За кругом круг, день из дня
трамвай летит Москвою снежною,
в сиденье жесткое меня
впечатав силой центробежною

Посмертной маске, может стать,
неровня оттиск на сидении
той части тела, что назвать
стыдимся мы.
Но тем не менее.

* * *

Чуть свет явились землекопы
и яму принялись копать,
чтоб корень жизни из утробы
земли, из недр ее достать.

А глубока ль земля? – спросили
мы, заглянув за ямы край.
Бог весть, мы только приступили –
нам отвечал один бугай.

Другой, орудовавший ломом,
и головы не повернул,
но лом ответом был весомым,
что у него в руках блеснул.

Работа спорилась, кипела.
И, начатую, продолжать
беседу смысла не имело.
Зачем, к чему людей смущать?

Сколь глубока земля вернее
спросить у тех, кто в ней лежит,
они ответили б скорее,
сколь долгий путь нам предстоит.

* * *

Хотя двойные стекла окон
все звуки глушат, слышу я,
как бабочка, прогрызши кокон,
выходит из небытия.

Как крылышки ее трепещут
и усики ее дрожат,
и глазки маленькие блещут,
чего-то ищут и хотят.

И это – не воображенья
игра, не солнечных лучей
в оконных стеклах преломленье,
не мельтешение теней,

но кажется – невероятным,
как сон, что крепок и глубок,
где языком, пусть непонятным,
но говорит с тобою Бог.

* * *

Бугристой сделалась дорога.
Я поскользнулся и упал,
и, не сумевши встать, немного
на льду весеннем полежал.

Кружились галки надо мною,
как хлопья сажи из печи,
вдруг в небо взмывшие гурьбою.
А, может, были то грачи.

Как хорошо быть не убитым
прицельной пулей, иль шальной,
не быть лопаткою забитым
саперной – с ручкой небольшой.

А мыслить, чувствовать – об этом
я думал, лежа на краю
дороги рядышком с кюветом –
Как хорошо не пасть в бою,

в котором Пушкин упоенье
мечтал однажды ощутить,
поскольку не имел терпенья,
как мы – в нужде и рабстве жить.

* * *

Выскочит анчутка из коробки
и пойдет страшать нас и дурить,
но его назад нажатым кнопки
я легко сумею возвратить.

Засажу его обратно в ящик,
где таких, как он, полным-полно –
без конца рычащих и визжащих
кто про что.

Не все ли нам равно.
Мы наденем куртки пуховые,
мы надвинем шапки на глаза –
теплые ушанки меховые.

Снег хрустит, на ветках серебрится.
Заяц проскакал, а вслед за ним
рыжевато-бурая лисица
заструилась, как по снегу дым.

* * *

День физкультурника и только!
Мороз и солнце.
И каток.
И, как поджаристая корка,
хрустящий на зубах ледок.

Я помню каждую подробность,
деталей массу, мелочей –
такого рода дальнозоркость
природе свойственна моей.

Сомнений нет, что память может
обратной силой обладать,
когда минувший день тревожит
дню настоящему под стать.

Пускай и больно, и досадно,
но и забавно, и смешно

жизнь проживать свою обратно,
назад прокручивать кино.

И в одноклассницу влюбиться.
И, встав впервые на коньки,
упасть на лед и в кровь разбиться,
да так – что сотрясти мозги.

* * *

Сквозь тюль мы видим очертанья,
но нам людей не разглядеть,
как птиц, чье слышим щебетанье
мы сквозь дождя густую сеть.

Но сквозь стекло, сквозь занавесок
полупрозрачных кружева
на нас глядят, как с древних фресок,
неведомые существа.

Их лица ангельски прекрасны
и омерзительно страшны.
Те существа скорей несчастны –
унижены, оскорблены,
чем счастливы.

И с чашей полной
их жизнь сравнить никак нельзя,
хоть и живут в Первопрестольной,
неподалеку от Кремля.

* * *

С тревогой ждем дурных вестей.
Тревога в воздухе витает
и в угол загнанных людей
в дрожащих тварей превращает.

Но те, кто нас задумал взять
без боя - голыми руками,
пусть знают, можем обладать
мы и зубами, и шипами.

Так ящерка, отбросив хвост,
кусает палец,
кроме шуток –
на птицелова певчий дрозд
спешит опорожнить желудок.

И до последнего червяк
за жизнь свою готов бороться,
что подтвердит любой рыбак,
когда средь вас такой найдется.

Средь приозерных мужиков,
в искусстве ловли преуспевших,
душ человеческих ловцов,
изрядно в том поднаторевших.

* * *

Канючил, клянчил, умолял
позволить мне еще минутку
поспать,
но чайник уж свистал
пронзительно, как боцман в дудку.

Для счастья полного порой
толики малой не хватает,
а тут курносая с косою –
ухватит и не отпускает.

Старуха в двери – ты в окно:
Повремени чуток по дружбе,
дай мне мгновение одно!
Нет – отвечает – Я на службе.

Как стрекоза и муравей,
мы препираемся без толка.
Тебе – обидно до соплей.
А у курносой – чувство долга.

* * *

Мир – огромен и прекрасен,
словно город над рекой
в окруженье стройных башен.
А война – дыра дырой.

В этом темном захолустье,
что не стоит добрых слов,
ищут там детей в капусте
среди мокриц и слизняков.

Бабы в том краю – солдатки,
а солдаты, их мужья,
полегли в кровавой схватке
за Россию, за царя.

Только знаю, у России
ни желания ее,

ни согласия не спросили,
их поставив под ружье.

Как не спрашивали прежде
о подобных пустяках,
принуждая жить в надежде
робкой, в призрачных мечтах.



**ИСПОВЕДЬ ЛЮБИМОГО ПАСЫНКА ВЕКА:
РАННИЕ ГОДЫ**

Вот (любимейшее слово, так бы с него начинал каждую фразу) и настало время подводить итоги жизни, подбить бабки, как мы цинично говорили когда-то, по крайней мере, начать. Не в том смысле, что пора писать мемуары: мемуарист из меня так себе, поскольку я никакой бытописатель. (От быта всегда тянуло в какую-то соседнюю или боковую реальность, где он не так плотен, отчасти фантастичен). Я уже когда-то написал о родных людях, как умел, не в событиях или поступках, а пропущенными сквозь мою душу, писал и о родных пространствах в Учебнике по географии моего детства, названном «Ключик», который мне раскрыл некоторые потайные дверцы; теперь постараюсь написать о себе непосредственно. Не страшно, коль где-то и повторюсь: жизнь все же едина, как и единственна (а также возвращу себе события жизни и чувства, прежде отданные тому или другому своему герою). Мое время сейчас стало особым – сменило вектор, тем будто спутав

прошлое с будущим. Теперь словно не идешь встреч будущему, а пятишься назад, спиной к роковой дате, которой может стать любая. Зато прошлое видней, оно уже не тянется шлейфом, а будто предстоит. Моя нынешняя память становится всё равнодушной к повседневным мелочам, зато более цепкой к прошлому, стараясь там уловить поворотные вехи. Не так это просто, поскольку судьбоносной подчас становились не событие, не поступок, не какой-либо яркий жест, а легкое веянье тайного смысла, упущенный или, наоборот, счастливо найденный поворот на едва заметную тропку. Так и приходится нынче идти навстречу времени, наперекор направлению его стрелы, всегда прицеленной тебе в самое сердце. Красиво сказано, но путь не столь гладок, редко бывает прям, но к тому же весьма ухабист. Даже теперь, в поздние годы, бывает искушение не противиться току времени, не идти ему наперекор, а покорно влачиться как прелый осенний лист по асфальту. Тоже слишком красиво сказано, надо б постараться, чтоб было поменьше столь быющих в глаза метафор.

Давно, лет двадцать назад, я написал текст (не разберешь какого жанра), названный «Янус»¹. Я так и не отважился его обнародовать, - да и не уверен, что нашелся б издатель. Слишком уж он своеволен и герметичен. Много лет я даже не решался его перечитать, а теперь отчего-то захотелось. За эти годы он стал еще более замкнут в себе, даже и мне самому полупонятен. Однако он оказался для меня пророческим, словно предвестием моего нынешнего состояния. Сюжет (если это можно назвать сюжетом) таков: у человека на затылке вдруг, сначала мелким болезненным прыщиком, прорезается будто бы брат-близнец, мягое младенческое личико. Так он стал двуликим Янусом, один взгляд которого направлен в будущее, другой – в прошлое, причем, особым образом: «Вдруг отдаленное прошлое становится огромным и тогда - незначительным будущее. Иногда ж дальняя точка будущего начинала маячить перед самыми глазами. Вдруг былая опасность накатывала на него как действительная угроза. Иногда ж трагедия будущего казалась ему уже свершившейся. Тогда прошлое грозно маячило впереди, а будущее виделось милым как ностальгия. Это был странный, асимметричный Янус». Там еще сказано, что «...взгляд близнеца был вперен в трагедию рождения, Янус же устремлялся к трагедии смерти вся его жизнь - гребешок двух слестнувшихся волн, налетевших друг на друга из прошлого и будущего». В его сознании

происходило именно та путаница времен, о которой я помянул. Далее следует рассказ о его странствии в обществе двух людей, точней даже, вымышленных образов или фантазмов: мужчины, который почему-то назван Лекарем (впрочем, если двухголовость болезнь, нужен и врач), и женщины, вольно менявшей возраст, внешность и душевные свойства, - о ней сказано, что она «нежна, как любовь или смерть» и «умела расцветать и вянуть мгновенно, без повода времен года». Так вот: в подоплеке этого загадочного даже теперь и для меня ребуса явственно чувствуется фактура моих ранних воспоминаний. Станным образом, тот нелепый Янус переплетается с моей нынешней исповедью. В нужных местах буду его цитировать, ибо в чем-то его хоть и затуманенный удвоенным зрением взгляд свежей моего нынешнего, притом, что в ту пору я еще не до конца растратил свой литературный дилетантизм, о чем скажу позже.

Перечитал начальные фразы: «будто», «словно», «будто бы»... Слошные уподобления как бы намекают на метафоричность и сомнительность нынешнего бытия. Уверен, что и дальше будет обильно всевозможных уподобительных слов, коли мое бытие стало полупрозрачным, поскольку быт уже не так навязчив, цели не так насущны, будущее не манит, а прошлое саднит все больше (почти как близнец-прыщ на затылке) и требует к себе пристального внимания. Жизнь почти обратилось в какое-то марево, сквозь которого мерцают образы неких истин, которые, однако, не постигнуты до конца, а, может быть, и непостижимы вовсе, - за прожитые годы я успел познать тесные границы любых постижений. Как, наверное, все или многие, я ребенком себя не представлял в поздние лета, - ну, тридцатилетним еще мог, но не дальше, притом, что все важнейшее в моей жизни свершилось уже позднее. Так что теперь пребываю в, что ли, незаконном для себя возрасте, который осмыслить пока не выходит, - да и он стремится к еще более глухим годам. Надо сказать, что сама эпоха способствует воспоминаниям: она вновь застойна, как болотная тина, тягуча, будто кисель похожий на длинную соплю, что нам давали в школьной столовке, и также мутна, потерявшая образ, и даже самопонимание, лишенная своего гения. Эпох, что я назвал «нулевыми», мне пришлось пережить несколько. Я считал их теми пустотами, на которых история выбивает свою барабанную дробь, подчас оглушительно. Даже себя воображал чуть ни специалистом по безвременью, свою первую повесть (не повесть, конечно, а буйный выплеск мыслей, скопившихся за тридцать лет

существования в мире) так и назвал «Ноль»: очень разумно было начать с нулевой отметки. Но ведь тогда понял, что эти ноли не бескачественны, ибо в них всякий раз вызревает наинovelшая новизна с ее неожиданным смыслом, потому они по-разному томят душу. Вот и нынче в этом овале бьется словно пойманная птичка зыбкое, неуловимое «сейчас». Пытался я много позже отыскать «гения современности» (так и назвал повесть или нечто в этом роде), но, если он мне в какой-то мере и дался, то никак не в органике, а, разве что, его внешним обликом, собранным с помощью выдуманного художника от многих по чутьчке, так до конца и не решив, привело ль моего очередного бумажного героя его обречение к гибели или же к возрождению.

Ну вот, начин есть. Написал примерно, что хотелось. И то хорошо. Писать точно я так и не научился и теперь уж вряд ли научусь. Никогда не верил, что мысль существует лишь в слове, а музыку жизни, которая подоплека и слов также, мне удавалось передать чересчур приблизительно, как я в детстве тербил одним пальчиком пафосный концертный рояль каким-то случаем попавший в мое детское жилище, там захватив чуть не половину жизненного пространства, пытаясь воссоздать услышанную мелодию, - о нем я, наверно, еще скажу пару слов. А пока не буду сетовать, что дар Божий будто б неполноценен, и такого-то вряд ли заслуживаю.

Названия сочинений мне даются легко. Обычно возникают в процессе письма и намертво прикипают к тексту. Но тут заголовок возник заранее. Этот пасынок, разумеется, я, поскольку никогда не умел всерьез увлечься кем-либо другим, как и даже самым ярким экзотическим бытом, каким-либо повествованием или событием. Такого рода эгоцентризм не считаю постыдным, ибо все, что писал, хоть и во внешне прозаическом облике, но всегда считал лирикой (хотя, странным образом, моя жизнь мне подчас представляла в эпическом облике), которую где и почерпнуть, как не в себе самом. Никогда мне не удавалось выпрыгнуть из себя самого, - увы или к счастью – хотя и старался в своей неумной тяге к недостижимому совершенству. Наверно вот почему имена героев мне даются трудно: всегда честно старался подобрать достойное имя, но ни разу не удалось, любое к ним не прилипало, казалось ложно вымышленным, случайным и недостоверным. Так все и остались безымянными. Ах нет, вспомнил: одному таки дал имя Архип, как наверно, самое дурацкое и мне чуждое. Да и оно было, в общем-

то, совсем необязательным в той повести о вовсе безымянном, уклончивом духе.

Любое выдуманное имя мне казалось ложным, потому всегда пишу от первого лица, частично наделяя героя собственными качествами. Наверно, честней было это оставить никак не оформленным выкриком. (Только к кому обращенным? По сути, ни к кому, в никуда, но все-таки в надежде, что его хоть кто-то услышит. А может, это оклик, обращенный к самому себе. Этот мой текст, по сути, такой же выкрик с той же самой надеждой. Можно было б сказать, что также и оклик другим пасынкам века, но знаю по себе, что они глухи к чужому слову, замурованные в собственном чувстве, увлеченные лишь своей собственной мыслью, озабоченные только своей личной судьбой). Однако я все ж пытался его вписать в изобретенный сюжет (впрочем, не стараясь попасть в какой-либо жанр и сторонясь текущей литературы), что мне давалось с трудом, но это была не только вынужденная дань литературе, необязательное обрамление, но и способ чуть отмежеваться от субъекта письма, то есть взглянуть на себя сколь возможно со стороны. Когда писал (сейчас пишу) о себе самом это все-таки не от первого лица, а, скорей, от полуторного.

Этот пасынок, разумеется, не я целиком, во всем объеме. Понятное дело, коль обычный человеческий объем, знаем, потенциально почти беспределен – со всю вселенную с ее настоящим, прошлым и будущим даже если сама личность норовит забиться в какой-нибудь пыльный закуток. Да и вообще, это не совсем я, не в полной своей самости, а все ж и «некий пасынок», с очень похожей на мою судьбой. Я буду о нем свидетельствовать, припоминая бывшее в нескольких важных для себя вехах, ибо, как уже говорил, настало время взглянуться пристальней в прошлую жизни, которая сейчас кажется невероятно, почти утомительно долгой. Притом, вовсе не хочется производить саморезекцию, выставлять наружу (даже и себе напоказ) свои внутренности, неэстетичные кишки, весь смрадный ливер, хотя не отрицаю, что потребности тела неотступны, и его приключения становятся роковыми, придавая нашему существованию не только живой терпкости, но и подлинного трагизма. Это общее место. Как и то, что жизнь любого из нас, даже чистейшего, приправлена скабресными мечтаньями (это еще в лучшем случае). Я в качестве пасынка века, конечно же, буду самосотворенным литературным образом, который постараюсь сделать,

сколь удастся, достоверным, то есть как можно более самим собой, теперь не прикрываясь вымышленным персонажем. И пожалуй, не стану забираться чересчур глубоко в психологические дебри, где находки сомнительны и немудрено там заплутаться.

Литературная исповедь всегда лукава, но постараюсь избежать невольных фальсификаций и лучше или хуже скрытых самооправданий, хотя в самооправданиях достиг немало мастерства, притом, что при достаточном самомнении и почти что волюнтаризме вину за шероховатости моей жизни не склонен списывать на обстоятельства или тем более на чью-то злую волю, - целиком беру на себя. Но такая уж у меня требовательна совесть: надо от нее постоянно отбрехиваться, - всё норовит уколоть (особенно по утрам, как только проснешься, паче того с похмелья), отчего-то напоминая стыдные мелочи, второстепенные жизненные огрехи, а не действительно важные проступки. Да, честно говоря, в последнее время уже устал с нею спорить. Теперь мало того, что склонен соглашаться, готов любую вину даже еще и внутренне усугубить. Такой странный эффект начала моих поздних времен, где я вообразить себя не мог не только в детстве-юности-молодости, но и сейчас-то с превеликим трудом. (Уже сказал, что никогда себя не умел представить в столь почтенном возрасте, - удивительная, надо признать, непредусмотрительность, но свойственная, как показал мной однажды проведенный блиц-опрос, многим любимым пасынкам века. В детстве я простодушно считал старость стариков их будто бы врожденным свойством, а свою жизнь всегда предполагал движеньем от возможных упадков к очередному расцвету, и вот теперь медленно – хотелось бы сказать, торжественно, - врываю в незаконную для меня старость, эпоху отчасти героическую, по крайней мере, открытую героике, которая, возможно, сулит обретенья, но неведомые, невиданные и, конечно, неожиданные, - только б их не проглядеть, очень уж те специфичны и совсем лишены блеска. Да, хотелось, чтобы торжественно, но моей жизни не свойствен пафос, она постоянно кривится какой-то дурной усмешкой к ней приبلудившегося проказливого бесенка, - а что делать, коль существование человека в мире во многом комично?) Что это - род отрезвления от похмелья более ранних лет, тяга к начавшей ускользать реальности, когда все котурны прочь, все иллюзии побоку? Но ведь опять выходит преувеличение, перекося теперь уже в обратную сторону.

Почему же своего героя, который отчасти я, отчасти полувывмышленный объект-субъект, почти для меня равный прочим насельникам сего мира, назвал «пасынком века»? В полной мере сыном века я себя никогда не чувствовал. Бывали, правда, краткие периоды моего почти полного совпадения с моим веком, когда он охотно принимал меня, даже словно б во мне нуждался. Но затем вновь меж мной и веком пролегла полоса отчуждения, даже точней, не полоса, а будто прозрачный экран, где я – по одну сторону, весь мир – по другую, однако не целиком достоверный: невесть откуда льющиеся воздушные токи, многоцветные флюиды, подчас искажали картинку, обращая мир в почти домысел, украшенный моей фантазией. Иногда ж тот экран и вовсе покрывался будто холодным потом, испариной ужаса, и тогда ничего было не разглядеть сквозь запотевшее стекло, – оставалось лишь угадывать и догадываться. Даже странно, что догадки нередко случались и верными.

Почему ж тогда «любимый»? Может, это преувеличение, больше надежда, чем уверенность, но я никогда не чувствовал себя и отверженным, напротив будто б испытывал какое-то вялое к себе благоволение даже самых неудобных для меня времен. (Да и сам-то я испытываю к жизни почти то же чувство. При своем перфекционизме мог бы ее возненавидеть за вопиющие, откровенные несовершенства, но нет. Даже признаю, что в целом к ней неблагодарен. Ведь она так изобильна, полна ненавязчивых даров, к которым только протяни руку, но не протягивал, ведомый то ль судьбой, то ль каким-то упрямством, предписывавшим именно такой, а не какой-либо иной путь, редко и ненастойчиво размышляя кто или что именно на меня возложило столь неизбывную жизненную задачу). Видал я пасынков, напрочь отвергнутых веком, изгоев своего времени. Это не про меня. Но и таких вот любимых пасынков знал и знаю во множестве. (Приятно было б думать, что мы тайный резерв человечества, его неприкосновенный запас на случай очередного кризиса мысли и упадка чувства). Выходит, упрощенный и уплощенный в этих записках, я своего рода типаж, – слишком туг много от правила, а не исключения. Поэтому я не лишь сам по себе, а отчасти эпоха. Верней, множество эпох, накатами волн промывавших мою душу (гуманное и выспренное понятие, но лучшего слова до сих пор не придумано, в этих записках его употреблю еще многократно), – а сейчас вот увяз по уши в очередной, ничем не вдохновляющей. Так что эта исповедь,

думаю, представляет также исторический или, верней, культурологический интерес. То есть она не лишь только лирична, это в какой-то мере эпос. В моей исповеди я, как уже сказал, отчасти просто пасынок века сего, аноним, подобный моим прежним героям, каждый из которых одновременно и я, и не я целиком. Надеюсь, что кто-то из таких же пасынков опознает нечто свое в этом отчасти обобщенном образе. Все ж, надеюсь, это будет больше лик, чем личина. Надо постараться, хотя лик всегда ускользает, как и эпоха чаще скалится своей личиной.

С чем же я, любимый пасынок, подобный многим другим, пришел к началу своих осенних лет? Много знаний, от которых, как и должно, больше печаль, чем радость. Множество пониманий, объяснений, ракурсов, полная оснащенность интеллектуальным инструментарием, который, однако, не складывается в единое миропонимание, да и чувством не охвачен целиком. То есть, мир смотрится лоскутным, нецельным, делится на аспекты и ракурсы, что безусловно снижает его общую ценность, как теряет свою цену разбитая ваза. Приобрел, конечно, и некоторые умения, как например, способность вилять иль, помягче скажем, довольно умело лавировать среди жизненных обстоятельств вопреки врожденной прямолинейности. Пришлось научиться, этому жизнь обучит даже и самого тупого к ее урокам, а уж тем более своего любимого пасынка.

Ну еще появился, с годами упрочился навык письма. Так ли это хорошо? Прежде я тут предпочитал дилетантизм, презирал благополучное, хорошо разученное письмо, его презрительно называя беллетристикой. Сам я даже упиивался собственным дилетантизмом, когда среди хаоса едва ль ни случайно подвернувшихся под руку слов удавалось ухватить нечто точное и для меня важное, что я торжественно именовал перловицей. То есть ее полагал не лишь для себя обретенной ценностью. Так ли это было, действительно ль в ней таилась жемчужина? Тут невозможна объективность, - не только моя личная, но и всеобщая, но точно, что не вонючая слизь. Для меня ж самого доказательством ее драгоценности служила вдохновенность поиска – до сердцебиения, до головной боли, до потных ладоней. В счастливые минуты слова изливались бешеным потоком, будто самим напором утверждая свою истинность. Я упоенно пер по бездорожью нашего изобильного и безбашенного языка, наугад шарил рукой в болотной мути, подчас испуская

истощный вопль, то ль отчаянья, то ль восторга. Рождавшийся текст будто стирал душу до кровавых язв, я начинал к нему испытывать омерзение, - потом никогда не решался перечитать написанное (только с «Янусом» вышло не так). Короче говоря, это занятие было всем чем угодно, но только не беллетристикой. Присутствовала в нем одновременно и добросовестность, почти что одержимость, и беззастенчивость. Нечто было стыдное в столь истерическом стремлении к истине, как ей полагается, нагой, чему следствие - обнаженное письмо, почти без покровов сюжета, не подытоженного, хоть бы мнимо, какой-либо моралью, не увенчанного никаким выводом и вообще безо всяких реверансов литературной вежливости. Именно, что нулевая литература.

Потом, увы, случилось, что и должно было случиться: порыв стал облекаться чуждой ему формой, коростой литературности, иссяк благодатный дилетантизм; исподволь, вопреки желанию, приобретенный навык укротил параноидальную тягу к открытиям. Сформировавшийся навык так и норовит сбить, толкнуть на уже проторенный путь, - еще хорошо, что мною самим, а не другими. Трудно избавиться от обволакивающего образа уже во мне обжившегося героя (я как-то назвал его «бумажным героем»), который норовит подхватить мою руку и уже сам выводить на листе каракули букв (почерк у нас обоих мерзкий). Не скажу, что он чем-то плох, и, разумеется, мне вовсе не чужд, ибо мое порожденье, но все-таки это не демон и не ангел, слишком явственно он внутри себя шуршит бумагой и сам творит бумажный мир: мне однажды было дурацкое виденье, мной запечатленное во всем тогда еще не сгинувшем дилетантизме в той самой сказке про Архипа и безымянного духа – мир из слюней, соплей, хлебного мякиша и жеванной бумаги, весь провонявший целлюлозой. Этот герой с некоторых пор будто сдерживает мою руку, чтоб не вырвалась вперед меня туда, где смертельный страх и страстная надежда, где Божий дар и дьявольское искушение (могу это назвать лишь патетичными словами, которые тотчас готов высмеять мой лукавый бесенок), где в донном иле вырезают мною не найденные жемчужины. Стараюсь ускользнуть от столь навязчивого героя, пытаюсь писать вперед себя, но тот преследует, старается настичь, овладеть пером, то есть шариковой ручкой. Я, как могу, увертываюсь, так и бежит рука наперегонки с преследующим героем. Раньше оголенная душа будто влачилась по листу, оставляя корявый след, теперь же трудно бывает до

нее докопаться: ее кличешь, а она не всегда выходит навстречу, бывает, что прячется в потайной закуток. (Это я не совсем точно выразил, но точнее не вышло).

Но, вообще-то, письмо дело благословенное. Никогда себя не считая собственно писателем, но уж не знаю, чем бы другим я занимал избыточное время, куда щедро вливается скука, а главное, чем бы заслонялся от несовершенства жизни, а главное, от ее однолинейности, что ли, однозначности проживания. (Да и вообще, если старость меня со временем вовсе изведет на нет, надеюсь остаться хотя б на кончике своей шариковой ручки). Любой ведь писака, не важно талантливый или не очень, понятное дело, способен многократно «проигрывать» свою жизнь, ее как можно обогатив – не упуская альтернативы, боковые пути, то есть будто устраивая парад всех упущенных возможностей, тем ей придавая почти бесчисленное количество измерений, этакий суперобъем. Строгая однозначность событий, их неуклонная пригнанность одного к другому, при многочисленности развилок, уверен, любого тяготит. Выходит, что из разливанного моря жизни, щедрого на добро и зло, на восторг и ужас, всякому из нас остается лишь узенький фарватер сбывшегося. Потому я как-то написал, что всей человеческой жизни, по крайней мере, на которую не выпало ни суммы, ни тюрьмы, ни войны, не хватит не только на симфонию, но и на кратенькую сонату, - примерно так написал, точно не помню, но смысл такой. (Впрочем, смерть выпадет каждому, любой из нас будет удостоен трагедии). Лучше б мне стать композитором, но не судьба при полном отсутствие слуха, притом, однако, с влечением к музыке и, надеюсь, глубинным ее пониманием, то есть самой ее души, чему музыкальный слух, как я верно когда-то сообразил, мог стать даже помехой. Мой Янус пару десятилетий назад напомнил Лекарю, что «людская жизнь – совокупность множества сюжетов, и человек не склонный к самокопанию, каких большинство, в каждый миг живет одним из них, а не всеми сразу. Избирательная память смывает лишнее. Мало кто умеет расслышать целиком симфонию жизни».

Свою собственную жизнь я неблагодарно сузил, отверг множество ее даров, по причине, думаю, своего эгоцентризма, необходимого, как говорил, лирику. Родители и вообще учительствующие меня с детства (не с раннего, когда я был всеобщей радостью, а когда уже достиг возраста критики и

всяческих придирок, называемых воспитанием), меня обвиняли в эгоизме. Так застыдили, что эгоизм я постепенно изжил, если им называть тягу к самоублажению. Однако эгоцентризм всегда будто стягивал мою жизнь ко мне самому, создавал словно кокон мною постигаемого и, как полагалось, необходимого, остальное выводя за скобки. Это вопреки всегдашнему любопытству: я хотел знаний, но, что ли, отвергал возможности. В этом присутствовала некая туповатость при все-таки некоторой живости ума.

Кажется, я уже заболтался, что мне в общем-то несвойственно, ибо неупорен в мысли и неустойчив в чувстве, склонен к апофатике, не к схоластике, хотя и последней не совсем чужд. А также во всем ленив (несмотря на свойственные как раз лентяям редкие вспышки трудоголизма), хотя, притом, довольно-таки любопытен. И все ж люблю красивые слова, иногда готов их множить бескорыстно, сколько б их не высмеивал мой ироничный бесенок, не мэфистофель отнюдь, а какой-то проказливый чертик. Поганое, конечно, создание, сбивающее бытие из трагедии на трагифарс, но без его иронического зубоскальства жить было бы еще труднее. Если к жизни относиться с полной, утрюмой серьезностью, можно было б сразу повеситься. Это, конечно, спорная, слишком хлесткая мысль, но так иногда кажется.

Но пора сделать рывок встреч времени в самое раннее мое младенчество, низойти иль наоборот взойти к истокам. Путь не близкий, поскольку память моя протяженна – упирается в самые начальные годы. (Притом, учитывая развившуюся в последнее время дальноркость, дальней и давнее видится лучше, чем то, что под носом). Подчас мне даже казалось неким тактильным чувством, что моя память захватывает и внутриутробное существование, как пребывание в уютной, родной субстанции, - но нет, такого наверняка быть не может. В этот период формирования тела сквозь все фазы зоологического развития, начиная с хвостатого сперматозоида, по внутренней длинноте равной всей эволюции человечества от амебки до человека (не исключено, что этот длиннотный зоологический путь, куда не проникает наша память, и есть почти вся человеческая жизнь; оставшаяся же только ее кончик, уточнение деталей), себя верно или нет, считающего перлом творения, где ж пребывает душа, в какой миг она заводится в этой самосозидающейся личинке иль она ей предсуществует? Знаком с некоторыми теориями на этот счет, но в них углубляться не буду, однако любопытно, когда именно в этом комочке плоти

зарождается судьба? Ведь я уверен, что ведом судьбой, поскольку все явления моей жизни всегда намекали на собственную неслучайность.

А вот самую кромку, самый рассвет жизни я почти уверен, помню, как адскую муку души, в ее только зачатке ничем не защищенной. Будто даже слышу истошный крик, с которым я выплеснулся в жизнь. Любопытная деталь, которую от меня не скрывали: я родился с петлей на шее из перекрученной пуповины, едва не задохшимся, уже посиневшим. То есть, вроде как, был превентивно приговорен к казни через повешенье, но все же помилован. Может быть, этот начальный ад с накинутаой петлей причина того, что моя жизнь всегда противилась окончательному благополучию, но помилование ее заряжало неиссякаемым оптимизмом. (Я и теперь оптимист, верю, как и раньше, что хмурое «сегодня» когда-то ведь закончится и наступит «завтра» со своими радостями, горестями и прозрениями. Только доживу ль до следующего утра? Верю, что грядет не один еще расцвет жизни, пусть я буду уже к нему не причастен). Тут открывается просторное поле для всяческой психоаналитики, включая индивидуальную. Именно здесь можно было б найти при желании исток иррациональных страхов, постоянно бдящей тревоги и одновременно всегдашней надежды на благополучный исход, помилование. (И мой Янус в какой-то миг понял, «что его близнец еще не отряхнул с себя ужас рождения, не отогнал грозных видений вхождения в жизнь, которые - прообразы всех трагедий»). Да и вообще разнообразных вывертов характера. Притом, оказалось, что мне повезло дважды: перед моим рождением у мамы был выкидыш, иначе б мне и вовсе не родиться. Такая счастливая для меня и несчастная для другого случайность будто свидетельствовало именно о неслучайности моего явления на свет (см. выше: это ли не судьба, предварившая мою жизнь еще до зачатия?), утверждала мое полное право существовать в этом мире, и даже накладывала определенную ответственность ее прожить и за того, нерожденного. Впрочем, и об этом судьбоносном факте я много не размышлял и не делал из него слишком глубоких выводов. Только изредка о нем вспоминаю и сейчас вдруг припомнил.

Не знаю, может, и не стоило взрослым мне сообщать о перехлестнувшейся пуповине (помню об этой едва не случившейся беде они говорили даже с некоторым юмором: мамы записки из роддома называли «репортажем с

петлей на шее). Однако не скажу, что этому факту я придавал когда-либо излишнее значение, видимо, даже его недооценивал, - да и всегда был достаточно трезв, чтоб не прозревать в любом событии жизни какой-либо горней (или хотя б горизонтальной) символики или провиденциального намека, что всегда считал пошлостью, притом, что старался уловить ее судьбоносные лейтмотивы. А ведь мог бы придать даже и символическое значение тому факту, что я родился на самом излете тирании, как раз в ту пору, когда мои близкие (по крайней мере, трое из них) были, по сути, приговорены к смерти, но помилованы историей (тоже приговор и помилование), а также всеобщей биологией, которой подвластны также и тираны. Недаром, смерть мне всегда виделась угрюмой, траурной, но и милосердной матушкой, вроде черной подкладкой моего бумажного героя, однако отнюдь уж не пахнущая целлюлозой, и вовек не сбивающая перо (или шариковую ручку) на путь банальности или же самоповторения, а наоборот, избавляющая ото всяческой литературы. Вот как оно выходит: жизнь - мачеха, хоть и не слишком злая, а смерть - родная матушка. «Смерть не идет на сделки даже с великими мудрецами», написал я как-то, а прочит она даже и не удостоит переговоров. Но письмо, как таковое, не попытка ли с нею договориться? Не я первый это заподозрил, но возможно, не у всех так.

Итак, слабо, но все же помню, как я был выплеснут в жизнь, соответственно, и в будущее смерть также. Точней, помню ад первичного вживанья в мир и приживанья к миру. Надолго ль он растянулся, разумеется, не скажу, ибо тогда время для меня было не слишком-то времяящим, а неторопливый в ту пору миг наверняка мог тянуться почти беспредельно. Я выпал в единое цельное время раннего детства, пока еще не распавшееся на секунды, часы и месяцы, и полностью личное, без влияния хоть сколько-нибудь отдаленных событий. Это много позднее тяжба со временем стала едва ль ни основной драмой моей жизни. Эпохи наезжали одна на другую, набив историю до тесноты, и к каждой из них надо было примениться, освоиться, что пока в результате удавалось. А чистое время витало словно поверх, иногда чересчур свободное, - оставалось лишь подсчитывать пустые мгновение. Понятно я сказал? Видимо, нет, но точней не сумею. Может быть, понятней сказано про Януса: «...он был одновременно и скороспелкой, и тугодумом. Быстро схватывал жизненные ситуации, но мучительно в них вживался. Это было верно и для мгновенных, и для столь протяженных, как исторические эпохи

или возрастные периоды. Он бодро ворвался в детство, а потом мучительно изживал его годы, так и не изжив. Он, было, вольготно расположился в юности, а потом долго влачил ее труп за собой. Янус уже знал, что, наступит миг, и его станет отторгать зрелость, или, лучше сказать, средний возраст, коль нет ни плодов, ни колосьев. Он предвидел, что радостно встретит, наконец, наступившую старость, а потом познает всю ее тоску и бессилие. Янус успел догадаться, что вся огромная ситуация жизни для него развернется согласно неумолимому закону его души. Даже увлекаясь шахматами, он был силен в дебютах и окончаниях, но почти беспомощен в миттельшпиле. Нет, вряд ли это ясней, тем более, что тут присутствует домысел о еще и теперь не наступивших годах.

Поэтому вернусь к мигу, предшествующему моим временам, с которого и началось мое счастливое детство. Я точно запомнил конец своего начального, как выяснилось, невечного ада, обозначенный мыслью у меня, должно быть, самой первой: «А жизнь, вроде, не так уж и плоха». Выходит, слов еще не было, но мысль появилась. Ну, может, и не мысль в полной мере, но совершенно определенное, не забытое и незабываемое чувство, к которому я много позже приискал слова. А ведь тогда даже и не знал, что я это я, и уж, разумеется, не имел понятия о своем телесном облике, был всего только чувствующей личинкой, но все ж каким-то образом умевшей суммировать свои первые ощущения. Вряд ли я подозревал, что на свете не один, что мир полон неких существ или, допустим, чужих воль, меня опекавших, но и мучивших необходимыми младенцу процедурами, - иных субъектов будто и не было, а жизнь происходила самопроизвольно, которая, оказалось, не так уж плоха.

Теперь тот мир моих ранних месяцев, который я был готов, если и не полюбить, то с ним примириться, мне кажется незаселенным: не могу припомнить ни человеческих образов целиком, ни рук, меня касавшихся, ни ласковых слов ко мне обращенных или хотя бы нежных созвучий. Как не помню собственной жизнедеятельности, к которой почти и сводится любое начальное существование: насыщений и испражнений. Не запомнил чувства материнской груди, что потом обернулось первой маминкой на меня обидой. Зато явственно помню огромное окно прямо перед собой и павший на пол светлый ромб от него. Впрочем, это большое, почти во всю

стену окно в моей детской комнате еще долгие годы ласково маячило перед моими глазами, - особенно ярко солнечным утром, когда в падающих от него косых столбиках света уютно вились пылинки, - сделавшись на всю жизнь будто символом уюта и домашнего покоя, хотя далеко не всегда наш дом оставался уютным и покойным. Но для меня, понятно, он будто находился в самом центре мироздания и его родной запах был для меня лучшим из всех: смесь старого дерева и домашней пыли. Постепенно он мрачнел, будто выстудился, когда начался долгий, мучительный для всех разлад у моих родителей, закончившийся их бесповоротным разводом. В отроческие годы я покинул квартиру своего детства даже с облегчением.

Сквозь большое окно всегда виделось небо, и вдали – пугающе огромный какой-то дикой постройки Театр Советской Армии в форме звезды, различимой лишь с вражеского бомбардировщика, мною некогда описанный со всех его сторон, «возможно и породивший мою ненависть к театральности и нелюбовь к театру вообще, как чему-то тяжеловесному и небожественному», - предполагал Янус. А у подножья дома, через дорогу – двор Туберкулезного института. Я знал, что туберкулез — это страшная болезнь (объяснили оба моих деда – врачи), но там гулявшие люди вовсе не казались смертниками. Мне нравилось наблюдать сверху за этими мелкими человечками, словно живыми игрушками, такими всегда бодрыми, вопреки своей обреченности, вызывавшими лишь только легкую жалость. С огромной высоты мне казалось, что они обитают в своих предрайских кущах довольно-таки беспечно, играя в спортивные игры или же мирно прогуливаясь.

Самая ранняя память, конечно, обрывочна и вся в дымке. Даже, если вгрызаться памятью в свои истоки, там обнаруживается лишь малая горстка ярких впечатлений. О паре из них мне уже доводилось писать, именно тех двух типов, которые лучше всего запоминаются: страх и победа. Первое: ужас, даже и почти необъяснимый. Это как сон: сперва еду в машине на чьих-то коленях. Дальше – речка; иду к воде по упругой, будто дышащей, как живое существо, глине. То есть мертвое обернулось живым. Тут и накатил дикий ужас. Дальше ничего не помню, но родные мне потом рассказали о моих долгих истерических рыданиях; говорили, полдня им не удавалось меня успокоить. Бывали, наверняка, и другие приступы страха, но тут нечто

особое: до сих пор помню под ногами дыхание хтонической глины, видно, растеребившее тайный исток какого-то исконного всеобщего страха: червь, змея, склизкие потроха, - ничего из этого я в ту пору еще не видал, тем более не осязал, однако предчувствовал. Потом это жуткое превращение мертвого в живое мне потом все детство виделось в кошмарных сновидениях. Одно из них описал Янус, которому холодная глина явила образ утопленницы или русалки, полужизни, полунежити: «Там плотная речная глина, холодная, словно мертвец. – Узнаешь речку? – спросила русалка. – Это ведь она, та самая. Я узнал речку речек – прообраз всех земных вод, противницу огня, души и жизни. Образ был столь точен, что не появилось желания добавить ни единой подробности. – А ты кто? – вновь спросил я речную деву. – Я утопленница, - ответила та, не страшно, а ласково, и позвала меня руками. И я, словно несмышленищ, едва не пошел на ее зов, столь привлекателен и заманчив любой из наших младенческих страхов. Хочу отметить, что моим первым горем стала не обида на людей, а мертвенный холод прибрежной глинны. Я потом рыдал, долго и сладко».

Возможно, это событие явило первую догадку, что мир все же опасен, и не от всего могут спасти родные мне люди. Потом, и в детстве, и позже, на меня вдруг накатывало чувство как бы не полной прочности этого мира, его способности на какой-либо грозный выверт или коварный подвох. Это было не то чтобы недоверие к людям, а именно к самой жизни, законы которой, как чувствовалось, не так уж верны и постоянны, и она может вдруг превратиться в анархический хаос, вывернувшись своей злобной харей, которая как обратная сторона маски, - да и меня самого может поставить под сомнение. Даже в самую мою счастливую пору, я чувствовал присутствие зла, бдящего где-то в засаде.

Второе: память о моей победе над всемирным тяготением. Как я учился ходить, это наверняка не ложное, кем-то подсказанное воспоминание, поскольку тут именно память вестибулярного аппарата: иду, пошатываясь, цепляясь за буфет или наш полированный шкаф, иногда не больно шлепаясь задницей об пол, гуляющий вверх-вниз, как при носовой или бортовой качке. Потом уже выходит держать равновесие, что необычайно увлекательное занятие. Затем является гордость от вновь обретенного прямохождения, которое, однако, из праздника довольно быстро превращается в рутину. И

следует очень трезвая мысль: «Чего ж тут гордиться, коль все ходят?» Опять ранняя мысль, приискавшая слова (или снова определенное чувство, но точно вписавшееся во фразу), притом, что я тогда, разумеется, говорить еще не умел, - по воспоминаниям близких, заговорил я рано, но все-таки позже. Однако помяну, справедливости ради, что мамина версия противоречит моей вестибулярной памяти. Ей запомнилось, что я впервые пошел, взяв в каждую руку по пачке масла, как бы держась за них. Но тогда вопрос: как они оказались в моих руках, как я смог бы завладеть ими? Все-таки отдаю предпочтение собственной памяти, отчего-то мне кажется, что, по крайней мере, в этом случае она верней.

Прежде я писал и еще об одном своем первичном воспоминании, хотя наверняка уже более позднем, но столь радостном, что с удовольствием вновь о нем напишу. Это было явлением мамы, как, видимо, первого мною целиком осознанного персонажа своего раннего бытия, выступившего из числа заботливых анонимов. Я играл на полу, не в своей комнате, а в нашей главной, которая была и гостиной, и столовой, и отцовским рабочим кабинетом, возможно, под роялем, тем для меня и привлекательной, что нефункциональной, мебелью, притом не слишком любезной: когда я немного подрос, часто смаху ударялся головой о его твердое, ребристое брюхо. Нет, скорей, все же в углу, возле окна: помню, свет падал через плечо сверху. В комнату вошла мама и я разом ощутил ее, как самое родное существо. И она тут же бросилась ко мне с объятьями, или вернее навстречу моему чувству, наверно, тоже впервые сознав силу своей любви ко мне. (Я в этом никогда не сомневался, но, вообще-то, мама со мной не так часто нежничала). Притом, она еще в моем раннем младенчестве ко мне относилась эмоционально, не как к просто комочку плоти, подлежащему опеке. Уже помянул о ее первой (потом их будет, увы, немало, как и взаимно) на меня обиде. Когда меня отняли от ее груди, она уехала в дом отдыха, чтоб я безболезненно отвык от привычного кормления, да и самой прийти в себя. Когда ж вернулась, я на нее не обратил никакого внимания. «Равнодушно отвернулся», - рассказывала она, вроде, смехом, но все ж с не до конца погасшей обидой. В ту пору я еще не различал отдельных людей, как, что ли, агентов моего существования, которое свершалось само собой, будто некоей магией жизни. (Это я теперь пытаюсь подобрать слова к моему тогдашнему немому существованию, и вряд ли удачно).

Написал, как впервые отметил маму; других людей я до поры словно и не замечал, - в моей ранней памяти мерцают лишь тени без определенного облика, вовсе пока еще не предмет моей любви и вообще каких-либо чувств. Полагаю, что довольно рано мое жилище, поначалу просто благоприятная среда обитания, разбилось на отдельные предметы. Они в моей самой ранней жизни, играли едва ли не большую роль, чем одушевленные существа, как нечто более определенное, несуетное, неуклонно пребывающее, удобное для разглядыванья и, как предполагалось, тоже имевшее душу. Я понимал, что те существовали еще задолго до меня, в какой-то иной традиции быта (разумеется, это мои нынешние слова), но будто приутожили наилучшее пространство для моего явления на свет. Свое детское существование среди нашей мебели, сперва огромной, урбанистичной, с каждым предметом из которой у меня были свои интимные отношения (интерес, почтение, опаска) я как-то описал в Учебнике по географии моего детства. Не буду повторяться, к тому еще, что в ту пору, скрывшюся за парой жизненных перевалов у меня было острее чувство моего детского жилища, которое теперь уже поросло всяческим быльем. Тогда еще оставалось желание вернуться обратно, к утраченному уюту, и там обитавшие родные души теперь мне видятся не позади, как тогда, а маячат на моем нынешнем горизонте.

Несомненно, что домашние предметы формировали мою личность, учили, бывало, даже проповедовали. Они и сейчас при мне, но уже в другом смысле и переставшие быть географией, а нынче превратившееся в попросту интерьер, привычный с малолетства, даже необходимый. Пафосный буфет, бабушкин любимец, наставник традиционного быта, не только не постарел, а с годами будто воспрял: прежде скорее мещанский, без аристократизма, он стал несомненным антиквариатом, сверкает своими стенками, дверцами и стеклянными призмами, только зеркальная амальгама вовсе уж потускнела. Сейчас вот сижу на отцовском рабочем кресле, странном, почти уродливом не очень, вообще-то, удобном творенье нашего конструктивизма (от знакомого специалиста по мебели узнал, что это модель Родченко, предназначенная для радиостанций) перед отцовским рабочим столом, призывавшим к усердию творчества. Как себя помню, меня манил этот запретный стол из полированного румынского гарнитура с массивной трофейной машинкой в буковки которой я норовил сперва просто ткнуть пальцем, а потом сложить на бумаге какое-нибудь слово, а затем даже и стихотворение. Я и с нею не

расстался, но этот ценный по тем временам предмет, на зависть родительским друзьям и знакомым, теперь разжалован научно-техническим прогрессом, унижен: за практической ненадобностью она стоит уже не на столе, а небрежно приткнута под столешницей. Впрочем, оставаясь мемориальным предметом.

Я испытываю почти нежность к привычной мне мебели, хранящей память о прошлом, формирующей родное пространство, но, притом, вовсе не жалею об утрате самого ценного и необычного предмета в нашей старой квартире – концертного рояля «Бехштейн», нами обретенного благодаря витиеватым превратностям отечественной истории. Я знал, что в нем живет вся музыка, но в отличие от простенькой отцовской музыкальной вертушки, меня терзавшей симфониями, как чем-то излишним, несоразмерным моей жизни, почти всегда молчаливая. Сперва я испытывал к нему интерес, теребил его желтозубо опечерненные клавиши, но выходила не музыка, а он издавал резкие, малоприятные звуки. Взамен интереса вскоре явилось недоверие, - и не зря, поскольку много позже, когда меня пытались учить музыке, он превратился в орудие пытки. Настоящую музыку я понял и принял значительно позднее, лет в двадцать пять, - причем не прямо, а словно откуда-то сбоку, учитывая, как я уже сказал, мое полное отсутствие музыкального слуха. Да, с виду дикая мысль, что лучше б мне стать композитором, - какой уж там композитор, коль в изучении музыки я даже из-под палки не продвинулся дальше простеньких гамм и собачьего вальса? Однако постоянно чувствую всю недостаточность слов (уже говорил, что не верю в их первичность в отношении мысли и чувства: по моему понятию, мысль, напитанная чувством, выходит встреч словам, но может с ними и разминуться), чтобы выразить музыку мне всегда слышащуюся в подоплеке жизни, словно манящий гуд сокровенной истины на разные лады. Возникает досада от постоянной неточности выражения, которое даже и права не имеет быть приблизительным, - как вот и сейчас. Композиторы – счастливы, в сравнении с ними себя чувствуешь косноязычным недоделком. А коль, бывает, сладкоязычным, так еще, наверное, хуже.

Ну вот, только сейчас заметил, что ненамеренно сбился. Ведь та моя детская с окном во всю стену, отбрасывавшим световой ромб, была не самым первым моим жилищем. Первое, которое уже за пределом моей

ранней памяти – комната в огромной коммуналке на углу Кировской и Мархлевского, именно там, выходит, я маялся в своем изначальном аду. Тоже ведь родное пространство, которое в своем Учебнике по географии я лишь помянул, потому теперь о нем скажу чуть подробнее. Сперва в этой квартире жила моя мама со своим отцом и мачехой, потом, когда старшие переехали в кооператив – мои родители. Туда меня и привезли из роддома (уточню: не из престижного для москвичей «Грауэрмана», поскольку мой дед-профессор терпеть не мог бластных медицинских учреждений, прекрасно зная им цену), но вскоре, через пару месяцев, мы втроем перебрались на площадь Борьбы, а другие бабушка с дедушкой – на «Мархлевку» (так в семье называли). Прежде «Мархлевка» была буйной. Мама рассказывала, о ветеране-чекисте, выбегавшем на кухню, грозя наградным пистолетом, с криком: «Бабы, хватить бздеть, все на воздух!» (из этого пистолета он потом застрелился) и его жене, простодушной воровке, которая пёрла все подряд, но возвращала по первому требованию. Она же была и завзятой читательницей, всегда уткнувшейся в книгу, хотя, как утверждала мама, из любви к самому процессу, не понимая прочитанного. Их я уже не застал. Конечно, я там часто бывал и в детстве, и много позже. Помню «Мархлевку» уже смиренной, там жили одни старики и старухи, потому всегда уютно пахло опрятной старостью. Впрочем, в раннем детстве я видал пару раз внука чекиста и его жены-клептоманки – вора в законе; Юрка его, кажется, звали. Надо сказать, что он был самым тихим из типичных обитателей квартиры: тайком появлялся и тайком исчезал, что, видимо, связано с его криминальной профессией, – и однажды пропал навсегда.

Дедушка умер вскоре после переезда, а бабушка прожила в той комнате еще долгие годы со своей домработницей Марфушей, богомольной вечной старухой, тоже членом семьи, чем-то окрасившей мое детство. В комнате у нее был свой закуток, отделенный матерчатой ширмой, где всегда горела мутная лампочка, мне казавшаяся лампадой. Там она читала ветхие церковные книги, шептала молитвы, иногда переходившие в беззлобное ворчание. Я любил бывать у бабушки, у нее испытывая чувство душевного покоя, которого все меньше становилось в родительском доме. (Даже и сама дорога в гости к бабушке мне была приятна. Сперва, долгая, как мне казалось, поездка на дребезжащем трамвае по бульварам через Самотеку и Трубную; затем – пешком от начала до конца Мархлевки, где едва ли ни каждый дом мне казался

необычным, умел чем-либо озадачить). Странно, что при бабушкином вроде бы скрупулезном отношении к быту, ее комната могла показаться временным жилищем: случайная дешевая мебель, разошедшиеся обои, по которым бежали трещины. Однако ее жизненная сила надежно противостояла распаду. Сразу после ее смерти жилище мгновенно рухнуло – начали отслаиваться обои, с потолка осыпаться штукатурка, проваливаться пол. В моих снах оно представляло родом склепа. Виделось, там обитает родной мне человек (не только бабушка, бывало, что и другие), но уже непричастный жизни. Мне уже не хочется его навещать и тяготит это его состояние неполной смерти, от чего во сне являлось острое чувство вины. Такие вот бывали сумрачные сновиденья, точно описать которые невозможно. Не исключаю, что в них сгустилась вся моя виновность в отношении самых близких людей. Такова моя тревожная, но теперь и бессильная совесть.

Однако с Мархлевкой связана и меня согревающая легенда. Родители рассказывали не раз, что в день похорон Сталина, когда сотни погибли в давке на соседней Трубной площади, несколько их друзей вместо того, чтобы лезть в толпу, решили вместо умершего вождя взглянуть на только родившегося младенца, то есть на меня, - и тем спаслись. Что, разумеется, лишний раз подчеркивало не случайность, даже спасительность моего рождения. Кто знает, не осталось ли это, хотя и невольной, но важнейшей моей заслугой перед человечеством, за которую кое-что мне простится?

Довольно часто я бывал и у своего другого деда, по крайней мере, с ритуальной регулярностью. Для тогдашней полунлицей Москвы его дом был пределом роскоши и комфорта: жилье отдельное, что уже было редкостью, да еще вместо газовой колонки – смеситель с холодной-горячей водой и мусоропровод прямо в самой квартире. Она была уставлена антиквариатом и красной мебелью, увешана картинами (вкус у деда был консервативный – любил передвижников, как, впрочем, и я в детстве), то есть это был почти музей, где не место для детских игр. Пространство дедовской квартиры вовсе не было мне предоставлено, я был туда лишь только допущен, - причем, с обидными ограничениями: то не трогай, это не трожь. Само жилище не стало мне родным, наоборот, мне казалось ущемленным моего детства, и все ж меня тянуло в этот прочный комфорт, неколебимо устоявшийся быт, будто подчеркивавший расхристанность бытованья моих богемных родителей. С

этим дедом, маминым отцом, я так и не сблизился, хотя должен признать, что он был неплохим, довольно-таки добродушным человеком, но холодным по натуре, а в старости остывший почти до абсолютного нуля, - в его последние годы я с ним и вовсе не общался.

Но от жилья вернусь к людям. Постепенно, уж не знаю, когда и в какой последовательности, из марева любви и опеки стали выступать отдельные лица. Те самые родные души, о которых я написал сколь мог подробно в дневниковых записках, названных «49 дней с родными душами»: слишком подробно писать так и не научился, мелкие детали меня тяготят, кажутся излишними, малоинтересными. Всегда старался уловить общий смысл происходящего, и этим тоже обедняя свою жизнь. Их всех уже давно нет на свете. С ними ушла и память о моем самом раннем становлении, когда в их любви и полном приятии я, еще не познанный собой, был совершенно целен, чего после уже не будет. Был и превознесен, себя от рождения чувствуя едва ль ни перлом мироздания, и, конечно, это был самый веский аргумент в пользу моего права существовать, не предполагающий опровержения. Тут и предвестье будущих разочарований, и все-таки, в конечном итоге, доверия к жизни: на могли ж они ошибиться, могучие, всеильные и всезнающие.

Конечно, знаю распространенный бзик или миф о будто б в раннем детстве украденной родными твоей личности, о коварной подмене твоего естества социальной фикцией, тем превратив в чучело, набитое всеобщими местами. Лично я вовсе не тоскую о пусть и впрямь утраченной, но для всех опасной наготе (двойственное к ней отношение я выразил в своем раннем тексте, названном «Оболочка»). Пускай даже они меня выдумали, подменили в младенчестве, но придумали лучшим, чем я есть. И благо, что кое-как применили к жизни, с нею примирили, - она ж меня после отторгала неоднократно. (В юности даже иногда накатывало недоумение: где я? кто я? что это за мир, в котором я очутился?) Бывало не раз, когда моя жизнь, будто исподволь подточенная каким-то бесом, готова вовсе обратиться в хаос. Я старался его приручить, что иногда удавалось. Пытался унять свои недолжные страсти, но все-таки себя чувствовал не целиком прилаженным к миру, зверем (пусть даже зверьком) хищным средь многих одомашненных, разве что, приемным сыном века, а не его любимым дитятей. Привет всем другим пасынкам!

Близкие люди исподволь, постепенно прорастали в мою раннюю жизнь. Бабушку я осознал и оценил за ее дары: она всегда меня наделяла чем-то «вкусненьким», была прекрасной кулинаркой. Постепенно из счастливого тумана раннего детства выступил образ моей няни, с ее строгим иконописным лицом (я был уверен, что «няня» тоже степень близкого родства). Она всегда была рядом со мной, как главная защитница и хранительница; другие появлялись неизвестно откуда и пропадали незнамо где. Но главным светом моего детства и будто гарантией будущего был мой дедушка, отец отца, с его неиссякаемой всепрощающей любовью. Да таким и остался, несмотря на то, что умер, когда мне было всего четыре года, оставив по себе не тоску, а светлую грусть, мне так редко дававшуюся. Уж он-то, я понимал или, верней, безошибочно чувствовал, никогда меня не предаст и все мне простит. До сих пор уверен, что так оно и есть. Уже как-то писал, что дедушкина любовь для меня - прообраз любви Божественной. Она, как и его пересказы увлекательных библейских историй, пожалуй, и заронили в меня смутное религиозное чувство, затем много лет дремавшее. Я хорошо запомнил его лицо в рамке окна моей комнаты, не городской, а дачной коморки, куда он заглянул снаружи, и свою неистовую радость: приехал дедушка! Храню и еще несколько драгоценных для меня воспоминаний: как мы сидим вдвоем у Останкинского прудика, как гуляем по дачному перелеску... Запомнил и день его смерти на даче, поначалу не суливший беды. Мы ходили на станцию встречать бабушку. Не встретили, вернулись. За обедом ему стало плохо. Меня отправили к соседям, родителям моего друга, с которым, проснувшись по утру, мы упоенно бились подушками. К воспоминанию об этом дачном друге тоже примешивается острая горечь. Он был ярким пареньком, эрудитом и книголюбом, организатором наших детских игр, рассказчиком бесконечных историй, иногда довольно скабрёзных, а умер пугающе бесцельно: от страшной болезни на пороге юности, у самого преддверья жизни. Это была для меня первая гибель сверстника. Помню холодный день его похорон с истощенно грающими воронами и чувством полнейшей безнадеги от этой гражданской, ничем не просветленной гибели, которая бесправный конец всего. Много раньше Янус написал почти так же о своем рано умершем друге: «Помню его похороны, - яркий день и безысходность моего не то чтобы горя, но смятения. То был застывший день, без будущего».

О дедушкиной смерти мне взрослые, конечно, не сообщили. Отделались неопределенным типом «дедушка в больнице». Но что-то чуялось сомнительное в их интонации, - я с малолетства довольно тонко чувствовал, когда от меня нечто скрывают. Я сразу понял, что разлука будет долгой, может быть, на год (а год тогда для меня был, что век) или даже на годы, но все-таки надеялся, что он когда-нибудь возвратится. Что разлука навсегда, я сознавал постепенно, по родительским обмолвкам, медленно сживаясь с этой мыслью. О смерти я узнал довольно рано, кажется, от няни, - знал, что умерших зарывают в землю. Но хотелось верить, что они прорастают к новой жизни, как посеянное зерно. Не напрасно ли взрослые опровергли этот мой стихийный индуизм? Впрочем, перспектива когда-нибудь-смерти мне отнюдь не испортила детства. Она казалась слишком далекой, чтоб о ней печалиться наперед, притом, что где-то лет с трех до семи я пребывал в состоянии упоенного, неиссякаемого счастья, которому не предвиделось ни конца, ни края. (Потом я испытывал только мгновенные его уколы, которые мог сознать только задним числом. Выходит, жизнь так незначительно потратила, все отпущенное мне счастье на ранние годы, мало оставив впрок. А может так и лучше: получить его все сразу и сполна, а не мелкими порциями, будто подачи. Зато я точно знаю, что такое счастье: благодать, дарованная за так). В этом золотом веке детства хотелось жить и жить, это сейчас вечное существование в мире кажется обременительным и почти напрасным, - почему-то расхотелось жить вечно. А вот у Януса «его жизнь состояла из мелких смертей, ожерелье у него на шее - из черных жемчужин. К смертям он был приговорен изначально, и часто вдруг чувствовал страх, пронзавший его селезенку. Не страх горний, а ужас пред опустевшими небесами». В общем-то, сходно с моей собственной жизнью. Но хватит о смерти, коль речь идет о самом начале существования, когда черная матушка таилась в глубоких сумерках, когда надо мной будто реяли ангелы, и лишь очень редко жизнь мне казалась своим бесовским рожком.

Про явление мамы я уже говорил, но вот отца в своем раннем детстве не могу припомнить. Его образ у меня сложился много позже, долго еще он оставался одним из ко мне ласковых анонимов. Конечно, он любил меня, это чувствовалось, но всегда существовал как-то отдельно, на дистанции, так же как, уверен, от своих последующих детей. Я был для него атрибутом жизни, но, как лицо, почти нереальным. Потому, много лет соприкасаясь, и даже

в этом взаимоприкосновенье натирая друг другу мозоли, мы так ни разу и не поговорили на полном серьезе, с доступной нам обоим откровенностью. Был момент в моей юности, когда он этого хотел, а я не был готов. Много позже был готов я, но ему уже не хотелось. Мои первые воспоминанья об отце относятся к более поздним годам: куда-то мы идем по улице, он крепко держит меня за руку. Таких воспоминаний несколько, но куда идем и зачем, этого не припомню. А вот самое яркое, - видимо, тогда мне было года три. Отец, никогда со мной не игравший, не считая нужным меня развлекать, в отличие от отцов моих детских друзей, которым я завидовал, вдруг мною занялся: изображал для меня какие-то забавные рисуночки, а я в упоенье восторга, подпрыгивая на диване, лупил его ладонью по ранней лысине, пока он не пресек эту фамильярность.

Тут надо помянуть и еще одного человека, скрасившего мое самое раннее детство. Краешком сознания я успел захватить свою неродную, но заботливую бабушку, - к ее мужу, моему родному деду, моя память, увы, не сохранила признательности. Она умерла, когда мне было три года, как-то разом пропала, и я, совсем еще незрелый, не смог испытать горечи, которая пришла позже. Помню ее увядший, но достойный облик, смешавшийся в памяти с пожелтевшими фотографиями. Она, оказалось, и была истинным главой большой семьи, объединявшей несколько ветвей рода. С ее смертью сразу исчезли многочисленные тетушки, дядюшки, старшие троюродные братья, отчего мой мир сделался холоднее.

А вот я сам-то, когда для себя выступил из мира лишь слабо расчерченного на лица, предметы и понятия? В три года? Нет, позже, скорей, в года четыре. Произошло это разом и тот миг, когда я стал субъектом жизни, - причем, единственно несомненным, - запомнился навсегда. Было так: разглядываю себя в мутноватом зеркале в прихожей, и вдруг понимаю, что я это я. То было радостное открытие, вселявшее чувство гордости, даже гордыни. Прохаживаюсь перед зеркалом выпятив грудь, снова, снова, еще раз, кажется даже тыча в грудь пальцем в бешеном восторге, поскольку лишь теперь до конца сознал факт своего существования в мире. (Зеркало, из наивной столярной поделки уже превратившееся в винтаж, и теперь висит у меня в прихожей. Но я редко туда заглядываю, нет желанья фиксировать свой не в лучшую сторону меняющийся облик). Значит, отныне было кому

принимать щедрые дары жизни такие, как любовь родных душ и благоволение обжитых пространств. Знал бы я, что именно в этот патетический миг началось часто тяжкое для меня предстояние жизни, которая то принимала меня, то отторгала с обидным равнодушием. Тогда и наметился зор меж мной и другими, едва заметная трещинка, которая с годами не ширилась, но и не делалась уже. (Лишь в годы отрочества она вдруг разверзлась пропастью, но это совсем другая история). Нет, я не ощущал себя чужаком среди людей, заводил дружбы, - в детстве и юности очень легко. Но всегда чувствовал и в дружеских отношениях некую недоговоренность, может быть не совсем точное взаимопонимание. Тут не то чтобы недоверие к себе или другому, а, скорей, к средствам связи, бессильным превозмочь суверенность личности. (Повинен, конечно, и мой эгоцентризм, в юности граничивший с солипсизмом). Не исключу, что подобное чувство испытывали и мои друзья, такие разные, но которых ведь интуитивно выбирал по себе, из категории пасынков.

Надо сказать, что у меня, единственного ребенка в семье, долгожданного, любимого, довольно рано развился уже помянутый стопроцентный перфекционизм, то есть свою жизнь я намеревался прожить эталонно, без единой поправки. Не то что у меня возник некий образ эталонной жизни, надо сказать, что тут и родители не служили для меня примером, но был уверен, что где-то существует (вымерен и утвержден) идеальный образец существования в мире, пожалуй, не существования вообще, а именно моего личного. (Наверно, я все же чувствовал невысказанные упования близких). Этот образ был классичен в своем совершенстве, неоспорим и окончателен, как догма. В ту наивную пору я считал жизнь своей союзницей, видно, думалось, что она сама меня подтолкнет на мой истинный путь и без моих особых усилий преподнесет мне как бы с рожденья предназначенные дары. Оказалось, она не безмерно щедра, я получил от нее множество мелких подарков, и, кажется, ни одного судьбоносного, хотя она и предоставляла возможности, делала ненавязчивые подсказки. В том, не исключу, ее мудрость, которая мне все же видится равнодушным благоволением. Но должен признать, что часто беда была подарком ценней, чем удача. Если сравнивать мою реальную жизнь с эталоном, то она почти целиком состоит из поправок. Однако не сетую, потому что с тех пор из классика я превратился, скорей, в романтика. Теперь больше ценю не верность жизни какому-либо идеалу, а точность

ее динамики и музыкальную гармонию ее тональностей. Бывало, что она превращалась в какофонию, но иногда звучала чисто и мощно, симфонией или даже хоралом. Каков, интересно, будет ее финальный аккорд. Верю, что он не станет для меня самым уже последним разочарованием.

Но вернусь к своему детству. Не менее важными отношения, чем с людьми, у меня были с игрушками, которые, согласно одному известному визионеру, также обретают душу, его, видимо, заражаясь от с ними игравших детей. Легко в это поверю: коль не все, так некоторые, особо любимые. Игрушек у меня было не очень много и какие-то однообразные. Больше, как тогда было принято, милитаристские: сабли, пистолеты, стреляющие пробкой; ружья, солдатики. Вообще, в ту пору игрушки были грубоватыми, некрасивыми, за исключением только дорогих, разодетых в тюль и шелк девчачих кукол. В детских магазинах я ими любовался, но мне, мальчику-милитаристу, и в голову не приходило поиграть в куклолки. А вот в солдатики, тоже однообразные и аляповатые (одинаковые пехотинцы и кавалеристы с шапками; еще помню выкрашенные серебристой краской пушечки), играл с удовольствием, но, в, на удивление, тупую игру безо всякой стратегии и тактики: выстраивал на полу отряд «наших» напротив отряда врагов, и, переходя с одного конца комнаты на другой, поочередно пулял в них кубиком до тех пор, пока один из отрядов не поляжет целиком. Хотя я старался соблюдать справедливость, отчего-то побеждали всегда «наши». В результате таких сражений некоторые солдаты в прямом смысле теряли головы. Но я продолжал ценить и безголовых, не списывал их в запас. А самый мне дорогой безголовый солдатик единственный из всех был удостоен имени: «Трын-Трава-Помощник-Командира». Такое вот длинное имя, не знаю уж из каких ассоциаций, и почему тогда не командир, а только помощник? Потому ли, что командиру все-таки непристало быть безголовым? Мне уже доводилось нехотя признаться в своей прежней острой жалости к брошенным, ненужным предметам. Судя по ее избыточности, то была, скорей, жалось к себе самому, опасение собственной брошенности. Нужно ли гордиться, что с годами мне удалось в себе подавить этот излишний сентимент? Теперь и самого себя-то не слишком жалею, и других людей, даже самых близких, в меру, без надрыва. Да и вообще чувства стали куда смиренней, чем раньше. Вдруг взбурлят почти с прежней яростью, но вскоре и погаснут. В том же признавался и Янус: «Было время, он страстно и мучительно жалел все живое

и неживое. Мог пожалеть и бездомного котенка, и выброшенный окурок, и ржавый гвоздь. Даже одинокий угрюмый трамвай, ночевавший на путях возле соседнего парка. Наверно, эта отчаянная жалостливость была лишь отражением жалости к себе самому. Жалости наперед, в предвиденью своего сиротства и старческой немощи. Когда на него накатывало жалостливое чувство, то весь мир становился словно б жалким и мягким, без жесткого костяка - податливым и слезливым. Если б Янус вел ранний дневник и был бы там искретен до конца, то все записи состояли б из слезливой жалости. В каждом предмете Янус прозревал обреченность, но то была жалость без любви, беспельное сострадание».

Кстати, тут со стыдом признаюсь, что все ж разок поиграл в куклы, то есть в девичью игру «дочки-матери», разумеется, нехотя, презрительно. Просто в скверике, где я гулял с няней, в тот раз не оказалось детей кроме одной малознакомой девчонки. Как я и предполагал, игра оказалась удивительно скучной. Ну, я папа, она мама, кукла – наша дочка. Папа идет на работу, мама готовит обед в своих алюминиевых кастрюльках, потом они вместе купают ребенка в алюминиевой ванночке. «А смысл-то игры в чем, - допытывался я, конечно, своими тогдашними словами, - кто победил?» Но робкой неказистой девочке даже сам вопрос, по-моему, казался диким. Эта игра была, можно сказать, на сотрудничество, а не на противоборство. Таким образом, у меня появилась возможность впервые сознать отличие мужского от женского, которой, понятно, я не воспользовался по малолетству, но сейчас о той игре совсем неожиданно вспомнил.

Своих солдат я любил не больше не слишком заботливого командира. В вышних мирах не думаю, что повстречаюсь со своей детской армией, вряд ли от меня заразившуюся подобьем души. К одной только своей игрушке я относился, пожалуй, с не меньшей нежностью, чем к родным людям. Это был умилительно трогательный ёжик с почему-то метелкой, заткнутой за его кушак. Особая игрушка, заграничная, которые мне редко перепали, с какой-то иноземной добротностью и заботой о детстве. Моя любовь к симпатичному ёжику была тайной, сокровенной, - ведь игрушка, я понимал, была тоже отчасти девчачей, в ином духе, чем суровое мужество военных игр. И у нему я, разумеется, испытывал жалость, хотелось его сбересть от мира, где он был иностранцем, или хотя б от чужой язвительной иронии

(ёжик-мусорщик, ха-ха!) и одновременно, мягкий и теплый, он служил мне будто оберегом в моих одиноких ночах. Если кто (не случайно теперь поставил одушевленное местоимение) и мог воспринять от меня частицу души, так именно он. Я спал с ним в обнимку чуть не до школьных лет, что тоже стыдная, скрываемая подробность. Он и сейчас где-то хранится на моих антресолях. Надо б его найти, отряхнуть от пыли, может быть, почувствовать прилив той уже позабытой нежности. А то ведь душа остывает.

Кроме дома была еще улица, первые воспоминания о которой – белизна, снег и ничего больше. По виду спокойная, с деловито снующими пешеходами, с редкими машинами, дребезжащими металлом на еще не убранном бульжнике, который мне виделся тем самым оружием пролетариата (ведь площадь Борьбы, что понималось, как революционной), но о ней ходили также и дурные слухи. Я с детства знал о бандитах, ворующих детей (с малолетства запомнил литературное слово «компрачикось», превращавшие детей в уродов), и просто об уличных хулиганах. Думаю, взрослые меня сознательно припугивали, чтоб особо не доверял посторонним. Впрочем, в той диковатой еще, в общем-то, послевоенной Москве (хотя мне война казалась стародавней историей) хватало и хулиганья, и настоящих бандитов. Наш дом ими прежде славился, но к моему рождению уже совсем притих. Лишь бледными тенями прежнего величия, во всеобщем презрении, хотя все-таки боязливым, доживали век когда-то вселявшие ужас исторические для нашего дома лица: старуха-стукачка, дряхлая, слюнявая, похожая на ведьму, и бывший главный хулиган, еще по виду могучий, коренастый, но уже полуслепой старик.

Улица была немного тревожна, меня одного не пускали гулять, кажется, до самой школы. По воспоминаньям друзей знаю о полукриминальных московских дворах той поры, для некоторых ставшие кошмаром детства, с их жестоким законом, финками, мелким рэкетом и блатной романтикой, но у нас двора, по сути, и не было. То есть был, но мрачно-тенистый, залитый асфальтом, вовсе не привлекательный. Туда выходил вонючий черный ход, которым редко пользовались. О дворе у меня осталось только одно туманное воспоминание: сижу за длинным столом или, может, верстаком с ребяташками из соседних бараков и старший мальчик нам вслух читает рассказ Сетон-Томпсона про мустанга-иноходца, - такие были мирные развлечения. Гуляли не во дворе, а «на сквиру» (так полагалось произносить,

это местный диалектизм), каменистом земляном пяточке, захватившем целиком городскую площадь, с редкими кустиками, окаймленном хилыми деревцами, с клумбой посередке, зимой становившейся ледяной горкой. Там теперь стоит двойной памятник Венечке Ерофееву, к судьбе которого мне довелось немного примешаться: такая вот жизненная рифма. Это было спокойное место, где прогуливались мамы с колясками, бабушки с внуками, всё на виду, без мрачных закоулков, - там и негде было приткнуться угловщине и жестоким детским разборкам. Не знаю, почему в памяти Януса он явился угрюмым: «...был подозрительно пуст и казался жестким, как эмблема. Даже листья хилых посадок шелестели жестким шорохом, как могильные венки. Янус не ожидал, что уютный скверик его детства окажется столь мрачен». Для меня-то сквер, разумеется, был не кошмаром, а радостью детства. Там возникали первые дружбы, но какие-то нестойкие, не закадычные. Меня почему-то тянуло к паренькам хулиганистым. «Свинья грязь найдет», - укоризненно твердила няня, гордившаяся, что ее питомец из «приличной семьи». Правда, случалось нам драться с ребятами из соседнего дома, но не жестоко, скорей, по-спортивному, даже не драться, а бороться, пихаться и забрасывать друг друга снежками. Причем, соседи нам были совсем не опасны из-за нашего многократного численного превосходства. Мы всегда выходили победителями, а каждый «наш» был под защитой всего сообщества: своих не обижали и другим не давали в обиду.

Тогда я любил Москву, тихую, просторную, притом компактную, еще не разлетевшуюся по окраинам, почти потеряв свою исконную тональность, которую в детстве я тонко различал. (Собственно, хорошо знал я только свой городской закуток, окрестности нашего дома: треугольник, где основа – площадь Борьбы, острием упиравшийся в военный парк. Конечно, водили меня раза два на Красную площадь, но эта гулкая зальсина мне показалась словно б даже излишней в городском ландшафте). В округе было много ветхих домишек, почти бараков с нищим бытом, чуть мерцавшим сквозь грязные окна, но были и постройки для меня интересные, загадочные, от которых веяло романтическим духом прошлого. (Не это ли детское увлечение старыми зданиями навяло моему ночному гению архитектурные шедевры, что он возводил в моих снах: см. ниже?) Они были будто бы из какой-то другой, не нынешней жизни, возведенные словно б для теперь уже позабытых иль уже исчерпанных целей. Это было, конечно, не понятием,

а чувством. Я любил их разглядывать, гордясь и нашим домом – доходным гигантом с какой-то ложноклассической лепниной. Как я потом узнал, он был возведен на месте кладбища некрещеных младенцев. Не оттуда ли некоторая меланхоличность округа, которую учуял Янус с его могиальным венком? В этом московском закутке прошло и детство Достоевского. Обитать в таком доме, да еще на самом верхнем этаже, было вполне достойно личности избранной, вроде меня.

Но было в Москве и два пугающих здания. Первое – Бутырка, тогда еще не застроенная домами, угрюмая цитадель, кажется, красного кирпича, грозно выпиравшая из городского ландшафта. Я знал, что это тюрьма и меня дрожь пробирала всякий раз, как проезжал на трамвае мимо этой обители отверженных, олицетворявшей суровость справедливого, как думалось, государственного возмездия. В другом здании рядом с бабушкиной Мархлевкой с виду не было ничего пугающего. Но почему-то всякий раз, когда я шел вдоль его стены, направляясь в Детский мир, райские кущи, усладу детства, где мне всегда перепадал какой-нибудь подарок, правда, обычно мелкий, ускорял шаг: мне казалось, что вот-вот оно рухнет прямо на меня и я буду погребен под могучими каменными плитами. Страх был вполне реальный, продолжавшийся, как помню, до школьных лет. Вот странность: ни одна другая постройка не вызывала таких опасений кроме этого здания ГБ. В чем тут дело? Просто ли моя интуиция связала дом общества «Россия» с Бутыркой, или я что-то подслушал у взрослых, уловил тревожное к нему отношение, объяснив опасность здания внятной для меня угрозой обрушения.

Город я чувствовал интимно и остро, но кроме городского жилья была еще любимая дача моего деда-профессора, которого, увы, не могу отнести к мне родным душам, тоже с моей личной комнаткой, собственно, тесной коморкой, где помещались только кровать, тумбочка, книжная полка, но все ж моим суверенным пространством. Этот узкий пенальчик был непригоден для игр. С дачными друзьями мы бузили на открытой террасе с какой-то странной, неизвестно откуда взявшейся мебелью: массивными деревянными креслами, кажется, в «русском стиле», - нигде таких больше не встречал. Перевернутые вверх дном, они превращались в корабли, пригодные для сражений и морских странствий. Но родней дачного дома, приземистой

деревенской пятистенки (похожа на солдата, присевшего погадить, язвительно шутил друг отца) с надстроенным верхом и со всех сторон облепленной застекленными террасками, был большой дачный участок, чуть ни в полгектара – на опушке хвойного леса с разбросанными там и сям исполинскими соснами, своей кроной будто пахтавшие небеса. Однажды, глядя на хвойную крону я испытал остро осознанное чувство счастья, которое всегда помню. Сходное чувство испытывал и Янус: «Я уж вспоминал не раз, и никогда не избавляюсь от памяти о трех соснах, видных из дачного окна. Всего им хватало, чтоб воплотить мироздание. Шатры их крон легкостью, переменчивостью и ажурностью спорили с облаками. Кора была груба, как плоть жизни, стволы возвышенны, как устремление к горнему. Каковы они сейчас? Вряд ли стали мелки, как почти все детское. Ведь сколько я ни расту, они всегда останутся предо мной великанами. В застывшем детстве существует и то, над чем никогда не возвысишься».

Участок был некультуренный, приятно запущенный, только с двумя-тремя цветочными клумбами, роскошно цветущим шиповником и почему-то несколькими южными деревьями – белой акацией. В самом начале сезона там трава была ростом выше меня, еще мелкого, и я в ней плутал, как в джунглях. Потом деревенские косари ее сметывали в пахучий стог, откуда было приятно скатиться вниз, будто с горки, и где мы устраивали шалаши или засады, исподтишка невесть из какого интереса наблюдая за старшими.

Была на участке и зона тревоги – грозно гудящие некой опасной силой столбы высоковольтной передачи, черные, траурные, да еще помеченные символом смерти, почти пиратским стягом: черепом, кажется, с перекрещенными молниями. Среди всех детских опасок, это был страх особого рода – страх электрический (были и другие: страх лесной, страх одиночества, страх чересчур распаханного пространства). С губительной силой тока я спознался довольно рано, когда года в три ткнул в домашнюю розетку железной маминой шпилькой. Поначалу наводили ужас дачные грозы с титанической мощи громовыми раскатами. Я их перестал бояться, когда взрослые мне объяснили, что тревожные столбы, видевшиеся постоянной угрозой, одновременно служат и громоотводами. Это меня слегка примирило с высоковольтным чудищем, но я все-таки старался держаться от него подальше: вокруг этого мemento мори образовалось словно запретное место, куда лучше не заступать.

В моем раннем детстве дача была теплым местом, объединявшим большую семью: там летом жили родственники всех поколений и разных степеней родства. Но после смерти второй жены деда, моей неродной, но любимой бабушки, там вскоре появилась другая хозяйка, лживая и громогласная баба (правда, меня, пока я не вырос, она, кажется, по-своему любила). Где-то примерно с моих семи лет дача стала по-осеннему увядать, приходит в упадок. Размер постепенно пустеющего дома начал казаться уже бесцельным. Многочисленные террасы потеряли свое назначение. Пыльные, гулкие они словно подчеркивали запустелость дома и свидетельствовали о распаде еще недавно дружной семьи. Заметил, что я как-то норовлю проскочить самые ранние годы, полные счастья, которому не помешали даже и смерти родных людей. Конец моего золотого века, когда началось одинокое предстоянье жизни, распад семьи, стужа, будто веющая изо всех углов не только на даче, но и городском жилье, это ведь уже другая эпоха существования, эра первых, потому особенно горьких разочарований.

Конечно, и мое раннее детство, исполненное любовью близких и счастьем, было не без горчинки. Я не о тогдашних обидах на родителей за их несправедливые, как мне виделось, наказания, не о ссорах с друзьями, иногда горячих, с оскорблениями, дразнилками и швыряньем друг в друга кубиков. Эти огорчения бывали мимолетными, - довольно редкими и забывались быстрее, чем высыхали детские слезы. Но в глубине моей новорожденной души будто гнездились черное пятнышко, едва заметное, но все ж заноза, иногда тревожно и беспричинно саднящая. Разумеется, я тогда не знал, как назвать это чувство, да и сейчас мне его трудно выразить: опять-таки скудость слов в сравнении с музыкой. Наверно, то было смутное ощущение, что жизнь все-таки объемней моего детского мирка, что где-то совсем рядом существуют гибельные угрозы, но и сквозь лица меня опекавших людей смутно мерцал источник неземной благодати. (Недаром местность, где бродил Янус со своими спутниками, была переменчивой и угрожающей). Не случайно я вновь посетовал на недостаточность слов: подобье этого раннего чувства я распознал в через годы мне раскрывшейся музыке, - по сути, оно так и осталось безымянным. Но точно помню, что в еще свою раннюю пору смутно предчувствовал мистичность существования в мире и его трагизм. Даже более того, теперь мне кажется, что именно тогда мистерия жизни разворачивалась в ее чистом жанре, позже будто смазанная рефлексией и злобой дневи. Подозреваю, что из этого черного пятна, душевной занозы в

последствии и развилась вся моя литература (а может, оно было в какой-то мере опозлено литературой), как необходимость заделать пробойну, откуда сочился неуют, как напоминание об иной жизни, несоразмерной нашей обыденности. Не будь его, может, занялся чем-либо другим, хотя сейчас невозможно представить чем именно. Если музыкой невозможно, то не медициной ли, учитывая семейную традицию?

Конечно, я понимал, что мир не ограничен нашими двумя приветливыми комнатами в общей квартире, дачей, сквериком и его окрестностями. Знал, что людей на свете множество, среди которых попадаются истинные злодеи. Даже был чуть сведущ в политике - понимал, что живу в могучей справедливой державе (что не расходилось с моим детским опытом), у которой есть друзья, как и у меня, но и враги. Уже писал в «Географии детства», что забор Туберкулезного института, пестрящий афишами и политическими плакатами, служил для меня своего рода агитпропом. Причем, политика там представляла простодушной и внятной, как раз на моем инфантильном уровне, как умопостигаемыми казались и свойства даже не знакомых мне людей – их доброта или, пускай, злодейство. Я знал имена вождей, в которых мне виделся некий патернализм – то есть они были как бы верховными родителями, опекунами моих опекунов, даже несмотря на свои некоторые чудачества и возможные недостатки (я ведь слышал разговоры взрослых) высшими блюстителями закона и правильного миропорядка. Но превыше них были вожди мертвые (хорошо, что у родителей хватило ума не водить меня в Мавзолей), - сперва их было двое, потом остался только один, - как бы небесные покровители державы. Короче говоря, ни от незнакомцев, ни от враждебных стран я не ждал беды: от «компрачиков», был уверен, упасут родные, а также милиция (рядом со сберкассой на первом этаже нашего дома постоянно дежурил милиционер с пистолетом в кобуре), от козней мирового империализма – воин-пограничник, изображенный на одном из плакатов. В детстве я не сомневался, что любим своей страной почти так же, как родными и, засыпая в своей кровати, уж не помню какими словами, но благословлял судьбу, что рожден именно в этой стране, будущее которой даже прекрасней чем настоящее, по детским представлениям – техногенный рай с бесплатным мороженым.

Но вот был в детстве страшный для меня эпизод, столь не укладывавшийся в мои понятия о родном государстве, что я пытался от него отмахнуться, спрятать в какую-то самую дальнюю застреху, но с трудом удавалось. У наших соседей-родственников часто бывал симпатичный улыбчивый дяденька, иногда заходил поболтать и с моими родителями. Однажды я узнал, что он приговорен к расстрелу (уже взрослым понял, что по одному из первых расстрельных дел «цеховиков»). «А он все равно хороший человек», - повторяла мама, не помогая мне разрешить тягостную для меня загвоздку. (Это было уже не пятнышко, а грязная клякса, вроде б способная замарать любой плакат, где государственная жизнь представлена в своей полной справедливости). Однако мой детский оптимизм и стремление к ясности сами собой ее перемололи, задвинули-таки в темный угол, оставив незыблемой границу меж добром и злом: видно, и внутри меня обитал пограничник, не менее бдительный чем тот, на плакате. Так же было и с неожиданным, не укладывавшемся в голову высказыванием моей деревенской няни. Мы с ней смотрели по телевизору фильм «Трактористы», оба радостно хохотали. Но, отсмеявшись, она произнесла четко и внятно: «До колхозов мы жили хорошо, а в колхозе плохо». Как было не поверить няне? Как было не поверить фильму, который мне виделся вроде документальной хроники (а ей просто сказкой)? Но детский ум не упирается в подобные антиномии, разрешение которых мудро оставляет на потом. Я долго еще жил в уверенности, что страна, где я живу, в целом справедлива, а я один из ее законных любимцев.

Притом, чувствовал, - да уже и знал, - что этот обширный, но и умопостигаемый мир, вроде бы внятно разграниченный на добро и зло, знакомое и чужое, полезное и вредное, сладкое и горькое, способен будто вывернуться наизнанку иль мгновенно задать ракурс, когда привычное делается опасным (наверно, уже предчувствовал время, когда приблудившийся демон-путаник крепко вопьется в мою жизнь и уже не отстанет). Таков памятный эпизод, когда меня «украли цыгане» (так его называли в семье). Тогда мне было года четыре, может, лет пять. Я почему-то увязался за полужнакомым мальчиком с противноватой, неприветливой бабкой. Шел за ними следом, пока старуха, раздраженно обернувшись, не велела мне отправляться домой. Место было знакомое, много раз хоженое, да и не успел я уйти далеко от дачи - всегда на два поворота. Однако помню мной овладевшую панику: все вроде знакомое, но словно чужое, и перепутались все пути, или, верней, я сам

потерял путеводную нить. Может быть, дело не в пространстве, а в мерзкой бабке, пошатнувшейся, казалось, незыблемые законы и правила жизни: никогда еще я, любимый сынок, белокурый курчавый ангелочек (потом и следа не осталось от прежде ангельского облика), не получал от взрослых столь грубого афронта. Спасла меня откуда-то взявшаяся группа немых людей. В прямом смысле немых, объясняющихся только жестами. Потому я не мог им рассказать, где живу и чем встревожен, но у них, видно, особое чутье. Незнакомый мужчина взял меня на руки и, словно баюкая, утешая, понес через мне хорошо знакомую полянку точно в сторону нашей дачи, где у калитки стояла моя перепуганная няня с еще какими-то женщинами и главной поселковой сплетницей, твердившей: «Верно тебе говорю, его украли цыгане». Те, и правда, изредка совершали набеги на окрестные дачи, воруя по мелочи, что под руку попадет. Такова одна из притч моего раннего детства ставшая семейной легендой, возможно, мною не совсем удачно пересказанная, но не зря ведь запомнившаяся: оскорбили словом, будто заколдовали, а немые утешили. Она и назидательна, и многозначна. Можно даже из нее вывести мою помянутую склонность к апофатике, но это все-таки будет домыслом и натяжкой. Сейчас подумал: а если бы и впрямь украли цыгане, вот был бы мощный разворот жизненного сюжета. «Ах, вы, нянюшки-крали, жаль, что меня не украли», - как-то посетовал мой отец.

Черное пятнышко или родинка иль, может, черная метка давала о себе знать, при моем освоении новых пространств, - требовался некоторый душевный труд, чтоб они сделались благоволящими. Помню осенний день, когда бабушка в первый раз меня привела в парк ЦДСА, который по старинке называла Екатерининским. Туда водили и Януса через небольшую площадь, которая для нас обоих стала прообразом всех площадей. В Географии моего детства я описал его с редкой для меня подробностью в различные времена года, пытаясь припомнить все изобилие чувств, что во мне вызывал этот небольшой, как потом оказалось, городской садик. Конечно, он был не чета нашему углу скверу, распахнутому из конца в конец, очевидно утилитарному. Однако во время своих ностальгических прогулок в зрелые годы мне уже было трудно понять, где в этом парке могло уместиться столь много тайн и загадок. (С моей детской поры заметно ужались расстояния, но в последние годы они вновь потихоньку раздаются вширь и вдале, поскольку все трудней дается каждый шаг). Пожалуй, именно это городское

пространство мной было обчувствовано с наибольшей тщательностью, - а позже, случалось, и великие города я будто проглатывал целиком, не разжевывая, так что от них оставался лишь только привкус. В день моего первого знакомства с парком, пустые полости летних развлечений вызывали тревогу – радостный летом, как я позже узнал, парк уже впал в зимнюю спячку. У меня, с моим мизерным опытом пространств вызывало недоумение, к чему и зачем все эти изощренные с виду неприменимые постройки.

Екатерининский сад я имел возможность потом осваивать годами, ибо в нем провел несколько безбрежных детских лет. Кроме дачного сезона, туда ходил каждый день в прогулочную группу с изучением немецкого языка, который потом выветрился у меня без остатка кроме «дер тыш», «гутен тах» и «ауфидерзеен». Ее вела пожилая немка с закваской старорежимной бонны. О ней у меня остались лучшие воспоминания. Чуть суровая видом, она была явно талантливый педагог, в меру строгий, всегда справедливый – не имела любимчиков, брезгливо отстраняла подхалимаж, тактично разрешала все детские конфликты и неурядицы. Дома я как раз не испытал на себе целенаправленной педагогики. Воспитание было хаотичным, каждый воспитывал на свой манер, - дедушкина ненавязчивая духовная педагогика была наилучшей, но он рано умер. Уж не знаю, хорошо или плохо, что я не был загнан с малолетства в какую-либо предустановленную схему. Уж точно не обвиню родителей, что они похитили мою личность или ее коварно подменили. Я даже иногда испытывал нехватку благодетельного конформизма, немного жалел, что не так основательны и беспрекословны были родительские заветы, дававшие мне чересчур большой простор для в широком смысле жизненного творчества, подчас переходившего в сознательное испытание жизни на прочность или на вшивость, экспериментаторство над ней, и, что хуже, над окружающими людьми, но скажу в оправданье, в первую очередь над самим собой. В этих жестких экспериментах я кое-что познал, но потерял больше. О них вспоминаю с чувством вины. Годами я укрощал свою расхристанную жизнь и слишком вольнолюбивую натуру среди туманного поля существования. В результате, возможно, слегка и переборщил, жестко ограничив ее спонтанность, хотя всякие фортели моя жизнь выкидывала постоянно. Даже иногда пыталась меня захлестнуть с головой, - приходилось вставать на цыпочки и вытягивать губы, чтоб хлебнуть воздуха.

Но не буду вновь забегать вперед, ведь начал о парке. Нельзя сказать, что он сразу мне распахнул объятия. Да и в этой немецкой группе я впервые оказался без опеки родных, и уже не как центр вселенной, а один среди равных. Это был, конечно, переворот в моем инфантильном сознании, но и начало необходимого применения к реальности. Пришлось отстаивать свое место в этом детском сообществе, правда, миролюбивом. Хотя помню не то чтобы травлю (такого наша бонна не допустила бы), но мягкое отстранение от общих игр либо самых младших по возрасту, либо детей чем-то отличавшихся от благополучного большинства. Меня это не коснулось, но все-таки первое время я себя чувствовал не полностью своим, немного чужаком: конечно, непривычное чувство для всеми заласканного маленького принца. Впрочем, адаптация среди добродушных сверстников не была слишком долгой. Вскоре они ко мне привыкли, а я к ним. Через какое-то время я стал даже коноводом, организатором детских игр, тут обнаружив, как теперь говорят, креативность и лидерские задатки. Под мудрым приглядом старой немки наша группа не разделялась на противоборствующие друг с другом союзы, и мальчишки с девочками вполне дружно сосуществовали, объединяясь в общих играх (девочки, наверно, все же играли в свои «дочки-матери», но не напоказ). Тут я уже сумел различать мужское и женское, в дошкольном детстве испытав едва ли ни всю гамму взрослых чувств: взаимную симпатию, нежность к существу другого пола, бывало, что и ревность. Наверно, это можно назвать почти полноценной влюбленностью. Та самая девочка и стала зернышком, из которого произросла спутница Януса, впитавшая много женских образов, сопутствовавших нашей с ним жизни.

Тревожней складывались мои отношения с самим парком, еще не познанным, к тому ж по-осеннему, а вскоре по-зимнему оголенным (когда снег укрыл осеннее слякотное убожество, он стал немного приветливей), будто неприканным, пока для меня не открывшим свою летнюю предназначенность людям. В первое время я не слишком доверял ему, ожидал подвоха, словно чувствовал тихий шелест крошечного мира, защитит от которого бессильны даже и взрослые. Страх был всегда рядом. «Змей-Горыныч», - пугливо назвала девочка моток рубероида, брошенный строителями, - и вот уже страх. Ничего общего в этом безвредном мотке не было со сказочным змеем, хотя и черном, мрачном, урюмом, будто злобно затаившемся. Конечно, я понимал, что это не змей сам по себе, вывье, но

значок, символ какого-то зла, всеобщей угрозы. Еще помню свое первое в жизни столкновение с мертвечиной. В нише одной из невнятных для меня построек валялась дохлая ворона. Мои товарищи, в том числе и девочки, выяснилось, куда меньше меня брезгливые, с интересом ее разглядывали, присаживаясь возле нее на корточки, чтоб рассмотреть получше, - кого-то из них птичий труп даже и веселил. Чтоб не отличиться от всех, и я заглянул в нишу: птица выглядела, как живая, но неподвижна и со слепыми глазами. Зрелище мне отравило весь тот день, и потом я его вспоминал со страхом, пронзавшим мошонку. Вот то же и с Янусом, который признался: «Мертвечина вызывала у меня позыв рвоты. И я удивлялся беспечности других детей, без страха и отвращения, разглядывавших дохлую галку». Ему запомнилась галка, но мы оба слабы в орнитологии.

Впрочем, это был последний раз, когда Екатерининский парк (его назову, как звала бабушка) всерьез напугал меня, - иначе б запомнил. Постепенно я вживался в него, стал понимать назначение его экзотических строений. Моя первоначальная тревога будто затаилась в дальних кустарниках. Прошла зима и он, полный людей, по выходным и праздникам гремевший бравурными военными маршами, обернулся внятным и человеческим. Я полюбил этот сад, как теперь все больше ценю проведенные там годы. Сейчас он уже видится моим личным Эдемом, одним из самых родных мест, где будто распростерто мое детство. Знал бы, как сурова жизнь, не стремился бы прочь из детства. А ведь мечтал поскорей вырасти, - помню свое безумное опасение (это при тогдешней радости жизни!), что прожитые несколько лет вдруг да окажутся сном и я пробужусь так и не выросшим младенцем. Не иначе, как демон-путаник уже успел исподволь пробраться в мою душу, мне нашептывая всякие нелепицы, однако с затаенным смыслом. Потом временами он набирал такую мощь, что будто ставил под сомнение весь мир с его законами и обычаями, а то и вовсе грозил его стереть в порошок. Где он гнезвился – вверху, внизу, за спиной, сбоку? А может, во мне самом, моем собственном теле с его стыдными потребностями, что необходимо утаивать? Оно ведь всегда противоречило душе, пытавшейся воспарить, существовало как бы само по себе в непостижимой динамике возрастных перемен. Да и подмарывало самую душу, которую приходилось чистить от шлаков и всего наносного. Теперь я уже точно понял, что при жизни никак мне не вывернуться из собственного тела, которое становится все более требовательным, склоняясь

к упадку. Трудно было договариваться с этим настырным демоном, однако же, приходилось. Он и сейчас меня караулит где-то в конце тропы.

Да, нынче понимаю, сколь незрелым было стремление будто сократить свое детство. Стоило, наоборот, беззаботно насладиться той дивной порой. Но все же и теперь, представляя его издали, не хочется быть его вечным пленником. Тут сказывается возникший позднее страх быть закупоренным в своей личной эпохе, пусть даже и благоприятствующей, туда пойманным словно в ловушку, или быть словно вписанным в художественное полотно, картину, ограниченную рамкой. Случалось, что время меня брало за глотку, норовило располосовать личность, и тогда жизнь виделась чередой капканов, или, может, верней, тюремных казематов, - выберешься из одного, угодишь в следующий. Очень даже понимаю страсть моего «бумажного героя» из одноименной повести (жанр, как всегда у меня, условен) сорваться со страниц уже дописанной книги. Иногда время и вовсе уstraивало саботаж – все стрелки на часах будто замирали и в непроточных водах загнивала душа. Это чувство мне вряд ли под силу описать точнее, слишком оно индивидуально, хотя подобное, уверен, испытали многие, каждый по-своему, но о нем мало кто рассказал. А бывало, что жизнь будто рвалась на части, каждая из которых извивалась сама по себе, как червяк разрезанный лопаткой (любили мы в детстве так развлекаться). Опять-таки вряд ли сумею точно передать словами свое частое опасение обрыва жизни, верней, некоего обрыва себя со своими нынешними чувствами, целями и понятиями, свою трансформацию в чуть иную личность, что случалось не раз. Довольно тяжело для существования в мире, но, видимо, полезно для письма.

Все ж опять вернусь в свое детство. Некогда подробно мной описанный парк вновь живописать не буду. Лишь могу подтвердить по прошествии многих лет и миновании нескольких эпох, что тот был столь изобилен, что его б хватало на всю мою жизнь даже с переизбытком. Потом в дальних местностях меня настигали, как дежа вю, отголоски пережитых там чувств, опасений, угроз. Лучше теперь помяну другое любимое место – каток. Я там учиться фигурному катанию. С фигурами выходило не очень-то, но кататься я выучился бойко. Помню бешеный восторг, наслаждение почти сексуальное от вольного, умелого скольженья по льду. От того чувства остался навязчивый в отрочестве и юности сон, - не кошмар, скорей, приятный, но как-то слишком

загадочный. Поздний вечер, каток в яично-желтом свете прожекторов, а за его пределами – непроглядная темень; я там один, но чувства покинутости не испытываю. Стараюсь исполнять фигуры, которые мне в жизни никогда не давались. Сперва неумело, потом все уверенней, потом даже с блеском, легко, мастерски, остро испытывая тот самый чувственный восторг. Я не верю в сновидчество и равнодушен к психоаналитике, но упорно, годами повторяющееся сновиденье должно ведь что-то значить. Не копя чересчур глубоко, я его понимал, как попросту метафору вживания в жизнь. Пытался трактовать и более тонко, но это значение мне кажется наиболее достоверным. Уже несколько десятилетий, как он перестал мне сниться. Так и должно быть, коль в нем нечто уповательно юношеское, оптимизм самого преддверия жизни. Тревожное и сладкое чувство.

Не знаю почему, но теперь мне больше снится архитектура: целые города, не туманные, как бывает во сновидениях, а подробно и аккуратно вымышленные в каждой своей детали. (Иногда, зная, что сплю, бродил по улицам и площадям, сам дивясь полнотой строений). Может, это дает о себе знать мой зарытый в землю талант? Все возможно, но избрал другой путь и тут, видимо, не ошибся. Поскольку дар ночного зодчества смог щедро уступить одному из своих героев. Его руками, верней, воображением, я пытался построить огромный дом, размером со вселенную. Эта моя попытка (как и его) не кажется мне удачной, какова судьба и всех вавилонских башен. Признаюсь, что текст (вновь затрудняюсь в жанре), названный «Domus», я не сумел полюбить, но все-таки и теперь считаю, что было надо выплеснуть его на бумагу, как важный опыт и душевную потребность. Этот мой бумажный проект, надо признать, был не столь подробен, как творенья моего же ночного гения - с пустотами, изъятиями и прорехами. Впрочем, он был заранее обречен, ибо герой - полупомешанный гениальный неудачник, раз за разом пытавшийся бессильно спасти человечество. У меня же таких амбиций никогда не было. А может, - кто знает? – и были, но тогда, глубоко захороненные, умело позабытые; недаром же я выдумал бессильного вселенского доброхота, которому передал свое слово аж на целых полтысячи страниц.

Странно, что, обращаясь к детству, вспоминаю не только родных, но и первоначальные ландшафты, мебель в квартире, даже игрушки, а друзья

ранних лет с трудом припоминаются, кроме того единственного, чья смерть накануне жизни стала наибольшим потрясением моего отрочества. Он был моим лучшим другом (в друзьях исключительного статуса я нуждался лет до тридцати, потом нужда в них отпала), хотя относился ко мне чуть свысока: был старше на год, потому взрослей, образованней, умудренней. Был и у Януса похожий друг, вот как он о нем вспоминает: «Он был невероятно начитан, но память о книгах была всегда расцвечена его воображением. По канве чужих сюжетов он вышивал затейливые узоры. Даже имена персонажей он запоминал своеобразно, индивидуальным произнесением придавая им высшую выразительность. В его творческом сознании все с блеском переиначивалось. Любую скучную настольную игру он превращал в увлекательный боевик, угадывая неизвестные нам жанры вестерна и звездных войн. Как-то Янус приохотил его к античным мифам, и все лето друзья бродили рука об руку, рассуждая о деяниях героев, притом изобретали им все более невероятные подвиги. Он казался заранее избранным для ранней кончины судьбой, ревниво принявшей вызов его имени, означавшего “счастье”. За год до его смерти Янус заметил, что на его фотографиях стал появляться ореол, светлая радужка. Потом мальчик умер, не познав ни собственного, ни моего будущего. Посещая родные могилы, я подхожу и к его камню, который по соседству, где вовсе непохожий портрет отлит бронзовой медалью. Он не запечатлел ни его угрюмости, ни воображения. Там мой друг скорее похож на пионера-героя, помещенный убитыми горем родителями в скудный миф. Для меня ж он остался в мифе подлинном». И я своего друга приобщила к греческой мифологии. Сучковатую сосну, на которую он мог взобраться, а я не умел, мы называли Олимпом, и наша дружба мне казалась эпической: Ахилл и Патрокл, Орест и Пилад.

Вообще, друзей, приятелей, товарищей по играм у меня было множество, и на сквиру, и на даче, и в немецкой группе, самых разных – робких и бойких, простоватых и себе на уме. Всех их я растерял по пути, в общем-то, не слишком переживая: типа, ну, и бог с ними, новые заведутся. Только уже в зрелом возрасте я начал ценить каждого, а теперь уж тем более, когда ушли навсегда один, другой, третий, которые были событием в моей жизни. Ранние друзья не становились событием, хотя наверняка кому-то я сознательно или невольно подражал, у некоторых чему-то научился. И, конечно, напился такие, кто просветил меня в вопросах сексуальной физиологии, что не

маловажное, хотя и преждевременное знание: довольно рано я услышал отвратное слово «ебня» (именно в таком виде) с ее почти точным описанием. Разумеется, я не поверил, что мои родители причастны к такой мерзости, как и в столь грязный способ деторождения. Чтоб отвязаться от гнусных видений, я отнес эту новость к вонючему подполу жизни, откуда иногда сочились квазиэротические фантазмы, которым и я иногда был не чужд. Но этот подпол редко давал о себе знать. Как правило, наши детские забавы были чисты и невинны. Вы простите меня, друзья детства, от которых у меня все же сохранилось в памяти несколько имен, что на всех вас мне хватило одного лишь абзаца, хотя и затянувшегося. И спасибо всем, кто как-то скрасил мои ранние годы. Может, кто-нибудь из них тоже оказался пасынком века. Тогда трудно было понять: до поры и я вовсе не походил на пасынка

А вот память Януса оказалась более цепкой, хотя он и слил, если не всех, то, по крайней мере, распространенный типаж своих ранних друзей в единый образ голубоглазого мальчика: «Рядом с ним в детские годы я исполнялся силы, власти и вдохновения. Мы не вели с ним бесед. Он восторженно глазел на меня своими синими глазами, а я ему плел бесконечные истории. Именно, что бесконечные – без конца и начала. Он был единственным моим внимательным слушателем. Я заплетал дикие и цветистые сюжеты, сваливая в кучу все увиденное, услышанное и выдуманное, приправляя незамысловатые детские мультики своими цветистыми мечтами и романтическими грезами. И конечно, главнейшим после меня персонажем там была принцесса, менявшая облик в зависимости от моих увлечений. Голубоглазый нежный мальчик верил всему. Слегка презирая его за легковерие, я нуждался в нем, своей верой придававшим хотя бы легкий оттенок достоверности моим героическим бредням. Повесть, которую рассказывал Янус своему детскому другу, была бесконечным сериалом, предвосхитившим мыльные оперы. Голубоглазый мальчик прощал ему рыхлость сюжета, нежизненность персонажей и буйство фантазии. Временами, симпатичный мальчуган пытался завести собственный фантастический мирок. Не из зловредства или обиды, а скорей из подражания мне. На скажу, что я грубо растаптывал тот мирок, но ласково душил иронией. Кажется, я все же не нанес душевной раны голубоглазому мальчику, потому он скорей всего меня позабыл. Это мой удел и подобных мне несуразных людей помнить все до зуда в затылке с самых ранних времен и влачить по неровной дороге шарабан, наполненный

ненужным скарбом». И у меня были такие голубоглазые друзья, о которых приятней всего вспоминать, а также сподручнее забывать, поскольку я, в отличие от Януса, все же не весь накопленный скарб влачу в своем шарабане. Бывали у меня дружки и другого рода, подчас даже со склонностью к тирании.

Но теперь скажу о вещах не менее важных чем люди. Существовали в моем детском жилье и странные, явно не утилитарные предметы. Ну, или предметики, учитывая их малый размер – это книги. Их было много – два битком набитых шкафа, стенные полки. Уже не помню, когда я впервые обратил на них внимание. Но ценность книг, вопреки их малоформатности и скучному облику (к тому ж ведь с ними не поиграть и вообще никак не использовать) мне внушили очень рано. «Книжки», - торжественно возглашал любимый дедушка, вообще-то чуждый пафосу, обводя рукой пыльные полки. Уж ему-то я доверял целиком и с тех пор усвоил, что эти бумажные брусочки, наверно, значительней всей нашей жизни, а, может, в большей мере жизнь, чем она сама в своей непосредственности иль, по крайней мере, высший ее слой, поднебесье. (Разумеется, это было чувство, а не понятие). Нет, наверняка я и раньше представлял, что такое книга, у меня ведь были свои, детские – красивые, с яркими цветными картинками. Знал, что, глядя на их страницы, взрослые могли слово в слово скандировать забавные стишки, где рифмы казались какой-то ловкой словесной шуткой, или рассказывать симпатичные байки (это называлось чтением, что - особое искусство, которому надо учиться), а сам я любил там разглядывать картинки. Но это были книжечки, о них не говорили с придыханием. Хотя они были не лишь развлечением, а в них присутствовало и назидание (взрослые всегда подчеркивали их простодушный дидактизм), но с ними можно было обращаться так же свойски, как с игрушками, даже и порвать, что было тоже увлекательным занятием. Порвать же «взрослую» книгу, я рано понял, было подлинным кощунством, мне б это и в голову не пришло. Притом, что в большинстве они были немymi, без картинок, с плотным, непривлекательным текстом, немного разреженном диалогами, но, видимо, исполненном мне пока недоступной мудрости. Я знал, что их сочиняют люди, но какие-то наверняка особые, не теперешние, а которые все уже умерли. В самые ранние годы я б никогда не поверил, что кто-то из близких при всем к ним почтении мог быть создателем книги.

Однако чуть позже я почему-то не слишком удивился, когда мне со значением, с некой даже торжественностью, показали первую выпешдшую книгу моего отца. Она не показалась мне значительной: не солидный кирпич, подобно стоящим на полках, и не детская книжка с картинками, а всего лишь мелкая брошюрка. Выходило, что мой отец «писатель», но не совсем настоящий, почти самозванец, вызывающий не уважение, а больше сочувствие. Я стыдился говорить посторонним, что мой папа писатель. И правильно делал. До того, как он вошел в известность, это вызывало у моих знакомцев язвительную иронию. Правда, как я вскоре узнал, и отцовские друзья в большинстве были создателями книг. Оттуда явилось понятие, что их сочиняют все же не какие-то особые люди прошлого, а те самые, которых вижу чуть ни каждый день. Не оттого ли возник дерзкий замысел и себя попробовать в сочинительстве. Где-то лет в семь, тайком тюкая одним пальцем в отцовскую пишущую машинку, я сложил стишок, вдохновленный подвигом сержанта Зиганшина, первая строчка которого вызвала смешливое одобрение взрослых: «День сменяется облаком ночи». С этого ночного облака и началась моя личная литература.

Зароненное в раннем детстве почтенье к книге потом обернулось настоящей страстью. Читать я научился лет в пять-шесть, и тогда к жизни все больше стала примешиваться литература, постепенно ее заслоня едва ль ни всю целиком, лишая существования непосредственности. Не родные люди, а именно книги, безмерно расширив сознание, сделав множество бесценных подарков, отчасти подменили мою личность, а реальность уж наверняка. Этим я не отличаюсь от большинства своих друзей и знакомых даже не обязательно из числа пасынков века. В своем тексте-монологе «Бумажный герой» я пытался изобразить страстный порыв книжного существа сорваться с бумажных страниц. Я представил, это что ему удалось, и он себя обнаружил во невдохновенном, скудном мире, куда будто бы не вмещается ни безмерное благо, ни великое зло. В результате он возненавидел этот колченогий мир без завязок и развязок, без сюжета и назидания. Тут сказалась именно, что книжность героя, его зауженный взгляд с бумажного листа, где он блуждал средь букв и пунктуации. По сути, ничего не зная о жизни в истинном ее объеме, он ее представлял бездарно сочиненной книгой, скорей даже, черновиком, который возможно переписать набело...

Здесь надо прерваться. Сейчас за окном снежок. Крепкая, но не морозная зима, какими и были зимы моего детства, по крайней мере, такими запомнились. Близится Новый год, даже скептикам и занудам сулящий надежду на обновление жизни. С этим детским чувством и сейчас не хочу расставаться, хотя, конечно же, знаю заранее, что вновь потом уткнусь в очередные будни. В строго материалистичном мире моих ранних лет я все-таки чувствовал или предчувствовал неким красешком души существование нежной рождественской сказки, хотя не ведал ни о младенце в яслях, ни о волхвах с их путеводной звездой. (Притом, любил новогоднюю елку, высокую, под самый потолок, смолисто пахнущую, украшенную таинственной красоты игрушками и разноцветными лампочками, интимно мерцавшими, когда выключишь верхний свет). Я ее узнал много позже, не помню как и от кого, тут моя память слишком неблагодарна. Она меня ждала далеко впереди, став утешением на все мои времена. В своем раннем тексте, названном «100 дней» я попытался создать очередной апокриф поклонения пастухов-магов. Те преподносят младенцу два подарка: корону, как видимо, символ земной власти, которую он отвергает, и птицу. Теперь на знаю, почему именно щегла – я уже говорил, что слаб в орнитологии. Этого никогда уже не разгадать, коль не влезешь в свою прежнюю шкуру, но явственно в том отрывке преклонение перед детством, своим и всеобщим. А в монологе «Ночка», обращенном к моему новорожденному сыну, из того же раннего цикла, оно достигает уже почти параноидального накала. Потом я, увы, утерял этот свирепый напор чувства и мысли, изливающийся в литературу...

.....

Ну, вот и миновали зимние праздники. Не сказать, чтобы весело; все их я проболею какой-то цепкой, въедливой хворью, что оставила по себе слабость во всем теле и легкий туман в голове. В прежние-то годы я это и болезнью-то не считал, а сейчас припекло. Однако попробую продолжить с того места, где приостановился, поскольку разумно себе положил теперь ничего не откладывать на потом ибо нынче все эти потом гадательны. Надо сказать, что пишется мне почему-то всегда зимой – на склоне года и в начале следующего. Поэтому зимы я перемахиваю с легкостью.

В отличие от своего бумажного героя, я никогда не проклинал жизнь в целом, не чувствовал в себе желания ее извести под корень. Но вот вопрос

достойный осенних лет: а свою собственную хотелось бы переписать, исправив ее многочисленные помарки? Пожалуй, что и нет, пусть уж остается, как есть: замаранной рукописью, с напрасными длиннотами, небрежной правкой, кляксами, орфографическими, синтаксическими и стилистическими ошибками. Притом, не житие, не выхолощенный канон, а подлинно живая, во всем накале страстей и чутко откликающаяся нашей истеричной истории. Впрочем, раннее детство, куда сейчас попытался заглянуть, как раз было безошибочной эпохой жизни. Откуда и взяться личным ошибкам, коли я был ведом близкими людьми да будто и самим ходом существования? Тогда сознание еще не заявило о своих правах, оттого и невозможны колебания в выборе пути, опасение избрать неверный средь и тогда многочисленных даже роковых развилочек. Вот там, в глубинах своего детства мне уж точно не хотелось бы что-либо переначить. Можно предположить, что именно тот мой детский образ наиболее верен, почти свободен от наносного, привнесенного знаниями, а также фортификационной системой самозащиты от людей и мира. Он столь теперь отдален, что, и впрямь можно задаться вопросом: а был ли мальчик или он лишь только литературный вымысел?

И все же мальчик не только был, но и есть, целиком проросший в меня нынешнего, сделавшись самым корневищем моего существования. И вот сейчас он настоятельно требует отчета обо всех мною прожитых годах: как, мол, я распорядился с богатым наследием своего детства? (Может, именно этого ждал от Януса близнец, выскочивший у него на затылке, но Янус еще не достиг поры мудрости). С моей нынешней готовностью каяться, мог бы смиренно признать, что довольно-таки незначительно. И уж, по крайней мере, не вернул самым родным людям то добро, которым я им обязан. Но притом, мне иногда кажется, что моя дальнейшая жизнь довольно точный оттиск моего раннего детства с его страхами и надеждами. Осуществлялись вяже ночные кошмары (когда умирали близкие), но не раз показывала и свою прочность, выправляясь после любых жизненных трагедий. Изначального оптимизма и веры в себя я и поныне не до конца растратил. Любопытно: только сейчас заметил, что в этих воспоминаниях о счастливой поре жизни слишком часто употреблял слово «тревожный» с его производные. То ль вопреки, то ль именно благодаря этой тревожности, действительно серьезные жизненные ситуации я встречал спокойно, поскольку те и сравниться на могли с хищными фантомами воображения. Короче говоря, как сумел, я отдал дань своему детству, его описав хоть наброском, но теперь

уже дважды, а может, и многократно, себе в память и, хочется верить, другим на некоторую пользу.

Я заглянул в прошлое, но не уверен, что мне удалось его ухватить в его истинном, аутентичном смысле хотя б̄ даже за хвостик. Это именно, что подвижная картина (по-современному, клип) иль, верней, череда картинок, с уже завершенным сюжетом. Припомнилось наиболее броское, но важнейшее, как подозреваю, затаилось в деталях, к которым я, как уже говорил, несправедливо равнодушен. Но стоит ли препарировать свое раннее детство, отыскивать это важнейшее в каких-то дальних застрехах? Все равно вряд ли до него докопаешься, пробившись сквозь многочисленные препоны самозащиты, учитывая изопренность сознания в его привычном уклонении от главного. Пусть уж эта исповедь так и останется чередой живых картинок, с действительно некоторым тоном исповедальности, оборвавшейся наугад, без достойного финала, который мне подсказал бы тот бумажный герой, который, как я уже сетовал, всегда норовит подхватить мою пишущую руку. Да я ведь и загрузил заранее холст определенного размера, выходить за рамки которого все равно б̄ вряд ли получилось, - и ни к чему. Пускай же это просто будет мой нырок в раннее детство, чтоб там омыть свою уже заскорузлую душу. Самому трудно понять, что тут от жизни, а где все-таки литература. Да ведь она так вьелась в мое существование, что не отдерешь. Может, она и есть мое существование.

Напоследок дам слово Янусу, позаимствовавшему образ сходящихся цепей, кажется, у Боссюэ: «Он подумал, что из его невеликих добродетелей и пороков все ж соткалась удивительная жизнь, где ненастоящие смерти, как звенья тех цепей, что сходятся у Небесного престола». Ну что ж, ему виднее с его-то четырьмя глазами, а жизнь, у нас, в общем-то, одна на двоих. Чем закончилось путешествие Януса пока умолчу, поскольку, может быть, все-таки решусь когда-нибудь обнародовать притчу о нем, если почувствую, что хоть кто-то захочет и, главное, сможет разгадывать мои ребусы. А мое собственное путешествие еще не закончилось.

Октябрь 2018 – февраль 2019



ЛЕБЕДИНАЯ ВРЕДНОСТЬ*Страницы неподцензурной биографии***ЗОБАР**

В этом дворе я как-то пил с человеком по кличке Зобар, только что освободившимся из заключения. Имя цыганское — наверное, из фильма «Табор уходит в небо». Или что-то специфически тюремное. У него был эстонский зеленый паспорт. За время короткого дворового возлияния мы о многом успели поговорить по душам. Причем он о себе рассказал больше, чем я ему. Мы встретились с ним на Ленинском проспекте в районе метро Шаболовка. «Кремль там?» — спросил он, кивнув в сторону площади Гагарина. Я показал в другую сторону. Мы сели на троллейбус и поехали в сторону Кремля. Зачем ему зандобился Кремль я так и не успел выяснить. Вышли на остановке возле моего дома, зашли в «Магнолию». Я купил фляжку коньяка и шоколадку. Зобар ничего не покупал, но когда мы оказались в дворике, оказалось, что он прилично затарился. Пизданул шкалик водки, полбуханки бородинского и палку колбасы. Угостил меня. От шоколада отказался. Мы пили каждый свое, и беседовали. Вор собирался через неделю мотануть в Челябинск. Денег при его способностях он мог добыть легко. Он сказал мне, что не делает этого, потому что ему жалко людей, и я ему поверил. «Хожу по вашей Москве, присматриваюсь, не знаю, кого грабануть. Почему-то рука не поднимается. Какие-то все жалкие, недоделанные. Ты нормальный. Первый нормальный человек в этом городе». На комплименты я не клевал. Я как-

то плохо клюю на комплименты. Старик рассказывал про свою душевную драму. Уметь воровать и не делать этого — серьезный психологический перекося. Я вот умею писать — пишу. Умел бы делать что-то другое — делал бы что-то другое. Надеюсь, Зобар преодолел свои комплексы. А то какой-то голубой воришка: ворует и стыдится. «Тебе хорошо, тебя ждет жена, дети» — говорил он. «Ты программист?» Я соглашался. К жене и детям как раз идти не хотелось. По этой причине я и стоял в этом живописном дворике. Хмелел, чтобы было легче выполнять семейные обязанности. Мы порешили встретиться на Шаболовке завтра днем. «Спросишь, там меня все знают». Мы обнялись на прощанье, но щипач ничего у меня не спиздил. Прощаясь, я хлопнул себя по боковым карманам куртки, чем вызвал улыбку Зобара. Он пошел на какую-то малину на Павелецком. Я — ко своей злой жене. Пополудни я был на Шаболовке. Спросил у бухариков, которые в те времена вертелись у станций метро про Зобара. Никто ничего не знал. Они послали гонца-разведчика на поиски. «Если такой есть, мы не можем его не знать». У них был главарь в пиджаке с железной медалью. Женщина с синяками на лице, боевая подруга. Несколько мальчиков на побегушках. Ветеран грузино-абхазского конфликта, который когда-то воевал на грузинской стороне, но потом нашел прибежище в Москве. У него одного была квартира. Он уходил жить на улицу, чтоб не скучать с супругой, как и я. Чтобы пить. По большому счету, мужики играли в казаков-разбойников, изображали асоциальность и пацифизм. Они гордились своим образом жизни. Я купил им литровку «Русского стандарта» и стал душой компании. Справки о таинственном Зобаре наводились часа два. А, может, и не наводились — бомжи элементарно хотели выпить на халяву. Как бы там не было, ни Зобара, ни представителей вольных Соединенных Штатов Шаболовки я больше не видел. Зачем я общался с ними? Искал сюжетов? Да нифига. Просто мои друзья все тотально поумирали (что в Сибири, что на Урале, что в Москве, что в Америке), и я, похоже, искал мужского общения и традиционного советского бухалова в подворотне)

СТЕКЛОДУВ

Раскол в отношениях происходит задолго до того, когда люди начинают что-то замечать. Трещина начинает свой путь исподволь, и лишь потом на

реке начинает трещать лёд. Мы были женаты уже семь лет, но чувствовали себя молодожёнами. Перед каждым путешествием я писал губной помадой на заднем стекле автомобиля «just married», а жена клала на заднюю панель чуть пожелтевшую свадебную шляпку. Это радовало прочих участников автомобильного движения и отпугивало ментов. Внешняя атрибутика возвращала нас в молодость. Мы переживали свадебное путешествие в каждой поездке.

В то злополучное Рождество были в Вермонте, встречали новое тысячелетие. Катались на лыжах, посещали рестораны, потом заехали в местечко под названием Москва посмотреть на работу стеклодува. В Америке много Парижей, Миланов и Мадридов. Здесь была Москва.

На огромном окне служившим витриной мастерской, стояли волшебные лампы, стеклянные котлы, фигурки животных и людей, колбы и колбочки. Шел сезон елочных игрушек. Стеклодув выдувал шары разного размера и цвета, брал деньги за шоу. Вид раскаленного стекла завораживает, как вулканическая лава, спускающаяся по отрогам гор, как светящаяся подводная рыба.

—Могу сделать вам кольцо наподобие муранского, - заявил парень. — Венеция считается родиной стеклодувов.

—У меня для такого слишком короткие и толстые пальцы, - засмушалась супруга.

—Тогда сделайте стеклянный шар.

Елки в гостинице у нас не было, но мы могли обломить еловую ветку в лесу и украсить ей гостиничный номер. Шары парень делал большие. В процессе остывания посыпал их мелкими серебряными блестками. Предложил жене подуть в трубку и почувствовать себя средневековым ремесленником. Она согласилась. Помню ее радостное лицо с раздутыми щеками, растущую шаровую молнию на другом конце трубы. Она дула изо всех сил. Ее шар получился самым крупным. Стеклодув аккуратно перехватил трубку с изделием специальными щипцами и положил в одну из ступиц для выравнивания. Вскоре шар был готов. Мы завернули его в оберточную бумагу, положили в целлофановый пакет с надписью «Московские стеклодувы».

Новый год встретили с друзьями. За полночь вернулись в отель. С утра я начал лепить бесформенного смешного снеговика из мягкого подтаявшего снега. Жена вышла на улицу и холодно следила за моей работой.

— Как мне все это надоело.

— Что?

— Твои штучки.

— Какие штучки?

— Снеговики, например. Ты их лепишь-лепишь, но ничего не меняется.

— А что должно измениться?

— В том то и дело, что с тобой всегда будет одно и то же.

— Раньше тебе это нравилось, — пожал я плечами.

Я решил, что она встала не с той ноги. Ударил снеговика по морде, повалил навзничь и растоптал.

- Теперь ты довольна?

Вечером супруга попыталась меня отравить. Я остался дома смотреть телевизор, она съездила в супермаркет за продуктами. Где умудрилась купить яд, не знаю. Вряд ли это был цианистый калий, но выйдя из душа, я заметил, как она подсыпает какой-то серый порошок мне в пиво. Сделал вид, что ничего не видел. Пиво незаметно вылил в раковину. Разыграл недомогание, лёг пораньше в постель. Что-то случилось. Плевать, что конкретно, но случилось. Когда человек теряет душу, то вовсе необязательно продает ее дьяволу. Он может обронить ее как кошелёк, как обручальное кольцо с пальца. При смене эпох вероятность подобных потерь увеличивается. Я лежал на гостиничной койке и едва приоткрыв глаза, рассматривал свою недавнюю любовь. Очарование исчезло вместе с наступившим Новым годом. Я увидел перед собой стареющую располневшую бабу, безо всякой причины маниакально уверенную в своей правоте.

Мы прожили вместе ещё лет десять, родили троих детей, но посещение вермонтского стеклодува стало для нашей семьи роковым. Моя супруга радостно выдохнула свою сущность в случайный новогодний шар и жизнь

мгновенно потеряла смысл для нас обоих. Свою бессмертную душу надо беречь. Факт. Опасайтесь отринуть ее от себя вместе с кашлем, выдохнуть на запотевшее стекло, или потерять, надувая простой воздушный шарик. И ещё. Сторонитесь стеклодувов из города Москва, штат Вермонт, США.

ДУХ ДЖОНА МАЙЕРА

В 2004 году я купил дом в Пенсильвании на берегу озера Arrowhead. Два кирпичных дома: хозяйский в стиле шале и гостевой в виде квартиры над гаражом. Горный воздух, сосны до небес, падающие зимой от тяжести снегов, шикарная летняя рыбалка. В жару у нас на горе всегда было прохладнее, чем в долине. Микроклимат. Все лето мы с детьми ловили рыбу и коптили ее. Ребятишки со всех окрестностей приходили к нам купаться, рыбачить и хулиганить. Озеро отличалось от соседних тем, что было естественного происхождения. Остальные водоемы в этих краях - затопленные шахты. Наше - настоящее. Именно поэтому в нем водились доисторические черепахи - снэшперы, так называемые кусающиеся черепахи. Они часто цеплялись ногами за наши крючки. Иногда мы доставали их, чтобы продемонстрировать американцам, каким богатством они обладают, но не ценят его. Под торжественные крики толпы дети отпускали снэшперов на волю. Черепахи этой породы - длинноногие, с маленьким панцирем-ермолкой, под которую голову не спрятать. Перемешаются очень быстро, за некоторыми нам приходилось бежать, чтобы как следует распрощаться.

Кроме этой забавы на протяжении нескольких лет мы вызывали дух Джона Майера, человека, который построил в 70-х два этих дома и тут же умер. Недвижимость мы приобрели у его вдовы, купили, не торгуясь, взяв ссуду в банке. Слишком здесь было хорошо. Джон не только поставил два здания на берегу, но и проложил кирпичные дорожки по территории. Они плутали по участку, огибали корни деревьев и оканчивались у пристани, где берег порос таинственным изумрудным мхом. Впервые эта идея возникла, когда мы привезли из резервации священную траву индейцев - sag grass, и воскурили ее в большой стеклянной пепельнице. Таинство производили четвером. Я и мои дети: Артемий, Варвара и Дарья. Местные жители на первый сеанс магии не допускались. Я нашёл в интернете слова древнего

абенакского заговора, прочитал его и в конце добавил по-русски и по-английски. «Джон Майер, вольный каменщик, приди ко мне». В этот момент шторы зашевелились, по стенам прошли волнообразные тени — длилось это не более трёх секунд. После этого пепельница лопнула, развалившись на пять одинаковых частей.

И я, и мои дети, с некоторых пор стали принципиальными материалистами. Мамаша пыталась приучить нас к церкви, но в конце концов отдала предпочтение бизнесу. В тот вечер мы испугались. Мы с Артемием считали, что пепельницы изготавливаются из жаростойкого стекла, чтобы в них можно было тушить огромные сигары и сжигать компрометирующие документы. Щепотка тлеющей индейской травы не могла привести к разрушению пепельницы. Мы закрыли все двери на замок, и с горем-пополам уснули.

На следующий день история повторилась. К нам пришли Саймон, Дэвид, Макс и Мирра. О возвращении «кирпичного человека» они уже были насыщены. Вновь кольхнулись шторы над sliding door, в глазах на мгновение потемнело и очередная стеклянная пепельница рассыпалась. Слух о возвращении Джона Майера разнесся по посёлку. Его помнили лишь старухи, которые жили в Arrowhead зимой и летом. Остальные — сезонные отдыхающие из Нью-Йорка. Им это имя ни о чем не говорило, но и они приутихли. Бабка Патриция из соседнего дома, божий одуванчик с перманентом на голове, принесла мне пустой и пыльный доисторический штоф, квадратную бутылку из-под какого-то зелья, которым ее когда-то угостил Джон.

— Он должен помнить эту бутылку, — сказала она.

— В доме полно его вещей. Диваны, люстры, шкафы. Я почти не меняю мебель. Что ему твоя бутылка? Что он в ней хранил. Шнапс?

— Бутылку он должен помнить, — повторила она. — И напиток тоже.

— Ты думаешь его дух может залезть в неё?

— Это было бы очень хорошо, — сказала она со значением.

Я поставил штоф на полку над камином, предоставив ему полную свободу покрываться пылью и дальше. Больше тем летом мы Джона Майера не вызывали. У нас кончились волшебные травы и пепельницы.

На наличие бумбарашек мой дом когда-то проверяли наши постояльцы. Летом 2007 года я жил здесь один и сдавал помещения рыбакам весь сезон. Однажды ко мне приехало четыре семейных пары. Мужчины ловили судаков на живца, а женщины пытались найти привидение в моем доме. Привидения любят старинные кирпичные постройки. Шуршат в печной трубе, раскачивают люстры, пробираются к тебе под одеяло и пронизывают тело пугающим холодком. Чтобы испугать девушек, я приколотил на чердаке гостевого дома красные персидские туфли на потолок, выкрасил несколько лампочек на веранде в чёрный цвет, спрятал магнитофон в одну из тайных ниш и включил на нем запись с индейскими ритуальными завываниями. Девки были обкурены. Когда сели на измену, и их затрясло, попросили, чтобы я вывез их из этой ужасной хижины. Я признался, что пошутил. Пришлось съездить за водкой, чтобы не потерять клиентов.

После этой истории во время ночёвки в гостевом доме ко мне на постель села девушка в синих джинсах — я помню на ощупь их фактуру, запах ее духов — настолько этот сон был реалистичен. Она была похожа на одну из моих tenants, снимающих хату под Новый год, но была с парнем. Из-за этого я с нею толком не познакомился, о чем до сих пор сожалею. Звали ее Кристина. Это все, что я могу о ней сказать. На следующий год после вызывания духа Джона Майера мы решили вызвать ее. Это была моя личная инициатива. Я хотел признаться ей в любви. Мужчина не может любить только детей. Кто-то любит женщин, я полюбил привидение.

На этот раз народу было много. Русские и американские дети всех национальностей. Все были наслышаны о Кристине и о моей скорой помолвке. Траву жгли на веранде гостевого дома. Я сказал свои скво-моя-твоя. Неожиданно с лестницы скатился мальчик Саймон с криками «она там ходит». Увлекаемый группой подростков я забрался на второй этаж, проник по лестнице на чердак. Персидские туфли быстро пробежали по потолку и тут же вернулись на место, где я их приколачивал.

—Что это такое, дядя Вадим? — спросил меня Саймон.

— Тётя Кристина вернулась, — сказал я. — Нас ждёт сегодня первая брачная ночь.

Тётя Кристина спустилась с чердака, такая же молодая и сияющая, как под Новый год. Она была идеальна, даже когда курила. Мы ловили с ней до утра рыбу и коптили ее до состояния обугливания. Когда утром, на наши закидушки зацепилась черепаха, она достала ее и поцеловала панцырь, оставив на нем алый цвет своих губ.

— Здравствуйте, Кристина.

— Здравствуйте, Джон Майер.

— Скажите, почему вы скрывались от меня все эти годы?

— Я скромна. Я безбожно скромна.

Она всегда приходила в этих синих, только что из магазина, джинсах. И я любил ее то как дочь, то как сестру, то как жену. В черепахах разобраться трудно. Поэтому я привёз ещё один самосвал кирпичей и выложил за ночь дорожку от моего до ее дома.

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Штерн спрятал у женщин одежду, но они все равно ушли, нарядившись в старые ветровки и мужские резиновые сапоги, найденные на даче. Женьке было обидно: он раскошелился на фрукты и домашнее вино с колхозного рынка. Старался. Хотел провести выезд за город по первому разряду. Щедростью Евгений не отличался, но на сегодня, видимо, имел секретные планы. Мы с Лапиным подозревали, что он собрался сделать предложение Людочке Гулько, и посматривали на него с любопытством.

Идея прятать у дам одежду обычно срабатывала. Мы часто делали это, особенно зимой. Девушки оставались на ночь, достаточно было похитить их сапоги. Если любовь надоедала, предметы гардероба торжественно возвращались. Сегодня фишка не проканала. Анжеле, Анне и Людмиле действительно нужно было ночевать дома. Дача принадлежала Людкиным родителям, но она нас гостеприимно оставила, надеясь, что до пожара и затопления дело не дойдет. Из-за ее ухода расстроился не только Штерн. Расстроился и я. В те времена она давала нам обоим. Штерну официально, а

мне - тайно. Мы даже приезжали иногда с ней на эту дачу и пили шампанское в постели.

- Как же мне женить тебя, - непритворно вздыхала Людочка.
- Да никак, - отвечал я, реалистически оценивая ситуацию.

Как-то под новый год Штерн застукал нас целующимися в сортире и смачно подбил мне глаз, попав в лоб тяжелыми наручными часами. Мы провели в драке всю новогоднюю ночь, но потом помирились, вернувшись в философское расположение духа.

Сегодня умиротворение не приходило. Штерн преследовал девушек до автобусной остановки, умолял, настаивал, издевался, - но безрезультатно. Мы с Лапиным не парились. Пили вино и ели фрукты, которых, благодаря влюбленности Штерна, было у нас в избытке.

Евгений вернулся около полуночи злой и трезвый. Нас с Лапиным не видел в упор. Он рассчитывал на другую компанию.

- Как же ты теперь без женщины? - издевательски процедил Сашук. - Без женщины тебе никак нельзя.

Штерн смерил его взглядом, отпил "Наири" из горлышка и предложил отправиться на поиски "живой жизни".

- В нашем распоряжении чудная дача, - сказал он. - Биксы должны слетаться сюда, как пчелы на мед.

Когда мы выдвинулись, снаружи установилась египетская тьма, слегка разряженная лунным светом. Пейзаж ночных полей предполагал волчий вой. Деревья у края дороги казались гигантскими распятыми. Земля под ногами чавкала, пожирая наши импортные тапки. Комары утомонились и вылетали из кустов строго по одному, чтобы сесть на нежное тело влюбленного Штерна. Нас с Сашуком они почему-то не трогали.

- Это ты заявил, что на свете есть любовь? – вдруг спросил меня Женька.

Я задумался. Я мог сказать в этой жизни, что угодно.

- Есть, - подтвердил я свое недавнее ощущение.

Четыре месяца назад я вернулся из Душанбе, где выступал на фестивале политической песни Азиатского региона и влюбился в Викторию Тер-Погосян из Ленинакана. Она подарила мне одноразовую зажигалку нежно голубого цвета. Я заправлял ее секретным способом и считал, что «эта музыка будет вечной». Любовь существует, думал я теперь, зажигая сигареты. Сообщал об этом Вике, когда звонил с главпочтамта, набив карманы пятнадцатикопеечными монетами. Я любил Викторию, несмотря на то, что у нее была какая-то мутная болезнь кожи на животе и бедрах. Пройдет, говорил я ей, и был уверен в своей правоте. Она тоже была в себе уверена и умоляла сочинять песни попроще.

- Хватит с нас этой "гребенщиковщины", говорила она, - Ты создан для большего.

Штерн проникся моими убеждениями и на время забыл о новогодней драке. Зря он это забыл. Наш взаимный интерес с Людмилой не угас. Я не удивлюсь, что Гулько уехала из-за двусмысленности своего положения. Мне, как всегда, происходящее казалось естественным: с ней и без нее. Женщины устроены тоньше.

По проселку навстречу пронесся «Уазик», ослепив нас фарами дальнего света. Мы отпрыгнули в канавы. Лапин - в яму у леса, мы со Штерном - в заросли кукурузы. Когда он скрылся, мы вылезли, матерясь и отплеиваясь, и уставились на явление божественной красоты, появившееся на краю горизонта.

Навстречу нам шла женщина в белом. Ее светлые волосы полыхали в матовым сиянии луны, на руках копошилось нечто вроде младенца. Женщина держалась прямо, как балерина. Ребенок спал, прижавшись к ее груди. Мадонна медленно приближалась к нам, думая о чем-то своем. Мы вылезли из травы и скромно притулились у края дороги, чтобы не напугать даму.

- Одна, в столь поздний час? – светски обратился к ней Лапин. – Я могу проводить вас до дома.

- Мы все можем проводить вас до дома, - вставил Штерн. – Мы все можем проводить вас до нашего дома.

Лапин недовольно фыркнул и накинул на плечи девушки потасканную джинсовую куртку. Лапин в нашей компании слыл однолюбом. Ира Карамзина по кличке Мурза из Запстока была дамой его сердца: она была мускулистая и страстная. Теперь ему попалоcь более воздушное создание.

- Вы больше любите Моцарта или Бетховена? – спросил Сапук и мы со Штерном взвизгнули от ехидства.

- Как вам сказать, - отозвалась барышня. – Это по настроению.

На руках у нее сидела маленькая лысая собачка темной окраски, которую мы сперва приняли за младенца. Лапин рассказал ей все, что знал о собаках. Я тоже подошел к девице и предложил ей свою куртку.

- Только вчера из химчистки, - мотивировал я свою идею. – К тому же вельвет мягче, чем джинса.

Она не понимала, о чем я. Лишь радовалась, что получила столько внимания в холодную волчью ночь. Она улыбалась в ответ на наши комплименты и шутки, с интересом поглядывая то вправо, то влево. Волосы ее, по моде тех времен, были окрашены перекисью в неестественно белый цвет. Щеки густо напудрены. Я заговорил с ней о поэзии Льюиса Керролла.

- Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове...

Женщина с нежностью посмотрела на меня.

- Это на украинском? – спросила она, недолго думая.

- На сербско-хорватском, - опередил меня Штерн.

- Музыка лучше литературы, - обиделся Лапин. – Сильнее дает по мозгам.

При упоминании об измененных состояниях сознания, дама вздрогнула.

- Мы жарили пашльки, - сказала она. – А потом я всех потеряла.

Это сообщение нас со Штерном немного насторожило, но Лапин продолжал витийствовать.

- Давайте я возьму у вас песика? Он не кусается?

Лапин вырвал у нее из рук животное и прижал к себе. Его неразумный маневр позволил мне обнять даму. Я оцупал рукой ее худенькую ключицу и во мне проснулась нежность ко всему живому. Дама обратила внимание, что нечто произошло, и прижалась бедром к моей ноге.

Она была намного пьяней, чем мы. Поэтому в основном молчала. Ее молчание можно было принять за стеснительность или благородство.

- На дачу, на дачу, - бормотал Лапин. – Мы угостим вас шампанским и фруктами.

Штерн плелся позади и что-то бормотал себе под нос. Вероятно, мы все были однолюбам в те времена. У меня — несбыточный образ Тер-Погосян. У Штерна — Лидочка. У Лапина — Карамзина. Наше временное равновесие нарушила чудная бабен в спортивной шапке-клобуком по имени Зинка. Она трахала все, что шевелится и начала со Штерна. Мы ночевали в квартире его недавно помершей бабки в разных комнатах. Не помню с кем был я. Помню, что Штерн уснул и мне пришлось провожать Зину до двери в трусах. Она со мною попрощалась, сунув туда любопытную руку и я проникся ее чувством юмора. Когда через неделю дело дошло до Лапина, мы оставили его с Зинаидой в той же квартире, но ночью завалились туда, якобы в необходимости позвонить. Он выгонял нас, делал страшные рожи, но разжалобил единственной фразой:

- Мужики, мне тоже надо разнообразия...

Мы растрогались и ушли. Сегодняшней ночью Штерн вспомнил тот случай.

- Разнообразия захотелось, мудака? – сказал он. – Будет тебе разнообразие...

Штерн оказался прав. Мы поднялись на освещенную веранду и увидели друг друга в реальности. Дама с собачкой оказалась удивительной во многих смыслах. Она была страшна как смерть. Она была прекрасна в этом состоянии, я загляделся. Мой женский образ – далек от гламурного идеала и напоминает о тщетности бытия.

Ноги женщины были по колено в черной, впитавшейся под кожу, земле. Между пальцев босых ступней скопилась жижа с болотной ряской и мокрицами. Тело было веснушчатым и прозрачным. Его можно было помыть и даже охмелеть от его беспомощности, но его венчала страшная рябая голова. Пьяная и самодовольная.

- Кто первый? – спросила эта голова и рассмеялась.

Средь желтых прокуренных зубов поблескивала золотая коронка. На уголках губ скопилась та же болотная слизь, что на ногах. Бюстгалтер под ситцевым платьем был оборван и свисал на одной лямке. На платье оставались пятна естественного происхождения. Для общей сексуальности женщина высунула язык и проехала по нему указательным пальцем.

- О бойся Бармаглота сын... - продолжил я цитирование.

- Вот он первый, - смущенно пробормотал Лапин и ушел в залу, привычно прижимая собачку к груди. Он решил спрятаться в доме.

- Какая честь, - сказал я и присел в плетеное кресло. - И только сейчас заметил, что Штерн беззвучно смеется, прислонившись головой к одному из столбов навеса.

- Собачку ей верните, - проскрипел он сквозь хохот. – И покормите ее на дорогу. И трешку дайте на пиво. Из общака.

Мы ждали хозяев до полудня. Кое-как прибрались, прикончили дары Ташкента, Еревана и Москвы.

На станции Восточная пили в кустах молоко из бутылок с большими горлышками. «До чего дошли», шептались старухи.

Эту историю я вспомнил потому, что сегодня в Джерси-Сити подобрал щенка питбуля на оборванном поводке. Плотный, вертячий, с розовыми губами. Я притащил его домой и тоже взялся поить молоком. Разговаривал с ним за жизнь, вспоминал молодость. Щенок влюбленно смотрел на меня и высовывал язык. Я позвонил в полицию и объяснил наше положение. Мне сказали, что эти собаки опасны и, если я буду гулять с ним, меня оштрафуют. В приют его тоже не брали. Сомнительный подарок обстоятельств. Я взял псину на руки и помыл в ванной с мылом. Решил было закурить, но зачем курить при ребенке? Я слушал разборки Федерики на верхнем этаже с ее очередным мужиком и смотрел на Штерна. Я решил, что после смерти он стал собакой. Почему нет? Не мог же я его выгнать, как выгнал когда-то с чужой дачи бедную, одинокую даму?

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Отцу на работу пришло письмо, что он избран иностранным членом Американской академии наук. Церемония должна была состояться 20 сентября 2012 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В приглашении было написано, что он может явиться с супругой или сопровождающим лицом. Дресс-код обязателен. Смокинг можно взять напрокат по такому-то адресу. Отец решил взять с собой меня. В качестве водителя, переводчика и фотографа. Роли для меня привычные. Я не раз их исполнял, после того, как оставил науку и стал свободным художником. Никакой особенной свободы я при этом не ощутил, но ничего другого придумать все равно не мог.

Пригласить — пригласили, но визу не дали. В посольстве моему академику сказали, что власти США избегают встреч с русскими учеными, чтобы те не похитили их военные секреты. Будучи резидентом США, я написал приглашение отцу сам. С обычной формулировкой. Хочу, чтобы он осмотрел Статую свободы и посетил Диснейворлд в Орlando. Это всегда срабатывало, сработало и сейчас

Ранним утром мы очутились в аэропорту Шереметьево в бизнес-зале. Раньше это называлось депутатской. Здесь и на этот раз встречались редкие депутаты и нувориши. В отличие от 90-х они были трезвы. Тем утром это меня устраивало. Иногда хочется, чтоб все вокруг были пьяными. Все пьяные, а я — трезвый такой д'Артаньян.

Я пошёл за стойку, где давали бесплатные напитки и жратву. Отец развернул из фольги домашнюю курицу.

В самолете он отправился в первый класс, я — в экономический. В течение полёта зашёл к нему пару раз в гости, чтобы ощутить себя хозяином жизни.

За несколько часов до посадки углубился в новинки кинематографа. Они не пришлись мне по душе, и я в который раз посмотрел «Бойцовский клуб». Этот фильм я всегда выключал на том месте, где выяснялось, что у героя раздвоение личности. Мне казалось это недостатком фантазии автора. Пиши проще, и не кривляйся. Расщепленное сознание слишком сложно для нормальных пацанов. Фаина Раневская говорила «у жопы — две половинки, у мозга две, у таблетки, а я — цельная». Как было бы хорошо, если бы герой не был один. Два друга, организовав мировую сеть мордобойных организаций, поставили на уши общество потребления. Работают, дерутся. Потом один умирает на руках у другого. Или оба бы хохоча падают в пропасть Великого Каньона на гоночном автомобиле. Я ценю мужскую дружбу.

В JFK я взял на прокат совсем не гоночный автомобиль и повёз батюшку в Пенсильванию, где у меня оставался дом в Аппалачах. По пробкам тащился часов пять. Джордж Вашингтон Бридж самая длинная надводная парковка в мире. В Arrowhead меня ждало разочарование. Моя дача была оккупирована группой азербайджанских мужчин, друзей Руслана, который взялся присматривать за моим хозяйством.

- Что же ты не предупредил меня? — сокрушался мой бакинский батлер.
- Ты же сказал, здесь ничего не сдаётся. Кризис.
- Мы планировали эту встречу три года.

До этого я не смог остановиться здесь, когда привёз жену из роддома. Дом кто-то снял. Мы поехали с новорождённой в гостиницу. Руслан предлагал странные услуги. Моя недвижимость пользовалась спросом клиентов в те моменты, когда была нужна мне. Это не справедливо. Обидно.

Я вывел свой внедорожник из гаража, перетащил туда вещи. Повёз отца в аэропорт Скрентона сдать арендованную машину. Благо, Руслан сел за руль и помог мне с логистикой. В Уилксе я заехал к Володе. Он ремонтировал трехэтажный многоквартирный дом. Готовы были только кухня и спальня, где он жил с женой. Володя предложил нам с академиком ночевать на полу. На надувных матрасах. Мы благоразумно отказались. Матрасы могли сдуться под тяжестью наших тел. День был жаркий, мы после перелёта валились с ног, и хотели покоя в комнате с кондиционером.

— Давай купим тебе приличные брюки, — сказал Руслан, чтоб загладить вину за негостеприимство. — И туфли.

— Хочешь сделать мне подарок?

Тем же вечером я рванул на Вашингтон. Чтобы не уснуть, пел в дороге блатные песни. В тайниках памяти хранятся удивительные вещи. В столице мы оказались глубокой ночью. Гостиница располагалась в центре, в двух шагах от Белого дома. Это не предполагало роскоши. Тем не менее, здесь функционировал *wallet parking*. Это когда твой автомобиль отводит в гараж специальный клерк. Машина моя смотрелась здесь, как надо. Белый грузовик выпуска 1998 года по кличке «белый конь» был облеплен стикерами в виде пацификов, черепах, девок в купальниках. Из-за внешнего облика моего тарантая в Пенсильвании ко мне часто обращалась молодёжь в поисках марихуаны. Я ликовал, когда водила в красной фуражке сел за руль «белого коня» и поставил ее рядом с ройсами и мерсами. Свистели тормозные ремни. Перекрикивали друг друга братья Жемчужные. Я похлопал по щечке американское чванство, и оно проглотило язык в поисках ответа.

Мы проспали полтора дня. Когда я проснулся, тут же отправился с отцом за смокингами. Их выдавали индусы на соседней улице. Гостиницу тоже держали индусы. Она пропахла соусом карри от занавесок до половика. Мы натянули на себя парадные костюмы, и направились к гостевому автобусу.

Он был заполнен индусами, китайцами и восточными европейцами. Здесь тоже воняло курицей тандури. Дорога до академии заняла пятнадцать минут. Нам прицепили беджики и отправили на фуршет. Я был с большой камерой. Местные академики считали меня за профессионального фотографа. Я не стал разочаровывать их. Снимал, заставляя улыбаться и обнимать жён. На прощание брал визитки, и обещал выслать фотографии. Мог бы заработать на этом деле, но не стал злоупотреблять.

Мы выслушали вводную лекцию о состоянии здешней науки. Большая часть доклада была посвящена успехам Советского Союза и американской конкуренции с ним. Слова «спутник», «Гагарин» и «водородная бомба» не исчезали со слайдов на экране. Потом организаторы приступили к вручению дипломов, и мы ошарашено поняли, что единственные русские здесь — мы. Наше одиночество не было страшным, оно было странным. В поляках и канадских украинцах родственных душ мы не видели. Как мы попали сюда вообще? В самый квалифицированный мозг потенциального противника.

У отца были влиятельные американские друзья. Ученые-физики, магнаты здешнего военно-промышленного комплекса, мои «американские девушки». Арт Гензер успел побывать советником по науке у губернатора Новой Мексики, Магн Кристиансен руководил институтом в Техасе, Джим Томпсон был деканом технологического факультета одного из университетов в Миссури. Когда-то они пересылали через отца в Россию джинсы и игрушечные револьверы для меня. Когда я переехал в Америку, подыскивали мне невест. Проблема заключалась в том, что все они несколько лет назад по очереди умерли, и влиять на выборы в Академию не могли.

Когда на сцену пригласили отца, он вышел и поблагодарил организаторов за оказанную честь, внимательно осматривая зал. Нет, никого знакомого здесь не было. Ужин мы провели со сравнительно молодой парой из Италии. Говорили ни о чем, хихикали над американской пищей и манерами.

На следующий день пошли сдавать смокинги, но пункт проката оказался закрытым. Мы покружили по району. Сувениры нас не интересовали. Я догадался передать барахло старику, работающему в прачечной по соседству, и он обещал вернуть товар владельцу.

Погуляли у правительственных зданий, я сделал фотографию отца у большого памятника Альберту Эйнштейну. Снимать меня на видео около здания Госдепа академик отказался. Я привёз сюда камни с Синайской горы Моисея, Гималаев Будды, Гефсиманского сада Христа и Стоунхенджа Мерлина. Я хотел освятить этим жестом американскую политическую и военную мощь. Без духовности она, на мой взгляд, не имела смысла. Мой жест отцу не понравился. Я сделал селфи. Произнёс речь и швырнул камешки в сторону Департамента. Я считал это своей миссией в США. В глубине души я конченный индивидуалист.

Об этом я и думал, когда мы возвращались домой. Свистели ремни кондиционера, Аркадий Северный подпевал братьям Жемчужным. Я мечтал о том, как хорошо было бы, если бы отец не был гениальным учёным, а я — гениальным поэтом. Мы бы организовали бойцовский клуб и били бы морды всем, кто этого захочет. И подставляли бы свои. Лучше бить морду, чем спасать душу. Все равно мы все умрем. Чтобы выжить надо придумать свою собственную цивилизацию. В этой мы, в лучшем случае — странные гости.

В районе Филадельфии птица ударилась мне в лобовое стекло. Я не сбавил скорости: птица да птица. Отец вообще ничего не заметил. В рамках новой цивилизации старые приметы отменялись.

К нашему возвращению азербайджанцы мой дом покинули. Мы перекусили вонтон-супом из китайской забегаловки, разошлись по комнатам. Ночью разразилась гроза. Молнии били по воде Arrowhead, пытаясь вытащить оттуда давних утопленников и доисторических черепашек. Я услышал, что отец зовёт меня и спустился на первый этаж. Мой академик сидел на кровати в пижаме и растерянно озирался:

— Где мы? — спросил он, вглядываясь в потоки дождя за окном.

— В лесу, — ответил я. — Мы ушли в лес. Навсегда расстались с обществом потребления. Нам нужно поверить в свои силы на пути к абсолютной свободе.

Отец посмотрел на меня и улыбнулся, делая рукой знак, чтобы я отправлялся спать.

СВОДНИК ПОНЕВОЛЕ

Между мусорными баками и спортивной площадкой за школой стояла трансформаторная будка, к которой ходили махаться старшеклассники. Сегодня настала моя очередь. Мы бились с Колей Симаком из другого класса.

— Бей первым, — говорили мальчики и мне, и Коле.

— Мы начнём одновременно, — отвечали мы.

Перед боем Вадик Казаков по кличке Грек насыпал мне в ладонь горсть седуксена.

— Колеса есть колеса, — сказал он.

Не думаю, что он хотел меня подставить. Просто был несведущ в фармакологии. Я проглотил таблетки и заел их снегом. Подобрал с земли толстую сосульку, похожую на стеклянную морковку, и переломил ее пополам.

На дуэль Колю вызвал я, потому что он вызывающе грубо попросил у меня пятнадцать копеек на ромовую бабу. Он не любил ромовых баб, а хотел меня унижить. Я повелся на провокацию, хотя с этим парнем мы никогда не ссорились и вообще были едва знакомы. Механизм грядущей драки заработал сам собой. По школе пронёсся слух об увлекательном шоу, откуда-то возникли наставники и секунданты. Доброжелатели в таких случаях находятся быстро.

— До первой крови? — спросил нейтральный Лапин.

— А черт его знает, — сказал Коля. — Посмотрим, что получится.

— Посмотрим, — согласился я.

— Из-за чего махаетесь? — заорал Штерн, проходящий мимо, но внятного ответа не получил.

— Че хотим, то и делаем, — сказал я. — Мне Колина рожа не нравится.

— На себя посмотри, — парировал Коля.

— Скажите сразу, что махаетесь из-за Ветки Шамановой, — начал интриговать Штерн. — Она красивая.

Иветта действительно была хороша собой, но до этого момента мы с Колей об этом не задумывались. Штерн бросил в наши души зерно раздора и пошёл домой. Мы с Симакком начали сходить, пиная друг друга по ногам и пытаясь захватить по морде. Это было похоже на петушинный бой. Техника боевых единоборств у нас была специфической. Мы с налету сталкивались и расходились. На утоптанном скользком снегу плохо держались на ногах, двигаться мешали полушубки и меховые шапки. Я долго думал драться ли мне в перчатках или без, но когда руки замёрзли надел их снова. Мы нещадно матерились, пугая друг друга замысловатыми обзывательствами. Засунули в жопу друг другу все, что могли. Отрезали друг другу все, что можно и нельзя. Послали нахуй родню и близких. Перетрахаали матерей.

— Говнохуй! Мандохвост! Сраногной! Говноперд! Тримудила! Мордобляд!

Нам было смешно от произнесённого, но мы должны были идти до конца. Поединок продолжался уже два часа. Силы были равными, но на товарищескую ничью мы не соглашались. Такое наскучило бы даже профессиональному боксеру. Народ постепенно начал расходиться. Эффектных нокаутов не ожидалось. Когда Коля назвал меня «ебобатым многожопником», я откровенно заржал и пропустил удар по левому глазу. От неожиданности сел на снег и, все ещё смеясь, сказал:

— Сам ты, Коля, многожопник.

Симак помог мне подняться и мы пошли вдвоём на трамвайную остановку. Секундантов послали подальше. Они за время драки нас достали. Фингал он мне поставил аккуратный. Его легко можно было замазать тональным кремом. В трамвае Коля признался, что, попросив у меня пятнадцать копеек, вовсе не хотел обидеть. Хотел купить томатного сока. Он знал, что мы с Лапиным играем в трясучку лучше всех в школе и мелочи у нас много. Я порылся в карманах и протянул ему две монетки.

— Это твой гонорар за победу, — но Коля добродушно отказался.

На следующий день на перемене ко мне подошла взволнованная Иветта Шапанова. Она была в белом парадном фартуке, хотя никаких праздников

не отмечалось. Вместо комсомольского значка на лямке у неё висел значок в виде ромашки с оторванным лепестком.

— Ты правда махался с Симаком из-за меня? — спросила она с внимательной серьёзностью.

Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. В глубине души я проклинал Штерна, но Иветта была большеглаза и сексапильна.

— Проводи меня сегодня до дома,— попросила она, подняв на меня многообещающий взор.

Дней через десять мы легли с ней в постель в полуподвальном жилище на улице Красноармейской, где она жила со своей мамой. Ветка лечила мой глаз чайными примочками, но я в большей степени интересовался податливостью ее молодого тела. В бою с Колей Симаком я одержал неожиданную победу. Штерн посмеивался, считая, что наша любовь — его рук дело. Теперь это не имело никакого значения. Наш роман длился года четыре и завершился драматическим образом. С Колей Симаком мы дружили гораздо дольше и при встрече радостно перебрасывались словами типа «пропердук» и «еблоух».

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Мой сосед с третьего этажа, поп-расстрига без бороды и какой-либо растительности на лице, изобрёл вечный двигатель. Когда-то он служил в православном монастыре на Севере штата Нью-Йорк, был разжалован за пьянку и марихуану, теперь переместился в город. Здесь сошёлся с русской компанией. Устроился в этнический продовольственный магазин — торговал хлебом, воблой, кефиром, конфетами «Белочка». Продуктами, которых в американских супермаркетах нет. Магазин держали бывшие бандиты из Питера и Москвы, оставившие свой преступный промысел ради американских свобод. Они-то и сосватали Алексу Бартенову Татьяну Дзермант, невысокую девушку-товароведа с зычным голосом. Совместными усилиями организовали батюшке «первую брачную ночь». Поместили молодых в какую-то общагу на Брайтоне, пожелали удачи молодым, а сами

затаились в баре напротив в ожидании результата. Бартенов появился часа в три ночи, сияющий.

— Понравилось? — спросили хором.

— Очень, — разулыбался поп — лицо его в этот миг состояло из множества переливающихся пунцовых щёк.

Вскоре, он как порядочный человек, на Татьяне женился. В стране она была нелегально, ей было необходимо выправить документы. Бартенов, как местный житель, для этой цели подходил. Тем более Татьяну полюбил всерьез. Продолжал работать в магазине, попутно разоблачая фальшивую буржуазную мораль, проклиная порнографию и Голливуд. Сочувствия не встречал, хотя в нем и не нуждался. Он был жизнерадостный человек. Открытие неиссякаемого источника энергии ещё более утвердило его в собственном предназначении.

— Вадим, ты же физик, — обратился он ко мне за консультацией. — Что тут не так? Эта машина должна работать и приносить пользу людям. Помогите мне получить патент — разбогатею.

Он протянул мне тонкую тетрадку с детскими рисунками каких-то паровозов, гидротурбин, и молний, бьющих в столбы электропередач. Расстрига был любознателен и чист как младенец.

— Алекс, я занимался эмиссионной электроникой, — сказал ему я. — Мы такого не проходили.

Поп не расстроился. Прошёл в подсобку и принёс мне кулёк с шоколадными конфетами.

— Все равно угощайся, — сказал он и улыбнулся. — Научный прогресс не остановить.

Мы жили в русском районе Джерси Сити вокруг Ван Ворст парка. Когда-то мне посоветовал сюда переехать товарищ по колледжу, где я тогда работал.

Уверял меня, что здесь много русских. По ночам со мной случались слуховые галлюцинации. Я слышал песню «Где-то за Нарвской заставой», шел на голос, но всегда возвращался ни с чем. Песня жила во мне самом. Я выучил во время прогулок ее слова – выскреб из генетической памяти.

Первые соотечественники попались на моем пути где-то через год. Два пьяных рокера шли на день рождения к одной грузинке. Грузинка познакомила меня с русским барменом, который продавал пельмени из-под полы. Бармен рассказал об открывающемся русском магазине. Вскоре я был знаком со всеми. Внутри Джерси Сити существовал второй секретный город. Им заведовал скандальный старик по имени Володя Дремлюга, выпешдший когда-то с Натальей Горбаневской и другими энтузиастами на Красную площадь в защиту свободной Чехословакии. Дремлюга стал почетным гражданином Праги. Сотрудничал с фондами в поддержку демократии. Скупил недвижимость в центре города, сдавал ее в аренду. Большевиков к этому времени простил. Сопратников повсеместно разоблачал в сионистском заговоре. Врывался на их заседания и клеймил. Дремлюга не мог жить без борьбы, а борьба – без Дремлюги.

Той весной в Штаты прилетел мой отец, академик, основатель нескольких направлений в физике, автор двух научных открытий. Прочитал курс лекций в штате Миссури. Я сопровождал его в качестве толмача и личного водителя. В свободное время изучал жизнь бобров. Их плотины казались мне предтечами египетских пирамид и днепрогэса. Беглый поп научил меня всматриваться в суть природных явлений. На обратном пути по дороге до аэропорта Сент-Луиса мы заехали в Ганнибал, родину Марка Твена. Здесь тоже можно было изучать жизнь бобров, но до самолета оставалось не так много времени. Я купил сувенирную кружку с автографом писателя. С ней-то я и явился к попу, когда он пригласил нас с академиком на обнародование своего изобретения. Рюмок у святого отца не хватало, и он всегда приглашал гостей приходить со своей посудой.

- Алекс, познакомься. Это – Геннадий, пионер Pulse Power, открывший явление взрывной электронной эмиссии.

- Геннадий, это Алекс. Он избобрел вечный двигатель.

Научные светила пожали друг другу руки. Мы выпили по глотку водку, закусив ее сельдью-иваси из русского магазина. После этого Алекс развернул свои чертежи и изложил суть теории. Мой академик слушал его внимательно.

— Вы слышали о первом и втором началах термодинамики? — спросил он, после краткого доклада.

— Ещё нет, — ответил поп. — Как раз собираюсь взять учебник в библиотеке.

— Возьми Марка Твена, -- предложил я. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету».

Отец сохранял педагогическое спокойствие. Объяснил слабые стороны двигателя Бартенюва. Посоветовал изготовить опытный образец. Сославшись на поздний час, пошёл спать. Я посудачил немного с молодожёнами о перспективах будущего патента и тоже собрался было домой, как Татьяна сказала Бартенюву с непонятной ненавистью:

— Такого хорошего человека обидел. Ученого с мировым именем.

Странная мысль. Научный совет прошёл мирно. Сама деликатность.

Ночью супруги подрались. Я слышал крики и характерный шум на верхнем этаже. Кричала гражданка Дзермант. Ее голос знали в нашем квартале. Приезжала полиция. Синяя мигалка у подъезда тревожно металась по нашей комнате около часа. Отец не придавал этому значения. Я сообразил, что Татьяна решила изменить ход своей жизни. Утром зашёл к ней.

— Он избил меня, — сказала она тоном, не допускающим возражений. — Оскорбил твоего отца, потом напился и избил меня. Послезавтра — суд.

Следов побоев на ее лице и теле не было. В углу комнаты лежал стул с оторванной спинкой. Вид на жизнь Дзермант уже получила. Изобретатель вечных двигателей с клериканским прошлым в ее планы не входил. Я

прихватил у Таньки на память полицейскую дубинку, оставленную ночным патрулем. На память. Мало ли где она может пригодиться.

Отец был заметно расстроен происшедшим. Во всем винил себя. Если бы он поддержал молодого учёного, все могло бы обойтись. Мы мрачно позавтракали, отогнали мышь, которая пыталась присоединиться к трапезе.

— Вот так вот женщины сдавали своих мужей в 37-м году, — подытожила академик. — Грустно все это.

Мы сели на метро и доехали до 26-й улицы. Город уже украсили к Рождеству. На улицах было полно молодёжи, включая влюблённые парочки. Я подумал, что, если моя жизнь будет столь же нелепой, я скоро женюсь. Мы зашли в «Балдуччис», кулинарный рай Гринвич-Виллиджа. Выбор здесь был покруче, чем в нашей славянской лавке, но вяленой чехони и шоколада «Аленка» в ассортименте не было. Я предложил отцу купить какой-нибудь деликатес, чтобы отвезти в Екатеринбург матери.

— Хватает там ваших деликатесов, — махнул он рукой. — А ты, дорогой друг, начал лысеть.

— Откуда ты знаешь?

— Спускался сегодня по лестнице вслед за тобой.

Я потрогал затылок, но не нащупал ничего подозрительного.

— Ничего не поделаешь, пап. Пусть это будет моей главной проблемой.

Когда я сажал его в желтый кэб до аэропорта, мне показалось, что он заплакал. Не знаю, что его так расстроило. Неустроенность моего быта, неразборчивость в связях, а, может быть, то, что я давно не был дома. Я ни о чем этом не думал, а лишь радовался своему новому приобретению — полицейской дубинке времен Великой депрессии. Если человек всю жизнь нарушал порядок, как я, то ему когда-нибудь захочется этот порядок охранять и поддерживать. Будь я на месте полицейского, то спор молодоженов решил

бы в пользу интеллекта. Решиться на создание *perpetuum mobile* в нынешние времена может только настоящий подвижник науки.

БЭЛЛА

Черкешенка Бэлла вытащила меня из драки, которая должна была закончиться смертоубийством. На свадьбе Черноярова я уже несколько раз упал затылком на бетонный пол, но боли не чувствовал. Танцевать, как все, не мог. Не улавливал ритм. Передвигался зигзагами: от стенки к стенке. На группу работяг на автобусной остановке набросился сам, решив, что они надо мной смеются. Я бы и сам над собой посмеялся, увидь себя в таком виде. Бэлла смогла увидеть светлое начало в пьяном чудовище.

На свадьбе мы почти не общались. Я обратил внимание на ее яркую вороную мать, но по неопытности ухаживал за блондинками. Когда собрался за водкой, девушка вызвалась пойти со мной. Материнский инстинкт у неё был развит.

У винной лавки я снял с какого-то мужика шапку и аккуратно положил в урну. Меня начали мудохать. Бэлла с криками ворвалась в кучу копошащихся тулунов и выдернула меня из мессилова за воротник.

— Подожди меня здесь, — сказала она, усадив на детские качели в соседнем сквере.

Через пять минут вернулась с двумя бутылками «Токайского». Где взяла?

Мы пошли вдоль трамвайных рельсов, присыпанных искристым январским снежком.

Несколько дней назад я прилетел из Владивостока и узнал, что мой дед умер. Я увидел желтый голый труп, который пронесли из палаты медицинского института в подвал морга, но мне не пришло в голову, что это он. Нас прислали сюда с военной кафедры, для разгрузки брёвен в Университетской

роще. Когда я уезжал, зашёл к деду Андрею попрощаться. Он лежал ещё в другой больнице.

Мое сообщение о поездке старшему Месяцу не понравилось. Он был в пересыльных лагерях во Владике, волей случая попал в штрафные колонны. Они укладывали рельсы для Байкало-Амурской магистрали, многих похоронили под шпалами. Когда началась война, железную дорогу разобрали на переплавку. С Дальним Востоком у старика были личные отношения. Потом лет восемь сидел в Печорском крае. Из уважения к деду друзья году в 90-м напечатали книгу моих стихов в местном издательстве. Тогда шел 83-й или 84-й.

— Ты должен слушаться партию и правительство, — сказал дед, узнав о моих планах.

Это были слова человека с большим жизненным опытом. Я не внял голосу его рассудка.

Мы полетели в Хабаровск к родителям друга. Пили там морс из ягоды-клоповки, и ели пельмени с соевым соусом. Во Владик ехали нелегально. Билеты на поезд покупали по чужим паспортам. На станции Угловая сели на заводские автобусы, которые идут в город. Во Владивостоке у меня жил друг-гитарист, которому я сочинял тексты песен. Нагрянули мы внезапно, но Игорь тут же взял отгулы. Уложил спать на полу. По утрам его маленькая дочь Кристина приносила нам на подносе холодное шампанское. По вечерам в кабаке постоянно исполнялся «Ах, белый теплоход» для друзей из Томска.

Прощаясь с дедом на кладбище, я улыбался. И он улыбался мне в ответ. Ещё недавно он наяривал на гармошке, увешанный гирляндами медицинских бутылочек. Он никогда не унывал и передал мне это этот навык по-наследству. Мы знали с ним тайну жизни. Могли позволить себе слушаться партию и правительство если этого захотим. В те времена их уже никто не слушался.

Сегодняшней ночью мне пришлось слушаться черкепенку Бэлу. Она взяла мою шаткую фигуру под руку, положила вино и яблоки в большую холщовую сумку со словом «АББА», и повела на хату к актеру Фольмеру,

который исполнял в нашем театре роль Кота в сапогах. Витя до этого выпил и спал мертвецким сном. Его кровать из досок с набросанными поверх матрасами, была огромна. На ней можно было прожить год, и не встретится, как на американском авианосце во время службы.

...

— У моего отца два табуна лошадей, — сказала Бэлла утром, когда мы проснулись, а Фольмер не проснулся.

— А сколько овец? — поинтересовался я, входя в образ.

— Какая разница? Мы обеспеченные люди.

— Вы обеспечены лошадьми?

— Дима, ты кончил вчера одиннадцать раз. Ты что? Кролик? Маньяк?

— Это плохо?

— Так не бывает, — сказала она.

— Значит, этого не было.

— Было. Я считала.

— Я просто придурился. Хотел тебе понравиться.

— Я все видела, чувствовала. Мы до сих пор лежим в луже спермы.

— Ну и что?

— Меня это, конечно, радует. Меня это даже слишком радует. Но это патология, — закончила Бэлла.

— Иди к своим чеченцам, — сказал я, и отвернулся в сторону двери.

— В этой жизни ты меня больше не увидишь, — сказала Бэлла. — Иначе наши тебя прирежут.

— Доброе утро, — сказал пробудившийся от наших голосов, актёр Фольмер.

Мы совсем забыли о нем.

— Тебе, Витя, пора на сцену, — сказала девушка. — Пора получить полцарства в придачу.

Я всмотрелся в большой постер, висящий на стене перед кроватью. Голая блондинка стояла на нем, вытянув губы в овал. Обстановка из оббитой штукатурки и смазанных картин импрессионистов, намекала на изысканность.

— Кто это? — спросил я Витю.

— Это моя жена. Она в Питере. А я получил работу здесь.

— Давайте я прочитаю вам свои любимые стихи, — сказала Бэлла.

Она продекламировала стихотворение Бориса Слуцкого про войну. Мне и так было блево, тут ещё это.

Через час мне нужно было быть на военной кафедре. Я попрощался с женщиной, доехал на трамвае до дома и переоделся в военную форму. На построение подъехал на такси. На плацу я вышел из строя и передал майору Мячикову рапорт о том, что страдаю острой зубной болью. Меня отпустили. Когда я удалился, Мячиков поставил меня в пример курсантам.

— У Месяца вот такой флюс, но он все-таки явился на построение.

Коллеги-курсанты заржали.

В тот момент мы с Фольмером бодались лбами над трехлитровым баллоном пива, сидя на той же кровати. Потом научились соблюдать очередность. Бэлла исчезла. Больше я ее никогда не видел, и от кавказского ножа не погиб. За вызволения из той драки благодарен ей всю жизнь. Дело там пахло керосином.

Помню, что обнаружил тогда в своём рюкзаке большого замороженного Камчатского краба, которого забыл подарить молодоженам. Он еще не испортился в тепле, и мы с Фольмером быстро оставили от него ножки да рожки.

Где-то то через неделю моя бравада по отношению к смерти улетучилась. Деда Андрея мне стало болезненно не хватать. Он был одним из самых оптимистичных людей, встреченных мной на жизненном пути. Без него я стал иногда предаваться греху уныния, но партию и правительство слушался до тех пор, пока их не отменили. Не знаю, как бы на этоотреагировал дедушка. Наверное, пожал бы плечами и улыбнулся.

ПОМИНКИ ПО ИНДИРЕ ГАНДИ

Догоняться поехали на ж/д вокзал Томск-1. Встретили там Огурцова по кличке Рыжая Мочалка, Штерна и какого-то Павлова. Они в ресторане пили красное вино, и не очень-то нам обрадовались. Мы совместными усилиями прикончили их заказ. Ресторан закрывался. Нам больше не наливали. Тогда мы поехали на станцию Тайга. Мой родной город стоял на отшибе железнодорожной магистрали. Когда-то купцы, торгующие пушниной, не пожелали, чтоб рельсы проходили через Томск — это ломало их гужевой промысел. Дорогу провели через Новосибирск, который после этого превратился в большой город с метрополитеном. А Томск остался на отшибе. Со своей деревянной архитектурой, Университетом, десятком вузов и атомным реактором в закрытом «почтовом ящике». На станции Тайга ресторан работал круглосуточно. Мы были уверены, что нас там ждут.

Лапин сегодня забрел ко мне по невиданному даже для наших мест ноябрьскому морозу. 40 градусов на годовщину Октябрьской революции — жестокий каприз природы.

— Напиток должен соответствовать окружающей среде, — сказал он, вынимая из карманов две бутылки водки.

— Да, баланс нужно соблюдать.

Я жил у бабушки. Один. Старушка уехала в другой сибирский город к родственникам. Сюда можно было приводить девушек, или пить горькую с друзьями. Телевизор не работал, но Лапин его молниеносно починил. Вставил какой-то транзистор или наоборот его вынул. Он разбирался в электронике и моторах внутреннего сгорания. Я не разбирался.

— Сигхи убили Индиру Ганди, — со значением сказал Лапин, откупоривая бутылку.

— Кто?

— Сигхи. Сепаратисты. Она сняла пуленепробиваемый жилет, когда шла на интервью с Питером Устиновым, и охранники-сигхи ее пристрелили.

— Зачем сняла?

— Ну неудобно выступать перед англичанином с пуленепробиваемом жилете.

— Почему?

— Потому что этикет, мать твою.

Лапин знал многое, чего я не знаю. Вскоре выяснилось, что убили ее неделю назад. На выходе из своей резиденции на Сафдаржанг-роуд. Мой собутыльник знал даже название улицы.

— Хорошая была тетенька. С Советским союзом дружила. Надо ее помянуть.

— Дык неделя уже прошла.

— А ты ее помянул? — укоризненно спросил Лапин.

Теперь мы тряслись в электричке до станции Тайга в декоративном столяпинском вагоне. Приближающийся контролер вытолкнул нас в обыкновенный плацкарт и рассеял по всему поезду. Мы лавировали, прятались в туалетах, курили в тамбуре. У нас была запоминающаяся внешность. Я ходил в дубленке из искусственного зверя и немецкой шапке с козырьком. Опускал войлочные наушники в случае мороза. Походил на дезертира под Сталинградом. Лапин был в овчинном тулупе. Расстегнутый ворот рубахи из московского «Детского мира» демонстрировал бесформенный шрам на глотке. Рыжая Мочалка носил джинсовый комбез и высокие оранжевые сапоги, как королевич Елисей. Носил утепленную куртку «авиатор». Штерн был в аляске на гагачьем пуху. Павлов предпочитал пальто. Шапито какое-то.

В результате замысловатых перемещений мы оказались с Лапиным в тамбуре в самом начале состава. За закрытой дверью машинист колдовал над пультами и рычажками. Тут я обнаружил, что потерял шапку.

Не сказав ни слова, ринулся назад. Меня узнавали. Некоторые пассажиры смотрели на меня злобно, но в основном улыбались. Шапку нашел в том самом антикварном вагоне.

— Я знал, что вы за ней вернетесь, — сказал тщедушный пенсионер, снимая ее с головы. — Я согрел ее для вас.

Я забрал у него головной убор и пошел к Лапину. Мне казалось, что за спиной раздаются долгие, продолжительные аплодисменты. В тамбуре кроме Лапина, обнаружил Штерна.

— Мочалка забаррикадировался в купе, — сказал он. — Хрен теперь откроет.
— Пиздец ядерной обстановке, — сказал я, и врезал кулаком по замороженному стеклу входной двери вагона.

Дыра получилась круглая, почти идеальная. Следов на руке не осталось. Когда-то мы со Штерном занимались каратэ. Потом каратэ запретили и мы остались недоучками. В тамбур вошел мент. Выразительно посмотрел на дыру в стекле, потом на нас с Лапиным.

— Индиру Ганди убили, — объяснил он. — Парень распереживался.

Мент боялся нас и поэтому согласился, что мой поступок оправдан. Мы поговорили с ним о политике, и пошли раскулачивать Огурцова. После трудного дня хотелось полежать. Дверь купе открыли ключом, который взяли у проводницы. Мочалка и непонятный Павлов спали на верхних полках. Они вызывали в нас острую неприязнь. Именно к Огурцову ушла моя Иветта. Это было еще более обидно, что она ушла к мудаку. Женщины преимущественно уходят к мудакам и уродам. Танька, из-за которой я эмигрировал в Америку, вышла замуж за невзрачного канадца, который вскоре ее кинул, уехав на заработки в ЮАР, бывшая супруга ушла к белорусскому лесничему, убийце мирных кабанов. Нора Дейч чуть было не предпочла чувака, прикидывающимся режиссером, пока не выяснилось, что он — профессиональный альфонс. Когда женщины уходят к достойным мужчинам — это терпимо, объяснимо, даже сексуально. Когда к уродам — нет прощения.

Штерн лег на нижнюю полку и начал обеими ногами раскачивать верхнюю, словно читал мои мысли. Все сильнее и сильнее. Огурцов с грохотом рухнул, но продолжил спать и на полу. Лапин забрался на освободившееся место.

На станции Тайга мы подкрепили вином свои силы и пошли отдохнуть в Комнате матери и ребенка. Денег не платили принципиально. Материнство

не имитировали. Пообещали оставить положительные отзывы в Книге жалоб и предложений. «Вы офигенные чуваки. Теперь я знаю, что такое сибирское гостеприимство», писал Лапин и подписывался подполковником Небаба и майором Небаб. Сотрудники были довольны. Ночью в Комнате матери и ребенка скучно. От этой скуки мы решили рвануть в Энск.

— В метро девушки красивее, — сказал Штерн.

— А мне надо навестить жену, — согласился Огурцов, от чего меня передернуло.

За пять лет, как мы с ней не виделись, она нарожала ему детей, и санитарно-бытовая комната, в которой мы навели шороха, более подходила ей, чем нам.

На вокзале в Новосибирске Штерн позвонил в справочную службу, и справился, кого на этот раз избрали президентом США. Его послали. Справочная служба должна давать справки, возмущался Штерн. В СССР были упущения с социальными сервисами.

Далее поехали к Дмитрию Финченко по кличке Банзай. Он был сыном проректора Универа и поэтому ходил как гопник. Фасонил. Когда-то вместе с ним и моим другом из Владика путешествовали по Прибалтике автостопом. На попутках, на багажных полках поездов. В Таллинне катались на бричке. В Риге чистили зубы в Даугаве. В Вильнюсе позировали художнице на площади. Чем-то ей приглянулись. Банзая я изредко навешал в Энске. Один раз с ним и Лапиным съездили в Питер. В Питере с Лапиным подрались, но быстро помирились. Мы и вчера с ним чуть не поцапались. За день до поминок по Индире, я заходил к нему в сторожку на чашку чая. Он неожиданно начал ревновать к своей девушке. Дело спасла одна нимфоманка, которая спешно отдалась мне в Красном уголке завода, который Сашук охранял. После этого Лапин поверил, что я перед ним чист. Через час девушка забыла, кто я такой и как меня зовут. Идеальные отношения.

— В Ленинграде я купил себе ершик, — сказал Банзай, и достал забавное металлическое изделие с книжной полки. — Очень помогает в очистке бутылок из-под кефира и молока.

— Вы любите кефир? — спросил заинтересованно Штерн.

Финченко смерил его взглядом.

— Я люблю чистоту. И также коллекционирую сувениры из культурной столицы Союза.

Спор затих, так и не разгоревшись. На хате Банзая начали появляться чуваки хипповатого вида. Каждый приходил со своим спиртным, и пил его из первой попавшейся посуды. Из соусника, из пол-литровой банки, микроскопической кофейной чашки. Говорили о музыке. На Финченко произвела впечатление песня группы «Земляне» «Земля в иллюминаторе». Мы сконфуженно замолчали. Для нас «Лед Зеппелин» был превыше всего. Отечественную эстраду мы обходили стороной. Науменко и Цой тогда еще не появились. Поколение дворников и сторожей в Сибири столичной моде не следовало.

Финченко включил полюбившуюся композицию. Соло-гитара действительно звучала забойно.

— Вы любите космонавтов? — с прежней настойчивостью спросил Штерн.
— Я люблю космос.

Что-то между мужиками не клеилось. Огурцов вскоре заторопился к Иветте, детально расспросив о махаче в Ленинграде и вчерашней сексуальной истории. Когда мы встретились с Банзаем лоб в лоб у двери в сортир, он настороженно спросил:

— Еврей?
— Кто?
— Твой Штерн.
— Француз.

Все это было странным. Банзай удивлялся наездам Штерна. Я хорошо его знал, и поэтому не удивлялся. Чтобы не вникать в особенности национального вопроса, я решил позвонить Кате — девушке, с которой я познакомился на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Я приезжал туда петь политические песни собственного сочинения. Песни были аполитичны, но

никто не догадывался об этом. В столице царил сухой закон, но взбодриться можно и без алкоголя. Отработав программу, я как-то направился в Парк Горького на ярмарку. Мне, как участнику фестиваля, был положен билет на подобные мероприятия. На две персоны. Я подцепил барышню, побродил с ней вместе мимо аляповатых стендов и возбужденных толп иностранных леваков. Символом фестиваля служила Катюша — «девочка в русском народном красном сарафане и кокошнике, который образовывали лепестки фестивальной ромашки». Она казалась мне такой же ужасной, как группа «Земляне». Кате из Энска она наоборот нравилась. Разница во вкусах не помешала нам гулять до утра по городу и страстно обжиматься у древесных стволов. Бедрa Екатерины были тверды и круты. Губы жадны и ненасытны.

— Пойдем ко мне, — сказала она, и я поплелся с ней пешком до ВДНХ. — Тетка должна быть в ночную смену.

Тетка, увы, оказалась дома, и я ушел не солоно хлебавши. Сегодня можно было взять реванш. Катя узнала меня, но разговаривала без интереса, а потом сослалась на занятость. Я разозлился.

— В день смерти Индиры Ганди мы должны поддерживать друг друга, — почти закричал я. — Все прогрессивное человечество сплотило сейчас свои ряды.

— Какой еще Индиры Ганди?

С девицей, которая не знает вождя партии «Индийский национальный конгресс», дочери первого премьер-министра страны Джавалхарлала Неру, «женщины тысячелетия» по опросам Би-Би-Си, смертельно раненой двумя охранниками-сикхами у своей резиденции на Сафдаржанг-роуд 31 октября 1984-года*, разговаривать мне было не о чем. К тому же Новосибирск к тому времени обзавелся метрополитеном, где встречаются самые красивые девушки на свете.

*В рассказе нарушена хронология: фестиваль молодежи и студентов проходил в 1985-м году, Ганди убили в 1984-м. Но запомнилось именно так.

АВТОМОБИЛЬНОЕ

Первый раз я попал в аварию под Ричмондом по дороге в Вашингтон в 93-м. Машину унесло в канаву, нас вытаскивал специальный грузовик. Потом — ранним утром на трассе из Атланты. На этот раз автомобиль встал набок и вернулся в первоначальное положение. Незабываемое ощущение полета. Рекомендую. Оторвалось правое зеркало, но можно жить и без него. Вторая машина встала на крышу и сплюснулась — почему-то все, находящиеся в ней, остались живы. Но я не об авариях. Про это — отдельно. Я — про отношение к автомобилям как к потертым джинсам. Чем больше дырок, вмятин и царапин, тем лучше. Свой первый Ниссан Центра 78-го года я гробил с садистским удовольствием. Когда парковался у себя в Хобокене на Castle Point on the Hudson, не расстраивался, если с скрежетом царапал машину о скалу. «Шрам по коже да на роже для мужчин всего дороже». Автомобиль уже потерял девственность. Теперь лишняя царапина ничего не значит. Потом у моей машины вскрыли багажник и вырвали замок. Я стал открывать ее пальцем. Прикольно. На последней американской «Ниссан Пэтфайндер» 98-го года я чуть не улетел в пропасть в Аппалачах. Дорога внезапно оледенела и меня занесло и понесло. Спас дорожный знак. Я ударился о него, и смог выкрутить обратно на асфальт. Ехали в Пенсильванию на день благодарения. Тема и Варя были в младенческом возрасте — даже не проснулись. Из-за оледенения пострадало с десяток машин. Кто-то скатился под гору, кто-то наоборот оказался вверху на склоне. Я потом останавливался у этого дорожного знака. Пропасть там была — костей не соберешь. Опять покорежило зеркало и правую дверь. Повезло. Я все это к тому, что у внедорожника, на котором я езжу по Москве и области, бампер и крылья были прикручены на саморезы, залеплены широким скотчем, покрашены краской из баллончика. Мне было не жалко их мять и царапать. И вот оно свершилось. Бампер отвалился. Пришлось ехать в сервис, где братские армяне прицепили на мой «Ниссан Пэтфайндер» 12-го года новые доспехи. Машину забрал вчера. Снаружи выглядит, как новенькая. Она-то новенькая, а привычки остались. Я теперь вожу машину, будто рюмку водки на подносе несу. Аккуратнее аккуратных. Интересно, сколько это чванство продлится. На фотках артефакты моей автомобильной биографии. На балкон недавно прикрутил.

ХЛЫЩ

Жена говорила мне на ранней стадии любви - ведь ты со своими данными можешь быть, кем захочешь, хоть артистом балета. Я и был кем хочу: пьяницей и бездельником (шутка). Лет через семь после развода я как-то приехал в ее усадьбу в белорусских лесах. К детям вообще приезжал часто, и путешествовали по миру мы много. На этот раз мне пришлось зайти в ее дом. Хотел пить. Когда проходил на кухню, она с ненавистью процедила сквозь зубы, увидев мои красные полосатые носки: ХЛЫЩ! Вот это комплимент, это я понимаю.

В СЕРДЦЕ РВСН

Первый раз в военный городок во Власихе я попал в 2008 году. За пачку сигарет. Столицу Ракетных Войск Стратегического Назначения охранял веснушчатый пацан, которому я объяснил, что мне нужно забрать из бассейна сына, а пропуск я забыл. Сегодня в доступности Wildberries на территории части я уверен не был. Время непростое — слышал по телевизору. Заказ с пластмассовыми безделушками находился именно в секретной зоне — матушка перепутала адрес пункта доставки. Мужчина из Wildberries на рынке (гражданский объект) предложил мне отправить на военную территорию мальчика для посылок, чтобы он отменил заказ. Мне представлялось это излишне сложным, а работник казался мало знакомым с реальной жизнью. Поэтому этим мальчиком для посылок я выбрал самого себя. Подошёл к часовому, объяснил ситуацию. Он отвечал, что это невозможно. Парень лет 18. Что он может знать, кроме устава? Я спросил разрешения обратиться к его начальнику. Он указал на будку охраны. Через железную решетку окна показался хлопец, ещё младше прежнего. Я рассказал историю про мать-старушку, заказавшую грелку и градусник на территорию командного пункта. Добавил, что в молодости имел дело с оперативно-тактической ракетой 8К14 и назвал дочь Варварой. Именно святая Варвара — покровительница ракетных войск. Моя речь тронула сердце воина. Вскоре я шёл мимо Дома офицеров, похожего на драмтеатр или монументальную баню. Путь мой лежал в сторону озера. Под плакатами прославляющими РВСН возились с лопатками дети. Два ствола бутафорских ракет недоуменно

глядели в солнечные небеса. В брезентовых шатрах продавались круглые значки с изображениями ракет с надписями «Не нужно стесняться наших комплексов» Городок оказался ухоженным и уютным. Я бы согласился жить в таком месте. На льду озера я поскользнулся и безболезненно приземлился на задницу. Мужики, выгуливающие детей с санками и надувными ватрушками, сочувственно посмотрели на меня. Барышня в синем пуховике сказала, что знает, где находится Заозерная 20А и сама направляется туда. Мы разговорились. Я поведал свою незатейливую историю, она спросила, что означает перстень на моем безымянном пальце. Я ответил, что ничего, кроме красоты. Она снисходительно улыбнулась. Она была уютной, как этот военный город. Все женщины имеют благотворную сущность, если красивы и добры. Я забрал посылку и побрел к КПП. Спокойствие окружающего мира было призрачным. Под землей громыхало специальное метро, ведущее прямо в Кремль. В шахтах таилось оружие возмездия, в бункерах стучали клавиатуры компьютеров и шелестели принтеры. Мобильник не работал. Если президент, не дай бог, решит нанести по противнику ядерный удар, приказ придёт именно во Власиху. Нахождение в аномальной зоне привело к странному результату. Электронный ключ, открывающий мой автомобиль, перестал работать. Я выщелкнул из брелока ключ железный и поковырялся в замке двери. Включилась сигнализация, нарушившая покой военной базы хлеще противозвушной сирены. Я суетился вокруг машины, пинал ее по колёсам. Дежурный смущенно улыбался. Прохожие злобно оглядывались. С горем пополам я совладал с замком, завёлся и помчался в город. Почему-то меня радовало, что следующий матушкин заказ тоже придёт в секретный город, и я буду вынужден сюда вернуться.

* * *

Заметил, что когда мне хреново, я пестую в стихах некую багрицкую чеканность, в которой свободы в общем-то ни на грош. Верлибры временно достали, но есть же пластичность, акварельность, размытость рифм и смыслов. Любое совершенство — туфта по сравнению с так называемой детской непосредственностью, где есть «и жизнь, и слёзы, и любовь». К счастью, у современников, попадаютя и такие стихи. Их обычно лажают

за сентиментальность, хотя в этих выдыхах и придыханиях и есть весь кайф, восьмеричный путь и избавление от сансары.

* * *

Когда я писал «Ветер с конфетной фабрики» и «Лечение электричеством», «Правила Марко Поло» и «Вок-вок», «Имперский романсеро» и «Норумбегу», «Архангела Гройса» и «Стриптиз», «500 сонетов к Леруа Мерлен» и «Дядю Джо» я чувствовал, что делаю нечто офигенное. То, чего в литературе до меня не было. Не беда, что чуда после издания не происходило. То ли мне (или издателю) не хватало сноровки раскрутить книгу, то ли читатели были заинтересованы в чем-то другом. Любопытно вот что. Я никогда не отчаивался, не посыпал голову пеплом. Чувство самосохранения срабатывало так, что я забывал о предыдущей работе, увлечшись новой. Сейчас я топчусь на перепутье, собираю неопубликованные стихи и рассказы, восстанавливаю манифесты и акции «Русского Гулливера», но спортивный азарт по мере приближения весны просыпается. Мне нужно въехать в какой-то новый масштабный проект, чтобы двигаться дальше нахально и безоглядно. Составление сборников отдельное искусство. Надо как-то изловчиться сделать это быстро. Варианта два: или быстро или никак. Иначе у меня не получается.

* * *

«Полеты во сне и наяву» я смотрел в старших классах с Сашуком и Гарри. «Лишний человек» и «тихий диссидент» эпохи развитого социализма не мог нам не понравиться. Свободный чувак, обаятельный, всех разыгрывает, в гробу видит социум, имеет молодую любовницу и таинственную дачу. И звуки такие напряжённые по всему фильму, и туман. Янковский сказочно хорош собой. Костялый, модный, вызывает внешностью мужскую солидарность и женскую симпатию. После кино, кто-то из моих компаньонов отрезал «не дай бог мне так в сене валяться в сорок лет». Я удивился категоричности. Какая в общем-то разница, где валяться? Все мы будем рано или поздно где-то валяться. Гарри погиб, не дожив до 30. Сашук пропал где-то под Воронежем

давным-давно. Никому из нас подурить подобным образом под сороковник не удалось. Я отваялся в стогу сена в 50, да и в 60 готов прыгнуть с качелей в озеро, если будет не очень холодно. Кукарекать под столом могу хоть сейчас. Кризис среднего возраста и ужас потерянного человека я воспринял, но не посчитал его главным ни в жизни, ни в кинофильме. Есть ещё худший Angst. В «Полетах» он нормальный. Так у всех, кто не очень занят делом. Я решил это, будучи подростком. А сейчас вспомнил об этом, потому что умер год назад Виктор Мережко. Царствие ему небесное.

* * *

Соображение о том, что ничего не кончается, глупое. Все кончается. Чтоб это понять, не обязательно быть царем Экклесиастом. Молодость, талант, любовь, жизнь. Деньги кончаются. У меня забавно получается в этом смысле со стихами.

Я начал этим заниматься в школьном возрасте. Ничего толком тогда не написал, только более-менее удачные строчки и строфы. Я их помнил, и закончил в 30, 40, 50 лет. То есть, когда-то в юности я перешёл в некоторое параллельное пространство, и в нем до сих пор нахожусь.

Не знаю, насколько оно с тех пор расширилось или углубилось. Я может и изменился, но это пространство, осталось прежним. В моем случае трудно говорить о развитии, творческой биографии, истории. У меня есть какая-то запасная дорога, привычная альтернативная жизнь, да и все. Революция или бунт не исключаются, но они все равно следуют из этого детского выбора.

Я поэтому с таким интересом смотрю сейчас на своего 18-и летнего сына. Узнаю себя. Хорошо, если его дороги будут идти за ним следом всю жизнь, как у меня. И закончатся, когда в них уже не будет необходимости.

* * *

Аминь. Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам! Хороним». Я по молодости любил Вознесенского, но «Плача по двум нерожденным поэмам» не понимал. Слишком трепетно по отношению к себе и каким-то ненаписанным стихам. «Вы, люди, вы, звери, пруды, где они зарождались в Останкине, — встаньте!» То есть он накосячил там чего-то, забросил или потерял свои поэмы, а все мы, со зверями и прудами, должны теперь встать.

Пушкин бы такого пафоса себе не позволил. На мой скромный, он убивал и рожал поэмы в равном количестве. Он знал кто в доме хозяин. Лучший Пушкин вообще состоит из осколков, черепков, по которым можно воспроизвести весь античный кувшин. Он легко мог потерять такой черепок-записку, и не заметил бы — в этом и есть кайф. Нет ничего обаятельней распиздяйской щедрости духа. Она не очень рациональна, да. Но жить так, будто ты живешь вечно, «не заводись архива и не трясе́шься над рукописями» интересней.

Безоглядность. Полёт. Обернулся, подобрал что-то, и дальше машешь крыльями вытянув шею на восход солнца. Забавно то, что ничтожность повода в стихотворении Вознесенского все-равно превращает его в плач. Он обобщает и обобщает, доходя до действительно важных вещей. «Вы встаньте в Сибири, в Москве, в городишках, мы столько убили в себе, не родивши», «Минута молчанья. Минута — как годы. Себя промолчали — все ждали погоды. Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить. Вечная память».

Я вспомнил этот сюжет, потому что натолкнулся на папку 1999 года, где нашёл начало своей поэмы «Дворовые распродажи». Мы с женой переехали тогда из большого города в деревню. Из Нью-Йорка на Лонг-Айленд. Под впечатлением этого дела я и писал стихи. Такая восторженная пастернакипь. Кроме встречи со столетними буками и солеными волнами, сыграло роль то, что наша подруга, занимающаяся недвижимостью, дала нам на разграбление дом одной старушки, которая померла, а наследников не оставила.

Мебель, люстры, коллекция трубок мужа, винил (одна пластинка была за подписью Карузо), слайды из путешествий по альпийским горам, фарфор.

Джулия Рубинштейн. Бывшая узница Аушвица. Чтобы не чувствовать себя мародёром, я повесил в гостиной дома, что мы снимали в Сентер Моричес, ее портрет. Решил продолжить теперь жить за неё. При моем тогдашнем язычестве, нормальное дело. Короче, предмет для написания длинных стихов у меня был. За пару дней сочинил страниц пять-шесть бойкого текста. Потом сел на велосипед и съездил в супермаркет за водкой (я тогда пил водку).

Когда домой вернулась супруга, был одухотворенным, но пьяноватым. Мы поссорились настолько, что и я «убил поэму». К Харонам. Хороним. Сильно поругались. Мне расхотелось писать про радость уединения на берегу Атлантики. Навсегда. Винить предлагаю фирму «Smirnoff». Стихи получились неплохие. Вряд ли я сейчас смогу их продолжить и добить до эффектного финала. Плакать о нерожденной поэме через двадцать с лишним лет тоже нет смысла. А время «побега из Нью-Йорка» было хорошим. Надо написать про него рассказ или вставить историю Джулии Рубенштейн в какую-нибудь повесть.

В БЕГАХ (сыну Артемию)

Я вышел в зону прилёта и осмотрелся. Мальчишки нигде не было, хотя мы договаривались встретиться на входе. Позвонил ему — оказалось он едет на маршрутном такси, не рассчитал время. Я побродил до знакомому до боли аэропорту, зашёл в прокат машин «Avis». Когда-то во времена многочисленных судебных слушаний я брал у них машину чуть ли не каждую неделю. Спросил Алёну. Она здесь больше не работала. Жаль, мы симпатизировали друг другу.

Сына встретил на втором этаже. За несколько дней странствий он приобрёл немного бомжеватый вид. Почерневшие ногти, свалывшиеся немытые волосы, как у Роберта Планта. «Лед Зешпелин» я видел последний раз именно здесь: на телевизионном экране в баре. Необычный выбор для нынешних времён. Планта показывали без звука. Объявления о рейсах звучали по-русски, белорусски и китайски.

Артемий вёл себя спокойно, выглядел умудрённым жизнью.

— Здесь вполне можно жить, — сказал он, оглядывая помещение аэропорта.
— Или заберут?
— А почему ты не можешь прожить эти несколько дней дома?
— Так там закрыто. Ключей нет.

Нам подогнали нечто вроде белого «Фольксвагена», я быстро расписался в документах и рванул в снегопад и ночь.

Появиться в Беларуси меня вынудили долгие, абсолютно иррациональные, разговоры с директрисой его школы — Светланой Иосифовной. Моя бывшая с дочками и новым мужем отправлялась на каникулы в Египет, Тёмка лететь отказался. Последнее время дома он не жил. Обретался в интернате, куда с сёстрами определила его мать. На выходных жил у друга. Дирекцию школы возмутило, что мальчик остаётся в стране без родителей.

— Так он в интернате живет, — сказал я. — В чем проблема? А если бы мы с его мамашей умерли?

— Но вы же не умерли, — парировала директриса.

— В уставе вашего интерната ничего нет о том, что дети не могут находиться там на выходные. Я советовался с адвокатом.

— Столовая в субботу и воскресенье не работает.

— Он может купить себе булочку в магазине.

— Это нарушает правила пожарной безопасности.

— Пусть тогда едет в Минск к бабушке, — сказал я.

— Где гарантии, что он поедет именно к бабушке?

— А куда ему ещё ехать?

— В данной ситуации мы должны определить его в приют для несовершеннолетних.

— Определяйте, если поймаете.

В Минск я прилетел вечером, ближе к ночи мы были в городе Мядель, районном центре. Жратвы купили на единственной цивилизованной бензозаправке, поселились в гостинице, отличающейся запахом недавней стройки и гулкой пустотой. Миловидная девушка в обрезанных по щиколотку валенках оказалась разговорчивой, но чаю не предложила. Мы взяли два номера, двухместных не было.

— Какая интересная у вас фамилия, — сказала она.

Мы поднялись на третий этаж. Один номер оказался неприбран, но мы нашли другой. В этом новострое на берегу гигантского заледенелого озера, мы были единственными постояльцами. Завывал ветер, где-то далеко ему подвывали собаки.

— О том, что мы приехали, утром узнают в РОВД, — утвердительно сказал Тёма. — Мы туг одни такие.

Утром я отвёл сына в Дом быта в парикмахерскую, где его подстригли «под извозчика», проводил до занятий, сам было отправился к директрисе, но был остановлен охранником. Аудиенции ждал минут тридцать.

— Извините, пожалуйста, — Светлана Иосифовна встала со стула. — Я не поняла, что вы здесь.

— Бросил работу. Решил разобраться с обстановкой на местности.

— Это очень правильно, благородно. Вы видели это?

Она протянула мне смартфон со сканом фотографии сына из Инстаграмма. Он был изображён с недовольной мордой, подпись кривыми буквами гласила «в бегах от властей».

— Вы понимаете, что это значит в нынешней политической ситуации?

— Нет.

— Все вы понимаете.

На центральной площади у скульптуры белорусскому поэту Максиму Танку проходила репетиция парада к 23 февраля. Четыре мужчины и одна женщина маршировали под снежным дождем.

Я пошёл к знакомому зданию местной ментовки. Со времён моего последнего посещения стражи порядка установили звонок на двери и открывали только после разговора по домофону. Мне был нужен уполномоченный по наркоконтролю Панасевич.

— Он сегодня на районе. Заходите почаще. Может, поймаете.

Антонина Владимировна из администрации города тоже была на длительном совещании. Я побрел в «Singlecafe» на берегу Мястро, где когда-то пристрастился к супу с фрикадельками. В заведении кроме двух официантов был веселый посетитель из соседнего дома. Он уже успел несколько раз упасть на пол и разбить себе лицо в кровь. Его это не расстраивало, и он продолжал общаться. Найдя во мне нового собеседника, он подсел ко мне за столик и начал размахивать деньгами.

— Я вчера пригнал фуру из Польши, давай угощу!

Пожрать с ним было невозможно — он швырялся деньгами в мой бульон. Наконец, появились два дюжих милиционера и увели коммерсанта под руки.

— Панасевич появился? — крикнул я им вдогонку, и один из верзил коротко кивнул головой.

С уполномоченным по наркоконтролю я разговаривал под снегом у дверей отделения. Тот торопился — в кабинет не пустил. Мы стряхивали с лиц мокрый снег и приплясывали.

— Ваш сын проходил свидетелем по этому делу.

— Он никогда не занимался наркотиками.

— Он мог посещать сайты, где ими торгуют.

— Это ничего не значит.

— Уголовное дело закрыто.

— Скажите честно, кто на него накнул?

Панасевич смерил меня взглядом и с неожиданной чеканностью выдал:

— Основную информацию я получил от вашей бывшей супруги. Показания дали Ровдо и Александрович из Нарочи. Информация не подтвердилась.

Что я делал в комиссии по делам несовершеннолетних я помню плохо. Моего сына хвалили, называли олимпийцем в связи с победами на турнирах

по физике. Объясняли, что он ушёл из дома, потому что невзлюбил отчима, лесничего из заповедника. Такова психология детей подросткового возраста. Дети не находят общего языка с приемными родителями. Мы договорились, что Артём может остаться в интернате до приезда остальной семьи. Когда я вышел из здания администрации, репетиция парада все ещё продолжалась. Кто-то принес барабан, большую трубу и несколько белорусских флагов. Я встретил знакомого парня из школы, который сказал, что Тёма пошёл в парикмахерскую «У Ларись» поменять причёску. Предыдущая никак не соответствовала его образу. Я забрал его оттуда через полчаса и направился в интернат сообщить директору о решении начальства города.

В фойе мы встретили Светлану Иосифовну, Елену Павловну и Ангелину Матвеевну, классную руководительницу Артема. Женщины были радостно возбуждены. «Идём на ковёр к Антонине Владимировне», чуть ли не хором сообщили они. Все они были одинакового роста, плотного телосложения, и с одинаковым макияжем на лице.

Уверенные в своей победе, мы с Артёмом поехали гостиницу праздновать окончание «бегов». Директриса позвонила, едва мы вошли в мой номер.

— На собрании коллектива мы решили, что вам лучше остаться здесь или забрать ребёнка в Москву до возвращения его матери.

— Почему? — я совсем не понимал происходящего.

— А вдруг аппендицит?

В аэропорт мы выдвинулись ранним утром. К обеду были в Москве. В самолете я сочинил рассказ для устного чтения — вечером у меня было выступление в «Театре автора». Артёма посадили за белый рояль, и он страстно лабал джаз в перерывах между отделениями. Играл на бис. Мне нравилось, как его постригли «У Ларись». Не вечно ему ходить в Робертах Плантах.

* * *

О смешливых старушках. Мне за последнее время подалось две. Одна хихикала до слез оттого, какие потешные рожи корчил ей сидящий напротив молодой человек. Я сначала думал, что она перебрала. Нет, такая вполне себе дама, в чем-то даже Дама Пик, но что поделаешь, если смешно. А со второй вчера летел в самолете. Старушка была грузная, потная, обмотанная с головы до ног платочками и тряпочками. Она хихикала над лысой головой сидящего впереди пассажира. - Яценюк? - предположил я причину веселья. Оказалось, она смеется от того, что ему на лысину дует вентилятор и мужчине должно быть холодно. Еще ее смешило, что в одних городах снег уже лег, а в других нет. Можно заподозрить ее в слабоумии, но я вспомнил, что в детстве вполне себе смеялись над толстыми, рыжими, даже беременными. Лучше уж смеяться, чем изображать напряженную работу мысли. Вот вы засмеетесь, если вам покажут палец? А если этим пальцем начнут дергать? Мои дети хохочут. У них изысканное чувство юмора. И нафик нам какой-нибудь Жванецкий?

* * *

Когда ты молодой и энергичный, редакторы любят тебя за красивые глаза и длинные ноги. По большому счёту всем плевать, что и как ты пишешь. Тебе дают премии и оказывают знаки внимания, потому что ты - молодежь, с которой надо работать. Можно польститься на это, и закрепить успех. Забраться в экран телевизора или в колонку глянцевого журнала, чтобы остаться на виду. Поскольку, когда ты достигаешь зрелого возраста и начинаешь писать в несколько раз лучше, тебя уже не замечают и по головке не гладят. Но стал бы ты писать в несколько раз лучше, если бы остался на виду? По моим наблюдениям - нифига. А учитывая, что красота глаз и длина ног остались прежними, и ты более-менее хорошо интерпретируешь маразм происходящего, расстраиваться нет причин. Молодым везде у нас дорога. Против такого лозунга не попрешь.

* * *

Недавно понял, что не могу распространять сплетни вслух. Говорили на радио о тщеславии поэтов, интригах и т.п. Историй я знаю много, но рассказывать сюжеты и называть фамилии не в силах. Написать - запросто. О чем угодно. Недаром Набоков говорил, что проза это донос. Устная форма доноса мне не дается.

* * *

Кот Чарли в холодное время года с остервенением ловит в доме летающих насекомых. Утробно журча, клацая зубами. Ночью, охотясь за случайной мухой, он уронил настольную лампу, чашку с чаем, несколько раз наступил мне на голову. Я выгнал его из спальни и закрыл дверь. И тут началось. Муха закружилась надо мной, зловеще жужжа и клацая зубами. Она уронила бумбокс и телевизор. Она наступила мне на голову всеми шестью лапами. Она не знала ни смирения, ни чести. И тогда я призвал Чарли обратно. Пусть охотится. Пусть ломает мебель. "Муха - источник заразы, сказал мне один чувак")

ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ

Мне сказочно везёт с гаишниками (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). Я рассказывал им о своей Сибирской родине, издательской и писательской деятельности, читал лекции о черепахах, объяснял, почему вернулся сюда из Штатов, обещал одному сделать приглашение... Как-то раз, продвигаясь по встрече, будучи остановленным, кивнул на белую рубашку на плечиках в салоне - опаздываю на концерт. С уважением - больше так не делай. Они обычно не берут с меня денег, удивительно. На этот раз повернул направо, не дождавшись зелёной стрелки. Я ждал весь цикл переключения светофора и когда в очередной раз стрелка не загорелась, поехал. Был встречен веселым парнем в невысоком полицейском звании и тут же заявил: «светофор у вас не работает, честное пионерское». «Он у нас сейчас с другом режиме работает»,

отзывается тот, проверяет документы и и отдаёт пионерский салют на прощание. Это только со мной так?)))

Я ИЗМЕНЯЮ СЕБЕ

Из Беларуси я летел с грузом копченой рыбы, которую купил в курортном поселке Нарочь у обаятельного беззубого Алика с трясущимися от скуки руками.

- Поехали на склад, - сказал он. - У меня есть белый амур и сазан. Для угря не сезон сейчас.

- Сезон для сазана?

Озеро Швакшты, где он этого амура и выловил, я хорошо знаю. Экспериментальный водоем с корабельными соснами по краям. Последняя диктатура Европы напускала туда толстолобиков, головней и прочей малосъедобной твари для отвлечения населения от борьбы за европейские ценности. Население клюнуло.

Склад оказался небольшой ячейкой в дворовой кладовке советского образца. Штук двадцать секций с серыми дверьми, одна - синяя. За синей дверью хранится белый амур. У двери стоит ярко красный скутер: еще одно яркое пятно на фоне невзрачного пейзажа.

- Мой, - с восхищением сказал Алик, глядя на мотороллер.

- Твой, - сказал я с ответным восторгом.

Он протянул мне деревянный поддон с рыбой: горбатые, бронзово-желтые, рвущиеся на натюрморт средневекового фламандца. Мы обменялись с Аликом визитными карточками и я помчался в аэропорт.

Посадили меня между упругой дамой в черном и блондином с соломенной декоративной бородкой, похожем на трубадура из Бременских музыкантов. Билет я купил за сорок минут до отлета, так что сетовать на судьбу не стоило.

В тесноте, да не в обиде. От трубадура исходил прогорклый, резкий до головокружения, запах пота, вызывающий ностальгию по восьмидесятым. Я достал сумку с рыбой с верхней полки и положил ее себе под ноги, чтобы изменить атмосферу полета. Упрямая дама надела наушники и ушла в себя. Вскоре соломенная борода поинтересовалась, сколько лететь до Москвы и я представил себе самородка из глубинки, летящего для покорения мировых столиц.

- Там наверное депрессивно, в этой Москве, - продолжил парень. - Толкаются все, спешат куда-то.
- Мне некуда больше спешить, - ответил я словами романса.
- А как добраться до города?
- Общественным транспортом.

Я не знал в какой аэропорт мы прибываем и сказал, что он легко доберется до Белорусского или Павелецкого вокзала Аэроэкспрессом.

- Мне в Воронеж, - сказал он и погрузился в молчание.

Я тоже замолчал, вспоминая какое удивительное количество друзей есть у меня из этого города, а я там никогда не был. В родном Томске все поумирали или разъехались, а Воронеж ни с того, ни с сего подарил мне и общение и любовь.

- Я там живу, - выдохнул парень. - Боюсь возвращаться.
- Купите бронжилет, - предложил я дружески.
- Нет, не поэтому, - улыбнулся он, разворачивая гамбургер из "Макдака". - Просто мне кажется, что меня ждет культурный шок.

Я поднял глаза, пытаюсь понять, к чему он клонит. Начитался книжек? Оказалось, летит из Италии, где прожил в каком-то городке под Римом шесть месяцев. Аспирант - пиццевик. Изучал дистилляцию воды.

- Хм... А почему тогда из Минска?

Он расплылся в улыбке, изготoвившись к долгому разговору.

- Путешествовал. Смотрел мир. Привык к цивилизации. Не знаете, почему у полицейских в Италии и Франции одинаковая униформа? Нацгвадия?
- Они вообще-то разных национальностей.

Поговорили о свободной Европе, ценах на недвижимость на Мальте и Майорке.

- А вы как в город едете? - спросил он, наконец, с надеждой в голосе.
- Меня встречает двоюродная сестра с детьми, - молниеносно соврал я. - И мы сразу - в Протвино, к бабушке, дедушке, прадедушке...

Вскоре мы разошлись по разным концам аэропорта Домодедово, чтобы более не встречаться. Я брел с сумкой, благоухающей белым амуrom на всю Ивановскую и размышлял, почему поступил сегодня не так, как всегда. Потому что жил повсюду и давно забыл, что такое контрасты культурных сдвигов? Потому что не стал слушать, что мне пытаются впарить этот попугай из кулинарного техникума? Да нифига. Я узнал в этом бродяге самого себя лет тридцать назад, когда за один-другой стакан вина мог рассказывать бесконечные анекдоты случайным собеседникам в кафе-ромашка или объясниться девушке в любви, чтобы переночевать в общежитии или на квартире. Меня неистово подмывало подбросить его до города (машина стояла на парковке) или хотя бы подарить на прощанье одного бронзового амура. Но я сдержался. Я изменил себе. Неожиданно перешел на иную ступень психологического развития. "Когда-то ты был битником. Ууу". Ну и что? Привычки надо менять. Хотя бы для разнообразия.

БАБЕЛЬ 95

У меня была знакомая стриптизерша — Мария. Жила на Брайтоне, работала в престижном заведении в деловой части Манхэттена. По сравнению с девушками ее профессии продержалась там довольно долго — почти полгода. Я приезжал к ней выпить и поговорить. Мария танцевала специально для меня, а если посетителей не было, садилась на край сцены и подолгу гладила меня по голове.

— Какой же ты дурак, — говорила Мария с материнской теплотой. — Опять надрался.

— Поехали ко мне, — отвечал я. — У меня отличный вид на статую Свободы.

Я жил через реку, в Джерси-Сити. Шёл до Exchange place и проезжал одну остановку до Всемирного Торгового Центра. В Бруклине в те времена бывал редко. Одесский говор не вызывал во мне великодержавных эмоций. Мария была большой и тёплой. Тело ее пахло пудрой и трудовым потом.

— Почему бы нам не пойти в нормальное кафе? — настаивал я. — Очень хочется посмотреть на тебя одетой.

Марино это смешило. Она смеялась в любую свободную минуту и раздеваясь на сцене улыбалась задорно, словно перед полетом в космос.

— Чем ты отличаешься от них? — спрашивала она, окидывая взглядом краснолицых клерков и биржевых спекулянтов, заходивших сюда развеяться.

— От них я отличаюсь одеждой, — говорил я. — И врождённой добротой. Я такой же, как ты.

— Вот это мне и не нравится, — вздыхала Мария. — Это вредит карьере.

О какой карьере она говорила, сказать трудно. За приятельские разговоры с клиентами и невинные ласки она в два счета могла вылететь с работы. «Его знобит, он умирает, совсем один, он просит меня, неужели сказать «нет»?»* — говорит медсестра Дуду в рассказе Бабея. Я не был болен, не умирал, был не настолько одинок, чтобы просить любви. Мария умела жалеть людей, которые потерялись во времени и пространстве. Мы оба были родом из страны, которая недавно прекратила своё существование, и считали, что можем позволить себе больше, чем остальные.

Возвращаясь домой, я ликовал. Подтягивался из спортивного азарта на поручнях вагона с пуэрториканцами, разговаривал с обкуренными подростками о Кастанеде. На фотографии ниже — мой последний визит к Марии. Я приехал к ней с большим букетом роз, но на месте ее не оказалось — уволилась. По пути домой я раздал цветы всем женщинам в

вагоне, внимательно приглядываясь, женщина передо мной или просто кроссдрессер. Тела своей обнаженной собеседницы не помню, только запах макияжа, сладкого пота и напористый говор, который в те времена казался мне эротичным.

*У Бабеля было: «Il gele, il meurt, il est seul, il me prie, dirai-je non?» (фр.)

* * *

Меня остановил сегодня ночью гаишник на Рублево-Успенском шоссе.

— Что означает черепаха у вас на двери? — спрашивает.

— Мозгов мало, а живет долго, — говорю.

— Не понял.

— Машину так легче найти, - придумываю я. — А то все чёрные, одинаковые.

— Вы рок-музыкант?

Это почему-то часто спрашивают. Менты, таксисты, стюардессы. Один раз ехали с Андреем Тавровым метров десять по встречке — опаздывали на выступление. В салоне на плечиках висела белая рубашка. Я согласился с остановившим меня гаишником, что я — певец. Сказал, что опаздываю на концерт. Нас отпустили. Без денег. Сегодня я ничего не нарушал. Поэтому сказал, что я писатель. Мог бы назваться старшим научным сотрудником, но сказал правду.

— Про что пишете?

— Детективы. Сейчас заканчиваю роман про майора ГИБДД, — честности у меня хватает только на один ответ.

Смотрит недоверчиво. Губы под маской шевелятся в поиске нужных слов.

— Вы здесь живёте?

— Да, в Дарьино.

— Что-то не видел я раньше такой черепахи.

— Так я езжу по платной дороге.

Разглядывает меня. Смотрит на шмутки в салоне, на панцырь маленькой черепахи и индейские dream-catchers, висящие на зеркале заднего вида. Его явно что-то смущает. Некоторые в таких случаях просили дыхнуть или выйти из машины, чтобы пройти по прямой.

Я тоже смотрю на него и уже готов сказать, что сочиняю песни и даже сегодня что-то пел в галерее на Каширке. Но это только множит сущности. Одно лишнее слово, и мне придётся рассказывать историю всей моей жизни.

— Счастливого пути, — вздыхает он, и я быстро набираю скорость на пустой дороге.

Я поглядываю на видео-регистратор, которой купил перед поездкой в Абхазию. Говорят, постоянная видеозапись их пугает. И дело вовсе не в черепахе на дверце и серебряной серьге в левом ухе)

На фотке Ганны Шевченко я пою «Ветер, что ты?» на вечере Русского Гулливера за два часа до встречи с майором Назаровым.

ЛЕБЕДИНАЯ ВРЕДНОСТЬ

Стихов своих я ей никогда не читал, потому что любила она меня не за это. В аэропорту Адлера отдала мне свою последнюю десятку, оставив себе мелочь на такси в Новосибирске.

— Деньги тебе здесь пригодятся, — сказала она. — А у меня каникулы уже кончились.

Мы познакомились в Энске в начале лета, когда я, оказавшись там, решил зайти к старому другу Финченко по кличке Банзай. Банзая встретил около мусорного бака у него во дворе. Он выбрасывал старые прочитанные книги и стопки фотографий в целлофановых пакетах. Я рассмотрел, что на некоторых из них мы изображены вместе.

— Я женился, — объяснил он мне свое поведение, будто я был его прежней любовницей.

— Доставай обратно, — сказал я строгим тоном.

На фотках поблескивали отражения нашего бывшего счастья. Пару лет назад мы проехали автостопом и на багажных полках поездов Латвию, Эстонию и Литву. Умывались в реках, питались хлебом, отбирая его у голубей. «Когда-то ты был битником, эй-эй!» Финченко немного смутился и сказал, что жена велела избавиться ему от ненужного хлама.

— Горького-то выкинем? — спросил Финченко с надеждой.

— Горького выкинем.

Банзай со злостью впечатал в мусор несколько томов пролетарского писателя.

— А Стендаля?

— И Стендаля выкинем. Я его по телевизору видел. Сплошной феодализм.

На пьянку Банзай пригласил своих ребят, и двух веселых девах: Жанну Чередниченко и Янку Дягилеву. О значении Янки для мировой культуры мы ничего не знали, и решили, что с нас хватит одного поэта-песенника. В тот вечер я пел кандальные песни для дочери Банзая — Даши. Она послушно засыпала. Дягилева тоже уснула.

Я остался с Жанкой, и переселился к ней той же ночью. Когда приехал ее муж, увез ее к тетке Юлии на дачу. Тетка ценила чужую любовь. Постелила нам наверху, а внизу поставила запотелый графин. Мы курсировали сверху вниз, и снизу вверх. Упивались бесстыдством и нежностью. На свете, кроме женщин, ничего хорошего нет. Или почти нет.

Следующую встречу назначили в Сочи — на нейтральной территории. Чтоб не обижать мужа. У Жанны в центре города проживали друзья, получившие квартиру за счет того, что должны были ухаживать за ее престарелой хозяйкой. Они исправно исполняли свои обязанности. Никакого мышьяка, удушения

подушками, оставленной газовой горелки. Они эту бабу любили. Мы с Жанкой полюбили ее тоже. При ней не трахались. Закрывались в спальне. В свободное время ходили на пляж, ездили на подводную охоту. Один раз посетили ресторан, где Чередниченко танцевала голая на столе. Быть голой ей шло. Она была тонкая, безгрудая, изящная, как дерево без листвы. Ничего лишнего. Думаю, никто в кабаке не заметил, что она нарушает правила хорошего тона. Ее нагота была органична южному ландшафту. Поэтому обошлось без милиции.

В Сочи я приехал, обзаведясь путевкой в санаторий в абхазской Пицунде. Когда сезон начался, съездил туда и отметил свое прибытие. В комнате моей жил довольно опрятный казах, но общество веселой влюбленной женщины нравилось мне больше. Мы отметили мое двадцатипятилетие на ночном пляже, перелив воду из Белого моря в Черное. В июле мне удалось побывать в Архангельске и на островах Соловецкого архипелага. Я набрал воды на острове Анзер, недалеко от Соловецкой голгофы. Жест переливания воды в то время мало что для меня значил, но своей романтикой указывал верное направление жизни.

Мы много гуляли по городу по ночам. Целовались в подворотнях. Забравшись однажды на дикий скользкий пирс в районе Мацесты, неожиданно решили прыгнуть в воду для подтверждения чувств. Море было беспокойным. Волны раскачивали огромные булыжники прямо под нами. Прыгать было стремно.

— Все-равно мы умрем когда-нибудь, — сказала Жанка со знанием дела. — Давай попробуем.

Я не хотел выглядеть трусом. Взял ее за руку и увлек в пучину. Нам повезло. Место действительно оказалось непригодным для купания, но мы вошли в воду в нескольких сантиметрах от затонувших ржавых мостков и камней.

После ее отлета я отправился в дом отдыха к цивилизованному казаху. За время моего отсутствия он развел тут целый гарем, приглашая девушек на ночь «посмотреть телевизор». Разгонять теплую компанию я не стал. Ребята вручили мне гитару, и я часа два лабал перед ними мелодии и ритмы

зарубежной эстрады. В результате хорошенькая, немного полная, брюнетка из Москвы пригласила меня на ночное купание.

Мы пошли на пляж, где вдалеке друг от друга белели телами несколько таких же парочек. Девушка пахла ветром и сладким красным вином. Из санатория долетали запахи роз, азалий, глициний. Шумели лавры и эвкалипты. Бамбуковые рощи блестели лакированными стволами в свете фонарей. Ночная растительность поражала причудливостью форм и размеров. Я был в модных для той эпохи сандалиях, и девушка сказала, что в них я похож на грека. В переводе на местный это означало, что она готова отдаться.

— Море у берега мелкое, а там сразу яма, — сказала девушка, уводя меня в сторону.

— Яма это - хорошо, — сказал я. — Хочу в яму.

Мы долго купались с ней в этой яме. Когда вышли из воды, она быстро разделась и стала отжимать купальник прямо передо мной. Я улыбнулся и сделал то же самое. Потом мы легли на ее полотенце, изображая собой, что любое продолжение банкета отменяется. Смотрели на звезды и обсуждали пульсирующую и статическую модели вселенной.

— Ничто так не удивляет меня, как звезды на небе и нравственный закон внутри человека, — сказал я цитату из Иммануила Канта.

Девушка испуганно поежилась и надела мокрые еще плавки. Что она, бедная, хотела? Чтобы я предал свою сибирскую любовь, отдавшую мне недавно последние десять рублей? Я не мог забыть этой жертвенности. Я был глуп. Не знал, что женщин в таких случаях обижать нельзя. Никаких. «Никогда не надо отказываться от секса и от съемок на телевидении», - говорил Курт Воннегут. Мужчины, слушайте Курта Воннегута, а не Иммануила Канта.

Жанка приехала ко мне на новый год в Москву в пустую квартиру. Ко мне приходили одноклассницы с каким-то озабоченным итальянцем. Он приставал к моим подругам, и я его выгнал сразу после боя курантов. Конфисковал сигареты «Марльборо», и выставил за дверь. Свое поведение

объяснил сибирским хамством. Чтоб не подумал, что я такой утонченный, как выгляжу.

После ухода гостей первобытное хамство вселилось и в девушку. Она села на подоконник и начала бить о стену трехлитровые банки. Из мебели у меня были кухонный и столовые столы, несколько табуреток и эти дурацкие банки. Она не успокоилась, пока не разбила их все до последней.

— Я была готова умереть с тобою, — рыдала она. — А ты празднуешь новый год с какими-то блядьми. Ты меня предал.

Наверное, она расстроилась, что я не беру ее замуж. Про свою лебединую верность распространяться не стал. Странно бы это прозвучало. Вне контекста. Прикончив банки, она ушла. Навсегда.

Потом я уехал в Америку. Потом вернулся. Какой-то приятный парень из ФБ, владелец пивного ресторана в Лондоне, прочитав мои рассказы о Финченко, написал мне, как тот умер. Сначала привез с отдыха на Кипре умершую там по неизвестной причине жену. Потом запил, но отец закрыл его в квартире на ключ, чтоб тот не мог сходить за водкой. Тогда он спустил веревку из окна и его друг переправил ему несколько бутылок. От этой водки Митяй и отдал концы. Наши дороги разошлись окончательно.

Недавно я нашел кассету, которую подарила мне Жанна на море. Пела ее подруга, с которой мы за время краткого знакомства не успели обмолвиться и словом. Она озвучивала все, когда-то происшедшее с нами в молодости.

«Это будет очень долго, зато будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам, Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсами. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам!»

Думаю, Дягилева, как и ее подруга, тоже любила бить о стены пустые стеклянные банки. Если бы мне сейчас попала под руку трехлитровка, я разбил бы ее о стену, не задумываясь.



В опыте написания автобиографии сразу возникает – во всяком случае для меня – целый ряд вопросов. Если изложение вести, как и предполагается, от первого лица, то можно ли доверять самому себе, при постоянно маячащей перед глазами банальной фразе «врет, как очевидец»? Занимаясь реконструкцией своего времени и опираясь на вроде бы несомненные факты, необходимо помнить и про «ироничные препятствия». Известен классический пример: некий профессор комментировал воспоминания Гете, в которых тот упоминал, что больше всего любил Гретхен. «Гете ошибается», - говорит исследователь, - «на самом деле он больше всего любил Лизхен». Принято смеяться над нелепым утверждением профессора, который якобы больше посвящен в сокровенные чувства Гете, чем тот сам. Однако все не так просто. Профессор, судя по всему, опирается на сумму фактов. Гете может быть неточен в своих воспоминаниях, может что-

то забыть и что-то путать или даже из каких-то соображений по-иному представлять биографические события. Это показывает, что, наверное, верить и самому себе надо с оговорками. Жанр автобиографии стоит еще определить: полная субъективность и ориентированность на свою память – и тогда он становится сродни художественному вымыслу – или все же бросить туда крупицу объективности? Присутствует не менее важная проблема – трудность написания автобиографических заметок многим знакома в силу мнимого самоуничижения: да кто я такой, чтобы утомлять кого бы то ни было фактами своей жизни? Существует и еще одна причина, препятствующая обращению к жанру автобиографии. Для многих прикосновение к своей памяти даже таким тонким инструментом, как слово, непозволительно: ведь нерушимое растущее вглубь и вширь целое своей жизни искажается при вторжении и нежного скальпеля. Человек сохраняет пережитое как полное собрание эпизодов, пусть иногда драматических или трагических, но из нерасторжимого целого он может извлечь и извлекает некоторые неповторимые и, как ни парадоксально, сладостно повторяемые мгновения или часы, которые в своей глубине и силе нельзя передать на письме. Хотя можно и возразить: именно слово способно запечатлеть и до времени в запечатанном виде сохранить, чтобы вызвать затем – истинный аромат, казалось бы, исчезнувшего времени. Помня о всех высказанных сомнениях, попытаюсь начать изложение автобиографических отрывков в разрозненном виде и отнюдь не всегда в хронологическом порядке.

Летом 1968-го-да я поступил в Московский физико-технический институт, в просторечье Физтех (все говорили «поступить на Физтех», «поехать на Физтех» и т.д., но я вероятно из духа противоречия говорил «в Физтех», несмотря на неблагозвучный словесный стык «в-ф»). Я не знал определенно, какой физической и математической областью хотел бы заниматься. Мне нравились физика и математика как предметы, как науки и, если вдуматься, то они меня влекли прежде всего эстетически, так что отношение к ним было как к искусствам.

Поэтому поэзия, которой я тоже решил себя посвятить, не была для меня отгорожена от физики: и не «физика-лирика» как пара – в том числе и фонетических – оппозиций присутствовала в глубине, но двоица «сонорно родственных» слов: «физика-поэзия», «физи... - поэзи...». Весь прошедший перед поступлением год я активно писал стихи (почему я не поступил первый раз в Физтех, отдельный, сложный и в чем-то мучительный разговор). Я

понял, что для меня это самое важное в жизни – читал все стихи, которые мне попадались на глаза, да и сам я активно их искал: в журналах, газетах, книгах, учась не только, как надо, но главным образом, как не надо писать стихи.

Некоторые из тех – довольно многочисленных и регулярных попыток и опытов – меня семнадцатилетнего – сохранились, некоторые были переданы другим и по-видимому утрачены, некоторые затеряны в памяти, но не исключено, что где-то там в нехоженных и опасных закоулках со временем будут найдены. Понятно, то была пора ученичества, хотя появляющиеся новые вещи иногда казались мне тогда достижениями. Попробую привести короткие отдельные отрывки как части стихотворной биографии. Вот четверостишие, которое можно назвать звуковым этнодом:

Торопливые тени
Поползли по окну,
И меж веток сплетений
Свет секундный мелькнул.

Или фрагмент из чего-то более экспрессивного и абстрактного:

Вышел
И жаром пышет
Грудь
Застилается путь
Белой хмельной завесой
Вижу
Пронесется выше
Крылья без формы и веса

А вот строфа из длинного произведения, посвященного одному московскому дому – здесь через «блочно-брусовой» комплекс сочетаний из Блока, Брюсова и Эдгара По, возможно, различимы слабые отзвуки и своего голоса:

Виден в сумраке гостиной
Под гравюрою старинной

Тонкий остов корабля.
Но качнутся странно рей,
Словно ветер вдруг повеял –
По воде из хрусталя,
В чистом воздухе разлитом,
Через стекло в блеске бликов
Блекло-белую фату
Бриг парящий, став нетленным,
Пролетит лучом мгновенным
И помчится в темноту.

Стихотворные опыты интуитивно имели отношение и к физике, ведь «поэзия» этимологически восходит к «творению», а физика к «природному», поэтому поэтическое и реальное были способны образовать некий призрачный союз, который, впрочем, надо было еще найти и – более того – создать.

...физи – поэзи – физи – фи-зи – фи-зи поэ-зи...

По узкой асфальтовой тропинке, идущей от станции «Новодачная», все студенты шли друг за другом гуськом, минуя рельсы вспомогательной железнодороги, оставляя справа за оградой утреннюю пустыню стадиона и попадая постепенно на улицу Первомайскую, бессознательно чувствуя, что мы оказались в пространстве доброжелательно расположенной к нам зоны. Студенты, погруженные в занятия, редко так уж пристально оглядывались по сторонам. Для меня и внешний пейзаж был болезненно важен.

пейзаж - внешний и пейзаж внутренний

Монастырь и казарма – такие отдаленные ассоциации возникали при попытке передать черты того, чем являлся (и, наверное, не только для меня) Физтех. Здесь культивировалось возвышение постоянное в гимнастических упражнениях ума. И также присутствовало естественное, но неприемлемое для меня стремление отрешиться от окружающего. А вокруг была благоустроенная, но, по сути, неизведанная зона.

зона зона зона зона

Здесь были берзовые рощи за Савёловской дорогой, напротив общежитий и по другую сторону домов, за вертолетным полем уже за городом. В лес можно было вбегать – что я никогда не делал, только лишь по физкультурному принуждению. Там в роще за «вертолетным» однажды мне

открылся канал, я не сразу понял, что это Москва-Волга - водный мемориал, мавзолеей над тысячами павших с тачками на его строительстве. Больше всего меня поразил канал своей непредсказанностью – среди лесных равнин – он возник как-то сам по себе, никакого движения в нем не чувствовалось, только вода плескалась о борта, и при том он был огромный. Это было некое неживое существо, но с признаками дремоты, которое могло по желанию и свистку человека пробудиться.

летнее забвенье

Девиз, которым я руководствовался во время летних каникул: «Кончились экзамены, начались гекзаметры». Что-то из написанного я читал лишь немногим – школьным друзьям Ире Стырикович и Жене Зарецкому. Другой мой школьный товарищ Сережа Квасовец дал мне книжечку (из серии «Сокровища мировой лирики») Тютчева, что стало одним из сильных потрясений, поскольку кроме «грозы в начале мая» я ничего больше из его поэзии не знал. Эту книжку я ему вернул, а вот то, что вернуть не смог – «Поэтический словарь» Квятковского. Я помню летние жаркие дни на втором этаже дачи, которую мы снимали в Жаворонках. Топчан с пахучим тюфяком, и непрекращающееся чтение стихов – словарь для меня был в большей степени хрестоматией, чем теоретическим руководством. Тщательность подобранных образцов там до сих пор меня поражает. Я выучивал их в разделах медитативная и суггестивная лирика, что было для меня постоянным возобновляемым откровением.

}}

}}

}}

«Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи» - сборник трудов Рильке я читал на семинарах по доп. главам мат. физики или вычислительным методам алгебры. Однажды в перерыве между лекциями ко мне подошел Владимир Мацук – математически продвинутый студент. «Что читаешь? – спросил он, ожидая увидеть что-то интересное для него вроде Бурбаки или Колмогорова. Я показал книгу в моих руках: «Слово в творчестве актера» Марии Кнебель. Он только покачал головой.

Воздействовала ли окружающая обстановка с общежитиями еще сталинских времен? Между облаками и небом кажущимися как-то особенно неуклюжими и вместе с тем обновляемыми каждодневно? С пропыленной зеленью и приземистыми постройками вокруг, с людьми, похожими на людей именно этого времени?

Я старался посещать все семинары и лабораторные, да без таких перманентных каждодневных присутствий вряд ли я бы выдержал напряженный ритм процесса, который требовал иногда сверхусилий: я подсчитал, что в первом семестре в обязательные задания входило решение около 500 задач из разных математических и физических разделов.

/ \ || || \ |||
|

«Это зачтется когда-нибудь потом», - шептал я в общезитии в ночных бдениях.

Важнейшим оказались занятия по философии на 3-м курсе – стали проясняться направления поисков зарубежных поэтов. Сеферис, Лорка, Кавафис – даже отрывки их произведений, извлеченные из разных источников, стали ориентирами. И во многом благодаря философским каркасам, поддерживающим воздушные поэтические здания.

¿ ? ¿

Возможно ли сочетание – серьезное – занятия точными науками и гуманитарные устремления? Обдумывать такие несколько отвлеченные вопросы не приходилось – я пытался следовать за течением событий. Хотя вокруг раздавались все время утверждения – без отношения ко мне – что такое невозможно. Приходилось по ходу дела приспособляться и решать возникающие проблемы. В течение первых лет учебы там я собрал две тетради стихов, которые составили маленькие рукописные книжки: «Из окон» и «Нокторны». Показывать в Физтехе я их не решался, лишь своему товарищу по группе Володе Зубову как-то дал почитать. Мне было ясно, что кроме школьных друзей, которые способны все же оценить мои притязания на новое высказывание, вряд ли кому-то это можно было показать вовне. Во мне боролись два разнородных свойства: одно - природная застенчивость, другое – сомнение, вместе они словно бы нейтрализовывали друг друга, поэтому «внешних движений» я практически не совершал.

Я задумывался, когда писал стихи: насколько ты сможешь сыграть роль студента-физика? Но играть надо было «безоглядно», не примеряя личину, играть всей жизнью. А с верхотуры Большой физической аудитории (настоящее название) Физтеха пристально глядел в даль поэзии. Положение дилетанта меня совершенно не устраивало.

В последние годы учебы я пытался найти контакты с литературным

сообществом в институте. На Физтехе существовали какие-то студии, приезжали философы и люди искусства. Но мои действия в том направлении носили спорадический характер. В 1971-м году я подумал, что хорошо бы отметить столетие со дня рождения Бодлера. В результате некоторые известные переводы его стихов были вывешены весной в своего рода стенной газете (не помню, сколько она продержалась) при входе в 4-й корпус общежития. На последнем курсе на каком-то вечере решился прочесть и что-то свое:

И этот белеющий вечер,
И встреча моя и твоя,
Как облако тени овечьей
В сиреновой толще репья.

Вот сентябрь 71-го: студенческий девятидневный выезд на сбор картошки, вернее морковки, под Протвино, - долина Протвы, тот берег в осенних зелено-желто-красных дворцах и запах прели, который живет рядом со словом «прелесть», тогда же появившиеся строки «черный мой свитер, в безымянную ночь, знаю, что есть тот ветер...». Со мной впервые зеленая в матерчато-плотной обложке монография Чепмена и Каулинга, посвященная кинетической теории – моей будущей специальности. Пишу первый, как мне кажется, неплохо разработанный сборник стихов – от которого потом мало что сохранилось – «Путешествие в любимом пространстве».

Δ Ξ ΞΞ ΞΞ

Собственно, учебный Физтех представлял тогда из себя трехкорпусное соединение: аудиторный корпус (больше административный), лабораторный, белый по цвету, архитектуры явно древней, как оказалось потом, довоенной и главный корпус, внешне достаточно безликий, но удобный – плоской новейшей 60-х годов постройки из светло-коричневого кирпича.

В том корпусе я увидел на стене в сентябре 1969-го в газете «За науку» напечатанное мое четверостишие -- отрывок из длинного стихотворения, не стоит его приводить из-за явных пастернаковских аллюзий (после этой публикации прошло 14 лет, прежде чем другие мои стихи появились уже в «нормальном» журнале «Студенческий меридиан»),

=≠ ≠≠ =≠ =

Вот вместо того, чтобы готовиться к экзамену по квантовой механике,

я еду к знакомой читать Библию (наверное, чтобы уравновесить тем свои «пантеистические молитвы» стихов). Июнь, пора напряженных испытаний, я погружаюсь в «Божественную комедию» и не могу оторваться. На последнем трехминутном перегоне Марк-Новодачная прочитываю половину огромного полуторагодичного курса по функциональному анализу. Негативные результаты и оценки не преминули явиться.

Последний, шестой курс на Физтехе был особенно сложен, летом 1973-го я завершил большую поэму «Появление человека» (около 1300 строк), которую считал своей тогдашней самой важной вещью, и по инерции продолжал писать в таком же «поэзном» темпе – то было какое-то непрерывное действие, для физики оставалось мало места. Положение становилось угрожающим: мне светило закончить институт без диплома, я не мог заставить себя заниматься математическими образами, тогда я обитал не там. К тому же задача, которую мне поставил мой научный руководитель, меня не увлекала (забегая вперед, скажу, что все изменилось через несколько месяцев). А так я пытался программировать составленный мною алгоритм, но он не очень-то работал, и, главное, - мне было скучно. Помню, как в Нескучном саду в декабре я выбросил программу – распечатку программы, переполнявшей сумку, но ветер разметал ее, и пробежавшие лыжники прокалывали палками эту белую бумагу.

∫

На последних курсах я завел и всегда носил с собой (и ношу до сих пор) две тонких ученических тетради в клеточку – одну для стихов и прочей литературы, другую – для формул и физических соображений. Мне казалось, что, вглядываясь в математические значки, я могу увидеть стоящие за ними некие первообразы, которые оживали затем в символической среде. С другой стороны, словесные и звуковые соответствия, за которыми встают в полный рост метафоры, вели также к формам математическим. В год наполнялось несколько тех и других тетрадок, - в чем, наверное, тоже была непрерывная учеба, я чувствовал себя учеником у мира, - обращая постоянно лицо к нему, я старался задавать вопросы, иногда даже получая ответы и что-то записывал под диктовку, вернее, это был диалог учителя и нерадивого ученика, изображающего к тому же, что плохо слышит.

Две тетрадки - как две руки – согласованные накрест с двумя полушариями сознания – что там семиотическое, что образное, уже трудно понять – математическое ли, поэтическое ли – предсказывающее будущее

свои опыты одновременного написания обеими руками, но разного – формул и стихов.

В осень 1973-го я заканчивал поэму «Возвращение с ветвью», вступлением был отрывок под названием «Галатей» о протяженной влюбленности почти от детства и создании из морского песка (много позже она вошла в «Антологию русского верлибра»):

Где те песчаные города у моря
Которые я думал тебе создать?

Разве явление твое понимал я,
Когда каждый вечер земля тобой тяготела
И мосты уходили в далекий невидимый берег
Разве ты берег тот долгожданный
И ты на мосту, Галатей?

Совмещение занятий происходило как бы на поверхностном уровне, глубокое погружение в один из способов мирообращения требовало сосредоточенности только на нем. Так и произошло весной 1974-го, когда я полностью вошел в физико-математические образы. Что было сродни для меня работе над поэмами. Тогда же я понял, что мне легче создавать что-то новое, чем усваивать прежде известное.

И

Некоторые интуиции о математических и физических образах словно бы не требовали до поры точных подтверждений и ждали будущего. Например, я тогда полагал, что чисто математический ассоциативный закон $(a+b)+c=a+(b+c)$ сродни физическому закону сохранению импульса или энергии. Это прояснилось при создании модели времени.

И И И

Собственно, физика и поэзия определяли и задавали диапазон взаимодействий на линии с двумя полюсами (религиозный опыт мог быть тоже подключен): природного («фюзис») и творческого («поэзис»). Но на самом деле, они постоянно менялись местами – наблюдение в поэзии не менее важно, чем спонтанное порождающее начало в физике.

И И

Весной 1974-го работа над выпускным дипломом была действительно

интересна: новые закономерности и соотношения стали появляться как бы сами собой – понятно, с последующими исправлениями, дополнениями, что было подобно технологии прояснения поэтических образов.

Ω ħ π o

Обнаружение связей в физическом и математическом мире в чем-то напоминало появление метафор – и потом через много лет уже я постарался обобщить такие ощущения в статье. Метафора сопоставлялась с физическим уравнением, где в левой и правой частях появляются понятия вроде бы разных свойств и смыслов, которые оказываются в нем сопоставлены. Такой же склонностью к метафорическому соединению можно объяснить будущее мое построения, связанное с теоретической моделью пространства и времени: движение стрелки часов связалось для меня с чисто пространственным перемещением, что подготовило будущую математическую формулу.

ζ

В феврале 74-го для меня ударом стала весть об изгнании Солженицына (что было лучше, конечно, чем лагерь) – событие отразилось в стихотворении «Солженицын» - первые образы стали появляться сразу, но все погрузилось в подсознание и ждало своего часа, отложенная реакция на письме способствовала концентрации.

ζ ζ ζ

Сентябрь 1973-го, мрачный чилийский переворот, смерть Пабло Неруды, значимого для меня поэта. То был период и самых сложных решений («умереть или измениться»), я окончательно отходил от официального течения мысли, понимая, что надо создавать свою эволюционную систему преобразований в мире.

Я закончил весной 1974-го Физтех и был оставлен в аспирантуре, что для меня было равнозначным возможности продолжения и стихотворной работы, поскольку научные изыскания начали уже прочно соединяться с поэтическими – параллельно или последовательно, неважно, хотя в том и другом подходе была своя техника.

≤

В основе стиха для меня лежала трансформация и ритм такой трансформации как существования в движении, тогда я пытался сформулировать и особую сгущенность поэтических образов, когда появление следующего значимого выразительного комплекса происходило

раньше, чем первый успел «реализоваться» полностью. Возможна метафора с отчетливо выделенными и прописано словесно частями, между которыми происходит сложное взаимодействие (пробраз будущей метаболы?), но допустима и «недовершенность» образа или наслоение по «принципу черепицы», например, «кто сожмет кипарис в пурпуровой рукояти высотной башенки века». Не отстранять от себя далеко слова, но приближать их, быть внутри них, - самому становиться словом, пусть, не совсем законченным, сформировавшимся, но горячим и текучим, которые неявно задают инструкцию тому, кто входит в словесный поток – здесь подход динамики «внутреннего пластического театра» -- понятия, которое я сформулировал позже.

S S S

Так как я учился на факультете управления и прикладной математики (буквально недавно созданном, - когда я перешел на 2-й курс) и на кафедре математической физики в так называемом базовом институте – Вычислительном центре Академии наук – то математическое моделирование было для меня важным и действенным понятием, и по-видимому я «непроизвольно» переносил его в поэзию. Возможно, первый опыт использования «поэтической модели» проявился в стихотворении «С другом в магазине игрушек» (отправленному в письме моему школьному товарищу Сене Шлосману) и потом вошедшему как небольшая часть поэмы «Появление человека». Может быть, здесь впервые был найден настоящий мой голос и стиль, и при том «развернутый троп» имел свойства нетрадиционные. Потэтическая модель подразумевала, что некая мысль или идея (здесь аналогия с заложенной в теорию моделью) способна свободно управлять потоком свободных образов, - так значимая математическая модель выражает и отражает разные физические явления. По представленным результатам – формулам, графикам или программам мы способны увидеть и понять общие свойства исходной модели.

Ö

Себе самому противореча, перелетая с одного способа мышления и чувствования на другой – раздвоение сознания, которое мне хотелось сделать удвоением, но не получалось тогда. Так я двигался наощупь. Но было уже поздно что-то менять, я не смог сойти с выбранного пути.



ВНЕЗАПНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ

Вот что недавно рассказал мне отец. Волосы дыбом. Оказывается, я вовсе не тот, за кого себя выдаю. Только не смейтесь и не крутите пальцами у висков (у двух сразу), я сам обалдел. Но мой папа - честных правил, в здравом уме и прекрасно себя чувствует. Насколько это вообще возможно сейчас...

Так вот... Сообщил он, что его настоящее имя вовсе не Виталий, его настоящее имя Виль (я не раз слышал, его так называла моя бабушка), и это имя — производное от Уильям. Так его назвал отец при рождении. И всю жизнь звал его Вилли.

Да, родился мой папа действительно под Одессой. Но. Его дальний

¹ Этой своей «Генеалогией» автор вконец запутал редакцию. Кто же он все-таки: Егор Мельников (см. «Комментарии» №№ 34-35), как, кстати, назван герой, его звонко прозвучавшего в начале нулевых романа «Кот»; Серлас Берг («Комментарии» №37) или, может быть, действительно... Сергей Буртяк? «Генеалогию» дополняем поэмкой, которая в тему номера. (Ред).

предок по отцовской линии якобы попал в Украину из ирландского графства Голуэй провинции Коннахт в XVI веке через Францию и Польшу, спасаясь от политического преследования во время колонизации Англией Ирландии.

Фамилия Буртяк постепенно сформировалась из галльской фамилии de Burca или de Burgo, затем стала так называемым House de Burgh. Это род нормандских дворян, которые жили на севере нынешней Франции, а в XI веке переселились на Британские острова, где воевали с англами и саксами (вспомним «Айвенго»), а затем осели в Ирландии. Спустя почти 5 веков (начиная с XVI века) наша уже фамилия звучала как Bourghtéac (отдельная ветвь рода, где смешались галлы и ирландцы), а впоследствии была изменена в созвучии с польским языком.

Оказавшись в Украине, Буртяки (в транскрипции кириллицы фамилия приняла такой вид), естественно, стали плодиться и размножаться (мы всегда так делаем). Одни оказались в Виннице и Тернополе, другие в окрестностях Одессы.

Мой прапрадед Андрей, которого тоже, как выясняется, звали не совсем так, его звали Рэймонд (Рэй), служил управляющим помещичьего имения в Херсонской губернии. Именно этот прапрадедушка и оставил письмо на французском (как говорил профессор Выбегалло) диалекте, где описана эта история. Мой отец письмо это читал. Он владеет и французским, и английским, и еще испанским до кучи. Я не читал этого письма и даже не видел. Папа его усиленно ищет, но пока не нашел.

И напоследок. Отец сообщил также, что назвал меня вовсе не Сергеем, как написали в свидетельстве о рождении. Он назвал меня Serlas. В честь одного из предков (Серласа де Бурга), который также упоминается в том письме. Серлас - ирландское имя. Я посмотрел, что оно означает. Оказывается, просто - «человек». А моего младшего родного брата звали Артур. Тут папа даже не шифровался.

Вот как-то так. Мой отец моряк, капитан дальнего плавания, не сочинитель историй. Когда я его спросил, почему он всё это скрывал, он сказал, что начал скрывать не он, просто подхватил. Был папа в советские годы коммунистом, иностранное происхождение могло навредить карьере... А теперь вот выдал.

Раньше я не особенно задумывался на эти темы. Ну да, что-то знал о

дедах и прадедах. Но дальше — нет. Иногда папа, слегка выпив, говорил, что мы — смесь кельтов и данов, но я никогда не воспринимал это всерьёз.

Думаю, настоящего автора (и героя) «Книги живых» Серласа Берга эта история позабавит...

ФЛАНЁР **верлибр-поэмка**

I. СПИСОК ПОМИНОВЕНИЙ

Список растёт.

Тех, кому говоришь мысленно:
ничего, вы ещё услышите обо мне...

Список растёт.

Тех, чьи черты стираются временем и пространством,
тех, кто больше не смотрит на тебя всерьёз
или вовсе не смотрит, никак,
или смотрит насквозь, или мимо.

Особенно девушки.

Почти перестали.

Непривычно, нелепо,
иногда смешно, иногда лихорадкой по коже,
зависит от наличия солнца, дождя —
и особенно ветра —
на привычных улицах,
заполненных незнакомцами.

А бывает, наоборот,
усиленно смотрят,
с большим интересом,
особым, игривым...

От кого это зависит?

От них?

От тебя?

И они пополняют список.
И те, и другие.
Изо дня в день, из года в год.
Из тени в тень...
А это откуда?...

Фланёр.

Ты выходишь на многоногую,
как сказал один гений, улицу.
И тебе кажется глупым,
что люди перемещаются так.
Вот так, переставляя ноги,
помахивая руками вдоль тел.
Абсурдно и неестественно.
И особенно странно,
что ты точно так же,
если взглянуть здраво,
переставляешь ноги
и машешь руками.
Зачем?
Не проще ли?..
Нет, выходит, не проще.

Проехала девочка на уницикле,
у неё синее пальто-клёш,
а под ним красное платье-клёш,
выглядывает,
а на голове шапочка-колпачок,
и её уплывающий силуэт похож
на рождественскую ёлочку
или на статуэтку пастушки,
с ногами, удлинёнными ножкой
моноколеса-гироскутера.
Она правильно перемещается
в пространстве,
вот так и нужно,

и руками не машет,
держит их изящно и ровно,
вдоль тела.

Вот парень подошёл к девушке
рядом с метро.
Он только приехал.
Она ждала.
Он подошёл, переставляя ноги.
А руки — вдоль тела,
не двигаются.
Поздоровались,
украдкой разглядывая
друг друга, оценивая.
Потом он сказал: ну пойдём?..
И они пошли рядом,
держа пробел незнакомости,
и растворились в силуэтах прохожих.
Персонажи из тиндера...

Девчонки с зелёными волосами.
Одна ждала, сидя на лавочке
напротив выхода из метро,
ни на кого не обращая внимания.
Мужская одежда оттенков чёрного,
зелёный ёжик волос,
сосредоточенный взгляд
то на стеклянные двери,
то в чёрный айфон...
Вторая вышла.
Мужская одежда оттенков чёрного,
зелёный ёжик волос,
мужская походка.
Миниатюрные изящные девочки.
Патиной тронутые блондинки.
Объятья, поцелуй в губы.

Та что пришла,
позволяет.
Та что ждала —
дождалась.

Ты фланёр.
Наблюдаешь,
фиксируешь,
жалеешь,
читаешь по лицам,
читаешь по листьям,
читаешь по облакам
и птицам на проводах...

А ещё уменьшается список.
Другой.
Тех, за чьё здравие
бормочешь мысленно утром и ночью,
перед тем как уйти на экскурсию в ад.
И растёт ещё один список.
Тех, за чей упокой...
Мёртвые души.
Не всегда тех, которые умерли...
Впрочем, это опять первый список.
Закольцевалось...

Многие из этого списка живы,
и переживут тебя
и даже попереживают,
пусть просто внешне,
однажды по твоему поводу.
По поводу того, что и ты вдруг окажешься,
кроме всех прочих списков,
которые к тому времени уже утратят значение,
ещё и в чьём-то списке поминовений.

II. ЗОНТ С ЭФЕСОМ

...и сунув складной зонт
с прямой ручкой-набалдашником
цвета слоновой кости
в левый внешний
накладной карман куртки,
потому что дождик уже еле крапывает,
и застегнув пуговицу на клапане кармана так,
что ручка торчит вверх и вперёд,
ощущаешь внезапный подъём,
как будто у тебя не коротенький зонт
выглядывает наверху из кармана,
а висит у бедра длинная шпага на перевязи,
и ручка зонтика ощущается как эфес,
который очень удобно взять правой рукой,
вынуть шпагу из ножен, вступить в поединок
и заколоть противника, изящно, легко и привычно,
не получив ни одного укола в ответ,
не пыжась, не потея, не матерясь,
не чувствуя раздражения и тем более ненависти,
а просто потому что так можно и нужно...

...и ты идёшь по городу уже не в ботинках-челси,
а в лёгких и прочных ботфортах со шпорами,
не в стёганой английской куртке,
а в простом суровом камзоле,
и на голове у тебя
не твидовая ирландская кепка,
а фетровая широкополая шляпа,
и прохладный ветер ерошит
твои длинные волосы...

...и почему-то смотрят прохожие,
которые совсем недавно тебя даже не замечали,

а тут вдруг — внимательно, с интересом,
как будто даже с почтением и опаской,
не все, некоторые наоборот — с восхищением,
в основном это девушки, —
лучисто, лукаво-кокетливо,
смущённо пряча глаза
с игрой их пламенно-чудесной...

...и твоя походка меняется,
теперь это походка человека,
который много ездит верхом,
который много времени
проводит на палубе корабля,
это сильная походка,
другая,
без суеты,
без невнятицы,
торопливости,
рыхлости...

...ты не можешь знать точно,
изменился ли твой взгляд,
но предполагаешь, что изменился,
судя по тому, что тебя больше не бесит
почти ничего из того, что ты видишь,
ты чувствуешь непривычное,
чего уже давно не чувствовал —
силу и независимость,
такая вот ментальная эрекция
по мнимой, но истинной жизни...

...и вдруг тебя осеняет: конечно!
ты совсем ни при чём,
ты никогда не ходил в своей кэжл-жизни
со шпагой, в ботфортах, в камзоле и шляпе,
ты даже ролей таких сыграть не успел,

ни в кино, ни в театре,
разве только в мечтах,
но в них не было такой подробности
физических ощущений...

...и этот эфес на левом бедре,
который делает тебя настолько сильным,
что как будто совсем другим, —
он просто артефакт,
предметное воплощение триггера,
который разбудил кого-то в тебе,
кого-то из твоих дальних предков,
кого-то, кто ходил вот так
по парижским улицам,
лондонским, питерским...
арканарским?..

...генетическая память...
...культурная память...
они сильнее
всей нашей
реальной ничтожности,
двойственности,
а ещё — они точнее
тех воспоминаний,
которыми мы
так скверно
живём...

...начинается дождь,
ты машинально берёшься за эфес
и достаёшь... складной зонт
с пластмассовым набалдашником,
раскрываешь его над головой,
которую слегка втягиваешь
в вельветовый воротник куртки,

противник повержен...
ты зябко ёжишься
и идёшь по слякотной улице,
опять становясь невидимкой...

...и уже совсем напоследок,
несколько тягучих секунд
ты чувствуешь взгляд в спину —
прощальный сочувственный взгляд
остающегося в своём вечном сне,
полупрозрачного в струях дождя,
твоего роскошного
нормандского
предка...



ИЗ КОЛЫБЕЛИ, РАСКАЧИВАЮЩЕЙСЯ БЕСКОНЕЧНО

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ К.С. ФАРАЯ

Погружаясь в чтение этого стихотворения, не перестаешь спрашивать себя: что случилось со второй птицей, с возлюбленной? Помню какую-то малоизвестную иллюстрацию в сборнике Уитмена, где мальчик (в дальнейшем юноша, мужчина) изображен с рогаткой в руке. Уитмен будто признается в совершенном преступлении, ведь, похоже, он и убил эту птицу случайно или преднамеренно. И вот он говорит от имени того, кто потерял все, для кого только смерть – избавление. Такого потока галлюцинаций у Уитмена не встретишь в других стихах, где он всегда более четкий, даже порой жесткий, самоуверенный. Здесь – какая-то загадка, исповедь.

Почему переложение? Я перевел стихотворение в 19 лет, затем на протяжении жизни часто возвращался и перерабатывал; это – вольный перевод. Цепочки образов и ассоциаций, казалось, необходимо было настолько пропустить через себя в виде музыкальных фраз и фрагментов,

что значение некоторых слов виделось даже не соответствующим задаче. Этот перевод случился в разгаре очень личных подростковых переживаний, и, кажется, несет на себе их следы Оригинал здесь, скорее всего, как барочные ноты, совершенно лишённые указаний на то, как играть, и вдобавок еще (как зачастую бывало) с пометками на полях «тут нужна импровизация» или «на усмотрение музыканта». Поэтому – переложение.

К.С. Фарай

Из колыбели, раскачивающейся бесконечно,
из горла птицы смеющейся, музыкальной нитью обкручивающей –
полночным сиянием,
по размытым пескам, через топи взволнованный ребенок бежит один,
босиком,
сосредоточенно углубляясь в переплетения снов и отблесков, уходя от
теней словно живых,
сломанных теней, играющих в лунном безмолвии, удаляясь полусонно от
малиновых кустарников,
удаляясь от воспоминаний о птице той, что пела для меня,
от твоих грустных воспоминаний, брат, от подъемов и падений минувших,
от желтой ледяной луны, поздно взошедшей – уже в слезах,
от излета первых желаний среди дождя, от тысячи ответов моему сердцу,
от сонма слов, разбуженных в нем – слов несравненных...
Да! Вот они снова со мной, становятся мной.
И я, рожденный здесь, где все так быстротечно, хоть уже мужчина, но в этих
слезах – ребенок,
падаю на песок, встречаю волны, восклицаю в любви и боли о будущем и
прошлом,
всегда один, обгоняю воспоминания.

Однажды Поманок;
сладкий запах сирени преобладал среди трав.

В кустарнике на берегу играли два крылатых гостя из Алабамы, – всегда вместе.

В их гнезде было четыре салатных яичка хрупких с коричневыми пятнами, и птица-отец – всегда рядом, всегда близко, и она с большими светлыми глазами в мягкое гнездо забиралась. И каждый день я, не подходя слишком близко, и не мешая им, слушал, наблюдал, переводил.

Свети! Свети! Свети! Разливай тепло, мое солнце!
Пока мы греемся, мы – вдвоем, вместе, – с тобой вместе.
Ветер летит на юг, на север, день приходит белым и ночь черной пленницей.
Горы, озера, реки: везде наш дом – с нами всегда вместе».

Но, вдруг, подстреленный один из пары – да, конечно, это она однажды утром не прилетела, ни на следующий день, никогда.

Остаток лета кружась над морем, в лунные слезы взлетая, в лунные блики, или днем переносясь от дерева к дереву, погибая в травах, мой грустный гость из Алабамы так пел один:

«Ласкай! Ласкай! Ласкай!
Как волна нежно сзади волну ласкает,
и следующая набегает на нее и обволакивает объятием своим – близко-близко;
но любимая не прижимает к сердцу меня,
не ласкает больше.

Низко спустилась луна, она поздно взошла,
как будто нося дитя, отяжелела от любви, от любви.
Когда берег встречает волну
и высушивает ее на своей горячей спине –
это любви я так жажду...
Но что несешь, ветер?
Там вдалеке точка – это подружка моя?

Громко, громко зову ее
и голос мой проносится через море.
Ты, конечно, знаешь, что зову я тебя, моя любовь,
моя бесконечная любовь!

Луна все ниже и ниже спускается;
что там за пятно на лице ее желтом?
Неужто это она?
Не скрывай, луна,
мою любимую от меня!

Земля, отдай мне мою любимую!
Куда бы я ни смотрел, всюду вижу ее глаза.
И звезды, звезды,
может, та, кого так желаю, упадет с одной из вас,
вниз упадет любимая
и будет рядом.

Но горло дрожит, все чище становится просьба.
Рощи, озера, поля ждут, что увижу подружку мою.

Проснись, песнь.
Одиноко здесь с песней ночной,
с песней страдания и любви,
с песней смерти под блестящей луной:
она почти утопает в море,
утопает в песне безысходной любви...

Но легче, прошу, позволь прикоснуться.
Море, остановись на миг,
кажется, слышал я голос ее в твоём рокоте, шепот почти.
Я должен ждать, ждать неподвижно
и лишь изредка поднимать голову вверх – выше, выше,
чтобы она узнала меня.

Выше, любовь моя!
Я здесь, здесь.
Эта выдержанная так долго нота –
это мой зов, плач души моей о тебе.

Покинутая, гибнешь вдали от любимого.
Но это не я зову тебя,
это ветер свистит,
это дождь летит в глаза,
это призраки листьев, гниющих на берегу, ждут тебя и тянут, тянут...
Это тьма,
о как я болен и не вижу, что напрасен мой стон.

Луна роняет бледные блики в море
и оставляет отражение в нем подобное дрожи моего горла;
все бессмысленно
и пусто, пусто.

Прошлое – воспоминание о счастье.
Когда моя спутница рядом была...
Любила! Любила! Любила! Любила,
любила, но теперь ее нет со мной,
ее нет».

Окрестности тонут во тьме,
все идет неизменно – что есть, то и было:
звезды, ветер, эхо далекого ответа
то гаснет, то вновь взрывается – голос птицы,
неумолкающий стон, вьевшийся в серый берег
тонет как желтое подобие луны, падает вниз,
лицом моря почти касаясь, мальчик в экстазе,
обнаженный как волны с болью выносит любовь из безумного сердца:
свободную, дикую – смысла, резонирующий в ушах – в душе,
на щеках странные слезы в их блеске прощальном.
Это тень матери-моря как будто отвечает, но, скорее, спрашивает
или напоминает о таинственном своему певцу.

Демон или птица (подумала душа мальчика),
далекому супругу ты поешь или мне?
Я был ребенком и спал,
но теперь услышал и понял, кто я – я пробужден.
И ныне тысячи новых певцов,
тысячи песен чище, стремительней, печальней твоей,
тысячи стонов ожили во мне, чтобы не исчезать больше.

Одинокий голос – мое отражение,
внимая, никогда не перестану тебя прерывать,
никогда не отступаю, никогда не подражая;
никогда нежный стон невоплощенной любви не оставит меня,
никогда не буду спокойным ребенком в ночном безмолвии, – там на берегу
гоним сладкого ада явился из волн, и я узнал его.
Ответь, что со мной?
Если многое есть у меня, даруй больше,
еще в тысячу крат больше.
Неужто это слово? (Я покорю слово).
Последнее, возвышенное, уносящееся стрелою.
Что это?.. Внимаю...
Волны, к вам ухожу!
Берега, отчего еле слышно,
вы ль это шепчете откровенно, чисто,
только прежде я не понимал,
шепчете одно слово: «смерть», «смерть», «смерть», «смерть».
И это не голос птицы и не мой, но тот, что создан был для меня,
клокочет обезумевшей трелью: «смерть», «смерть», «смерть».
Отчего еле слышно?..

О, мой демон, брат мой,
ты пел мне, пел мелодично, искренне, безнадежно
и знаю теперь, что ответить тебе.
Я услышал слово истины, – его не произнести дважды –
в бормотании моря на берегу;
смысл волн и твоей светлой грусти,

мой одинокий брат; отчего еле слышно,
как старуха в алькове раскачивающая колыбель,
море смеялось.



ВИКТОР ЗАРЕЦКИЙ¹

АМЕРИКА В ДИАЛОГАХ

...И тогда я решил их записать...

22.08.94

Прошел год с того времени, как мне посчастливилось побывать в США, проехать на автобусе от Тихого океана до Атлантического, миновав 14 штатов. Мне удалось встретиться с разными людьми - с американскими друзьями, бывшими коллегами по работе, одноклассниками. Я приобрел новых друзей, поговорил с самыми разными жителями США - профессорами Университетов, продавцами в магазинах, полицейскими, «вышибалами» в казино, официантками в баре, водителями и другими работниками кампании «Грейхаунд», на автобусах которой я путешествовал, безработными,

¹ Виктор Кириллович Зарецкий – психотерапевт, профессор МГППУ, заведующий лабораторией психолого-педагогических проблем образования детей и молодежи с особенностями развития. Редакция считает, что эти давние записи и сейчас представляют интерес, как первые впечатления человека еще советского воспитания от Америки, страны наших детских мифов и легенд, вызывавшую одновременно и восхищение, и опаску. (Ред).

неграмотными, взрослыми и детьми, черными, белыми, эмигрантами разных «волн» из разных стран, гомосексуалистами, лесбиянками, больными СПИДом и др. Самая большая коллекция визитных карточек - из США. Некоторые контакты перешли в деловые, некоторые остались чисто дружескими, а другие оставили просто теплые воспоминания, о многих же до сих пор вспоминаю с недоумением: чего-то я в этой стране не понимаю...

О себе. Я - психолог, по работе приходилось заниматься разными вопросами - от психологических аспектов работы с трудными детьми и инвалидами до эргономического проектирования гибких производственных систем. Работал дворником, грузчиком, обойщиком дверей, консультантом вице-президента одного из крупнейших банков, и консультантом инновационного проекта одного из классов в школе в маленьком городке Пермской области, инженером Центра управления космическими полетами, младшим научным сотрудником НИИ, заведующим научным отделом, заместителем руководителя общесоюзной программы, заведующим сектором, преподавателем, ведущим научным сотрудником.

Побывал почти во всех бывших социалистических странах Восточной Европы в краткосрочных служебных командировках, а в перестроечное время - в «Штатах», Швейцарии, Швеции, Шотландии (не знаю, почему - все на «ш»). Как-то так получилось, что очень часто мне приходилось ездить в одиночку.

По роду нынешних занятий я каждый месяц знакоюсь и вступаю в довольно тесный человеческий контакт иногда более чем с сотней новых людей. Как говорит один мой коллега «это интересный опыт».

Америка пока что держит первое место в ряду разнообразных впечатлений. Это был действительно интересный опыт - путешествовать одному в автобусе по Америке в течение трех недель. Рассказывая о своих впечатлениях друзьям как из России, так и из США, я понял, что мои впечатления интересны не только мне, но и всем, кому я рассказывал, а профессор из Южной Каролины Сара Сандерс убедительно посоветовала мне записать мои рассказы и опубликовать их.

И тогда я решил их записать...

Сразу оговорюсь, что за год мне так и не удалось ни одному человеку связно и полно рассказать обо всех интересных событиях, на первый взгляд, совершенно рядовых и недостойных внимания. Но если постараться увидеть их глазами человека, который первый раз попадает в США, прожив 40

лет в Москве, в России, (38 из которых пришлись на времена СССР), то незначительные, казалось бы, события приобретают совершенно особый смысл.

Не обладая необходимым писательским талантом, я не берусь за юмористическое эссе типа «Америка глазами Михаила Задорнова». Я избрал форму коротких диалогов, в которых вступал с разными людьми по разным поводам. Эти диалоги я передаю в основном в хронологической последовательности.

Поскольку, наверняка, у многих уже возник вопрос «А что ты вообще там делаешь, зачем ездил-то?» - отвечаю. Я был приглашен американскими психологами для участия в Международном семинаре

«Работа с миром», где помимо двух человек из России были еще 250 психологов из 35 стран, большей частью, разумеется, из США. После семинара у меня было запланировано несколько встреч в разных городах США с психологами и специалистами по организационному развитию. Как выяснилось, наиболее дешевый и при этом достаточно комфортный способ путешествия по Америке - автобус компании "Greyhound" («борзая»). Особенно приятно, что на каждом автобусе помимо быстро бегущей борзой изображена эмблема с цветами Российского флага. По крайней мере мне это было приятно.

Мой маршрут: Москва - Нью-Йорк - Портленд - Ньюпорт - Уолдпорт - Сан-Франциско - Сакраменто - Невада Сити - (маленький городок, не помню, как называется) - Рено - Солт-Лейк-Сити - Чикаго - Кливленд - Баффало - Сиракузы - Нью-Йорк - Нью-Джерси - Нью-Йорк - Бостон - Анкор - Свамскопф - Бостон - Нью-Йорк - Москва.

Маршрут по штатам: Нью-Йорк - Орегон - Калифорния - Невада - Юта - Вайоминг - Небраска - Айова - Иллинойс - Индиана - Мичиган - Огайо - Пенсильвания - Нью-Йорк - Нью-Джерси - Массачусетс - Нью-Йорк (всего - 14).

Если у Вас есть другие вопросы, надеюсь, что Вы найдете на них ответы в последующих диалогах. Поехали!

ДИАЛОГ 1

Москва. Телефонный звонок из Лос-Анжелеса.

...?

- Андрей? Нет ты знаешь я, видимо, не приеду в Америку. Новый паспорт оформить невозможно, а старые пока еще не продлили.

- Сделай хотя бы американскую визу в старый паспорт - хоть что-нибудь будет!

- Зачем?... Ну ладно...

ДИАЛОГ 2

Москва. Посольство США. В холле крупными буквами объявление: «...Вы должны убедить нашего консула, что не останетесь без разрешения в США и вернетесь в Россию...».

Про себя думаю: «Еще чего! Буду я унижаться убеждать! Да лучше я вообще никуда не поеду!»

Консул:

- Что Вы можете мне предложить?

Молча даю приглашение на семинар.

- У Вас есть еще что-то для меня?

- Я думаю, этого достаточно (хотя у меня с собой есть документы по организации международного миротворческого движения «Если не мы, то - кто?», идея создания которого возникла на аналогичном семинаре в Москве, и я вез с собой для обсуждения обращение членов движения к общественности и проект программы).

Консул (вынужденно читая анкету):

- Женат?

- Да.

- Дети есть?

- Двое.

- Родители живы?

- Отец.

- Работает?

- Пенсионер. Ему 84 года.

- Где работаете?
- В НИИ высшего образования, занимаюсь психологией творчества.
- Цель поездки?
- Участие в семинаре «Работа с миром». Был такой же в Москве и на нем было создано международное движение (подаю бумаги).
- О'кей.

Вечером того же дня я получил многоразовую визу (хотя запрос был на одноразовую), дающую право выезда в США в течение года (запрос был на два месяца). Я проинтерпретировал причины неожиданного сюрприза, домыслив за консула: «Этот не останется». В собственном сознании у меня было ощущение, что достоинства я не уронил.

ДИАЛОГ 3

Москва. Телефонный звонок из Лос-Анжелеса.

- ... ?
- Визу-то я получил, даже многократную. Но теперь новая проблема. Выездную визу оформить невозможно.
- Делай, что хочешь. Ты же не сделаешь мне такую подлость, чтобы я был здесь один полтора месяца!
- ... (Думаю: «Чем ему плохо в Америке?»).

ДИАЛОГ 4

Москва. Телефонный звонок из Лос-Анжелеса.

- ... ?
- С визами все в порядке, но я не еду.
- ...?!
- Неожиданно подорожали билеты в Америку, и мне теперь не хватает тех денег, которые нам дали на билет из Нью-Йорка в Портленд. Так что, Андрюша, счастливого участия в семинаре.
- Подожди. Когда ты можешь поехать?
- Не раньше 6 июля.
- Бери билет на шестое!

ДИАЛОГ 5

Москва. Телефонный звонок из Невада-Сити.

- Хай, Виктор. Это Дебора. Билет из Нью-Йорка в Портленд на 6 июля ждет тебя в аэропорту Нью-Йорка. Рейс..., окно... время...

- ...?

- Тебе надо просто подойти к окошку и назвать свое имя.

- Как ты купила билет? Ты что была в Нью-Йорке?

- Нет. У нас это можно сделать по телефону.

- А деньги?

- Все заплачено. Пусть тебя это не беспокоит.

- Спасибо.

Анекдот слышали? - Я еду в Америку!

А самый последний анекдот слышали? - Я не еду в Америку!

ДИАЛОГ 6

Москва. Цветной бульвар. Квартира. Ночь - раннее утро.

Жена:

- Ну ты собрался, наконец, тебе уже пора выходить.

- Сейчас, проверю по списку... Нарды забыл.

- Зачем тебе нарды? С кем ты там будешь играть?..

Да оставь ты гитару. Будет там гитара!..

Ты что берешь ее в этом ужасном чехле? Он же дырявый! Вот! Дырка от утюга!..

Ты все-таки едешь с рюкзаком. Взял бы сумку попримочнее.

Ты опоздаешь! Выходи немедленно!

- Слушай, а если меня не пропустят на таможне или на паспортном контроле? Скажут, что что-нибудь не так?

- Убью, если вернешься! И не вздумай! Мы же ввек не расплатимся!

ДИАЛОГ 7

Москва. Шереметьево-2. Таможня. 40 минут до отлета самолета.

- А почему у Вас 550 \$?
- 480 на билет до Портленда, а там еще на автобусе. Мне иначе не хватит.
- Свыше 500 \$ нужно специальное разрешение.
- Где я его возьму, да и кто мне его даст?
- ... (Совещание в таможне).
- Ну что, простим ему 50 \$? - Простим. Нехай едет!

ДИАЛОГ 8

Москва. Шереметьево-2. Паспортный контроль. 35 минут до отлета самолета Москва - Шеннон - Нью-Йорк.

- У Вас поездка туристическая?
 - Деловая.
 - А виза туристическая.
 - ...?!
 - Где визу ставили?
 - В ОВИРе.
 - А почему паспорт МИДовский?
- Идите разберитесь. Мы с такими документами не выпускаем.
(Последний анекдот слышали? А самый последний?)

ДИАЛОГ 9

Москва. Шереметьево-2. Паспортный контроль. 34 минуты до отлета самолета Москва - Шеннон - Нью-Йорк.

- Почему у Вас такая виза?
 - Таковую поставили.
 - Где Вы ставили визу?
 - Извините, но Я визу НЕ ставил. Ее поставили Ваши службы, Вы и разбейрайтесь.
- (Уходит, забрав паспорт.

Я нервно хожу по помещению, пытаюсь сообразить, вернут ли мне деньги за билет, посадят ли в тюрьму за неверное оформление документов, как я верну деньги организаторам семинара, ведь билет «Арех» сдать нельзя - потеря 100%, потому он и «дешевый».

Возвращается).

- Куда Вы едете?

- В Портленд, на семинар. Кстати, семинар уже начался. Там 250 человек из 35 стран собрались обсуждать те бумаги по миротворческому движению, которые я везу. Они есть только у меня в одном экземпляре. Я не успел их передать. ЧТО они будут делать, если я не приеду, я не знаю!

(Берет бумаги, уходит... Возвращается).

- Кто Вас оформлял? Какая организация?

(Называю организацию. Уходит... Звонит по телефону. Куда он может звонить в 8 утра?).

...

(Невзначай вижу, как такой же, как и я, бедолага сует на паспортном контроле доллары, чтобы его пропустили. Я отворачиваюсь, но с удовлетворением отмечаю, что работник доллары не взял).

...

- Извините... Бывает... Поезжайте.

- Как Вас зовут? Я привезу Вам благодарственное письмо от 250 участников семинара!

- Не надо, не надо. Ладно... Поезжайте.

(Я прохожу паспортный контроль, широко улыбаясь и зачем-то подмигивая мрачноватому военному, внимательно сверяющему мою фотографию в паспорте - в костюме и в галстук с этой полу-идиотской не выпавшейся физиономией, торчащей из джинсовой куртки.

8 минут до отлета самолета...

Как только самолет оторвался от земли, я заснул. Перед этим заметил, что я зашел в самолет последним. Того, который совал доллары, видимо, не пропустили. Я спал вплоть до Шеннона. Спал в аэропорту Шеннона. Спал по пути из Шеннона в Нью-Йорк. Правда, меня будили, чтобы я поел. Диалогов в самолете не было...

Когда я проснулся в Америке было утро. Акклиматизации не потребовалось, я сразу вошел в нормальный режим).

ДИАЛОГ 10

Нью-Йорк. Аэропорт. «Русская девушка Наташа».

- Привет!

- Привет!

(Целуемся).

- Ну как? Я изменилась?

(Наташа - одна из двух самых красивых женщин Института технической эстетики, и обе работали в отделе, которым я заведовал. Обе - в Нью-Йорке, скорее всего навсегда. Наташа - кандидат психологических наук - всегда появлялась на работе в новом неожиданном облике, шикарно одетая (сама шила) с прической из последнего журнала мод, то французского, то американского. Сейчас - в застиранной футболке, бледных незамысловатых шортах, с длинными распущенными волосами, удерживаемыми гребешком).

- Да.

- Я теперь под русскую девушку Наташу работаю.

- Все - в магазине?

- Да. Взяла отгул ради тебя.

- А выходные есть?

- В понедельник. Но, если нужны деньги, то работаю без выходных. В 10 утром выхожу, в 11 вечером возвращаюсь.

- А Коля?

(Коля - муж, художник-авангардист, европейская знаменитость эпохи перестройки).

- С Вадиком сидит (сын трех лет).

- Как Вадик?

- По-прежнему не говорит. Но ты ж знаешь - мальчики всегда поздно начинают говорить.

(... Поздно, но ведь не настолько! Что-то тут не так...)

Хочешь пива?

- Угу.

...

- Пойдем я тебя провожу. Тут не разберешься. Аэропорт Нью-Йорка - это целый город.

...

- Ну пока?

- Пока!
- Когда приедешь?
- Я позвоню.
- Звони... Где ты взял такой чехол? Будешь уезжать, оставь Коле. Он такие вещи собирает. У него целая коллекция - ботинки старые и прочая ерунда, которую советские гости оставляют.
- СССР уже нет.
- Да, я знаю. У Вас там вообще чёрти-что.
(«У Вас! У тебя же там две дочери и мать!»)
- Аня-то пишет?
(Аня - старшая дочь. Особенно переживала разлуку с матерью. Даже заболела. Психосоматика. Я попробовал с ней поработать немного. Два сеанса игротерапии).
- Ты знаешь, она год не писала вообще ничего, а по телефону отказывалась разговаривать. А потом написала письмо: «Я год не писала, но теперь скажу тебе все!» Огромное!
- Я помню. Я даже пытался что-то сделать.
- Ну вот как-раз после этого она и написала! ЧТО она написала!
- Как ее здоровье сейчас?
- Ты знаешь, тьфу-тьфу, нормально.
- А Саша? (Саша - младшая).
- Ну Саша-то в порядке.
- Пока?
- Пока?
- Я позвоню.
(Я подхожу к окошку названного номера. Называю свою фамилию. Получаю заказанный на меня Деборой из Невада-сити билет.
Иду на самолет. Это - Америка!).

ДИАЛОГ 11

Самолет Нью-Йорк - Портленд. Без слов.
В самолете Нью-Йорк - Портленд я оказываюсь с молодым преуспевающим американцем. Их называют «Yарру». Сажусь. По телевизору показывают, как пользоваться спасательным жилетом и покидать самолет в

случае аварии. Люди, съезжающие на экране по трапу, пардон, на заднице, широко улыбаются - как будто дети с горки катаются. Я внимательно изучаю инструкцию о действиях в аварийной ситуации. Аэрофлоту я доверяю, а вот местным американским авиалиниям - как-то пока не очень. Уж больно веселый экипаж. Чего веселиться-то? Сядем в Портленде - тогда и повеселимся. Стюардесса что-то быстро говорит. Я не слушаю, да если бы и слушал вряд ли бы понял. Мой английский не так хорош, чтобы схватывать беглую американскую речь.

Американец одно за другим достает из кармана кресла впереди журналы, газеты, просматривает их в течение нескольких секунд, бросает на пол. Потом вызывает стюардессу, просит наушники, (чтобы смотреть телевизор со звуком). Потом холодает, и он просит плед. Потом согревается и требует пиво. Дает «на чай» стюардессе нечто вполне «бумажное». Я тоже заказываю пиво. «На чай» не даю. Зябко. Я - в рубашке (куртка осталась в рюкзаке, сданном в багаж). Но плед не прошу. Не простужусь... Лететь через всю Америку. Засыпаю... Открываю глаза. Моего американца давно нет. Самолет почти пуст. Мы уже на земле. Хватаю гитару и иду получать багаж.

... Легко в американском аэропорту - везде надписи: «Иди туда», «Иди сюда», «Не иди», «Стой», «держись правой стороны», «багаж» и стрелка куда именно. Здравствуй, Портленд!

...

Диалог 12

Аэропорт. Багажное отделение.

(Все получили багаж и ушли. Кроме меня. Моего багажа нет. Я долго и терпеливо жду, потом встаю в очередь к работнице багажного отделения).

- Что у вас?

- Нет моего багажа.

- Подождите (разбирается с другими, видимо, более простыми и приятными делами).

Билет?

(Даю билет).

Она (в ужасе):

- Это - не Портленд!

(Я - в ужасе - смотрю вокруг и вижу неоновую надпись «Аляска»! Аляска - это почти Чукотка, мать божья, как я на семинар попаду! Где деньги взять?!).

- Это Сиэтл!

(Где Сиэтл? На Аляске или нет? Может не на Аляске?).

Минуту!

(Звонит по телефону. Хватает мой билет и убегает).

(Я стою в недоумении, жду. Теперь у меня нет не только багажа, но и билета тоже. Хорошо, что она паспорт вернула)...

(Она возвращается).

- Скорей, скорей! До самолета 4 минуты!

(Мы бежим через весь аэропорт. Самолет на месте. Экипаж все еще улыбается).

- Я сделал попытку получить политическое убежище в Сиэтле, но они не захотели меня оставить (говорю я с достоинством).

(Экипаж улыбается).

(Я сажусь в полутемный самолет и больше не сплю. Хватит спать. А то проснешься где-нибудь на Аляске!).

ДИАЛОГ 13

Автобус останавливается в Ньюпорте. Отправление через 20 мин. Есть возможность познакомиться с еще одним «кусочком» Америки. Наверяд ли когда-нибудь еще сюда попаду. Иду в ближайший магазин, который оказывается ювелирным. Осматривая камни, натываюсь на чароит. У меня с собой кольца с чароитом, которые мне вручила знакомая коммерсантка на предмет завязывания возможных коммерческих связей, если получится.

Подхожу к продавщице.

- Здравствуйте.

- Здравствуйте.

- Откуда у Вас этот камень - чароит. Я знаю только одно место на Земле, где есть этот камень.

- Эти камни как раз из этого места.

- Из России?

- Да, а Вы откуда?
- Из России. А - Вы?
- Из Югославии - теперь это как-то по-другому называется.
- Да, там - война.
- Угу. А Вы давно в Америке?
- Первый день.
- О!.. (На некоторое время задумывается о том, что следует сказать человеку, который только что приехал в США)... Здесь не так много свободы, как о ней говорят!
- А я уже это почувствовал!
- Да? Интересно! Где же это?
- (Когда в точности такой же разговор повторился позднее в Нью-Йорке, реакция собеседника была иной: «Ты что уже имел дело с полицией?!»).
- В аэропорту.
- Каким это образом?
- Там везде надписи: «Стой здесь!», «Иди туда!», «Не иди туда!» и т.д. Не было ни одного места, где бы не предписывалось, что нужно здесь делать.
- Хм... А вот это наш директор, он тоже из Югославии.
- (Мы обмениваемся с директором визитными карточками. Я показываю кольца из чаронга, он рассказывает о своем пристрастии к камням и драгоценностям. Обсуждаем туманные перспективы коммерческой деятельности, а я обдумываю то, что сказала продавщица:
- «Так значит, здесь не так много свободы, как о ней говорят...»)

ДИАЛОГ 14

Три часа ночи. Нью-Йорк. Я только что приехал автобусом из Сиракуз. Мне нужно попасть в Нью-Джерси на метро к той самой бывшей сотруднице Наташе, ныне «работающей под русскую девушку». Я счастлив, что, наконец, завершилось утомительное путешествие из Salt-Lake City, хотя и несколько встревожен: слышан об опасностях, которые таит в себе ночной Нью-Йорк и тем более Нью-Йоркское метро.

Первым делом звоню Наташе:

- А, это ты!

- Я только что приехал и у меня два вопроса: где сейчас можно купить водки

и как к Вам добраться?

- Водки ты сейчас нигде не купишь.

- Как это?

- В Нью-Йорке водку прекращают продавать в 6 часов вечера в пятницу и начинают только в 8 утра в понедельник.

- Вот это да. А в Москве в любое время дня и ночи... (Я почему-то вспоминаю времена антиалкогольной кампании в СССР). Ну ладно, значит водка отменяется. А что можно купить?

- Ничего. Есть только один магазин, здесь, в Нью-Джерси, куда все ездят из Нью-Йорка, но на метро до него не доберешься.

- А такси?

- Ты что?! Такси - очень дорого, только за проезд по туннелю 4 доллара, и не вздумай.

- Ну что делать. А как к Вам доехать?

- До ближайшей станции ты дойдешь легко, а вот в метро повнимательней - там легко заблудиться. Наша ветка - зеленая. И будь осторожен: ночное метро в Нью-Йорке - не самое приятное место, самое криминальное.

- Спасибо.

ДИАЛОГ 15

Я иду по ночному Нью-Йорку с гитарой в руке и с сумкой на плече в направлении метро, которое определил по карте. Выхожу на знаменитый Бродвей и на светофоре достаю фотоаппарат, чтобы сфотографировать красочные рекламные огни. В тот момент, когда я нажимаю спуск, в объективе, на уровне примерно 1м 90см, появляется огромное черное недовольное лицо.

- Ты зачем меня сфотографировал? - грозно спрашивает лицо.

- Я - не тебя, я - его.

(Лицо оглядывается, но там - пусто, мы - одни).

- Там никого нет.

- Я Бродвей фотографировал.

- А чего его фотографировать?

- А я его никогда не видел.

- Как это?

- Я - первый раз в Нью-Йорке, только что приехал.

- И никогда раньше не был?
- Нет.
- А ты откуда?
- Из России.
- Не знаю, где это.
- Из Москвы.
- Никогда не слышал.
- Я - русский. Это - на другой стороне Земли.
- Хм... Ты никогда не был в Нью-Йорке... А я нигде не был, кроме Нью-Йорка.
- А сколько тебе лет?
- 27. У меня завтра день рождения.
- Поздравляю, желаю счастья и где-нибудь обязательно побывать, кроме Нью-Йорка.
- Слушай, а хочешь я покажу тебе Нью-Йорк?
- Конечно, хочу. Только не сейчас. Я три дня сюда ехал и хочу побыстрее попасть к друзьям.
- Тебе куда?
- В Нью-Джерси.
- Пойдем я тебя провожу.
- Спасибо, а ты где живешь?
- У меня нет дома, я - безработный.
- А что ты делаешь?
- (В ответ он пожимает плечами).
- А как тебя зовут?
- Эдуард?
- Витя.
- (Мы пожимаем друг другу руки).
- Значит завтра я веду тебя на экскурсию по Нью-Йорку. Ты увидишь такой Нью-Йорк, которого никогда не видел.
- А как мы свяжемся? Куда мне позвонить? (Телефон Наташи я все-таки дать не рискнул, хотя Эдуард мне нравится. Приятно идти по ночному Нью-Йорку в сопровождении атлетически сложенного, ростом метр девяносто, african american).
- Я дам тебе телефон своего друга. Меня не будет, но ты сможешь оставить message, скажешь - для Эдуарда.

- Хорошо...
- А вот и метро. Смотри, как можно проходить без билета. Зачем платить доллар. Это (показывает на телекамеры) - ерунда!
- Я лучше заплачу.
- О'кей. Вот телефон. Звони. Завтра я покажу тебе Нью-Йорк. Скажи "message для Эдуарда". Пока.
- Пока.

ДИАЛОГ 16

На следующий день я звоню по телефону, который дал Эдуард.

- Здравствуйте, меня зовут Виктор, мне...
 - Какой Виктор? (голос низкий и грубый).
 - Знакомый Эдуарда, мне Ваш телефон дал Эдуард.
 - Какой Эдуард?
 - Эдуард, с которым я вчера познакомился, он сказал, что по этому телефону можно оставить «message».
 - Какой message?
 - Ну message, относительно того, когда мы пойдем с ним на экскурсию.
 - Какую экскурсию?
 - Ну, в общем, передайте Эдуарду, что звонил Виктор, и что я не смогу пойти с ним на экскурсию по Нью-Йорку. До свидания.
 - До свидания.
- (Это «до свидания» удивляет меня больше, чем весь предыдущий разговор, настолько неожиданно приветливо оно звучит).

ДИАЛОГ 17 В МАГАЗИНЕ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ

Я беру упаковку из 6 банок пива. Дорога дальняя, туалет в автобусе есть, а оптовые закупки в Америке значительно дешевле. Подхожу к продавщице с пивом подмышкой и протягиваю 10 долларов.

- Нельзя.
- Что нельзя?

- Пиво нельзя!
- Как это нельзя?
- Нельзя.
- Почему нельзя?
- Нельзя пить пиво в автобусе.
- Я - не за рулем, вот - водитель (он - рядом, пьет кофе).
- Все равно нельзя.
- Что нельзя?
- Пассажирам «Грейхаунда» нельзя пить пиво в автобусе.
- Нельзя? (Смотрю на шофера, он молча кивает).
- Нельзя, спросите у водителя!
- Ну хорошо, я не буду (и протягиваю ей 10 долларов).
- Нельзя!
- Что нельзя, я же сказал, что не буду пить пива в автобусе, я его здесь на остановке выпью.
- Нельзя.
- Что нельзя?
- Пассажир «Грейхаунда» не должен пить пиво.
- Вообще?
- На протяжении всего маршрута.
- Да я месяц собираюсь ездить, вот билет, я что целый месяц пива пить не должен.
- Да (она отвечает коротко и серьезно).
- Ну хорошо, я не буду пить пиво, ни в автобусе, ни вне автобуса, на протяжении всего маршрута (и протягиваю ей 10 долларов).
- Нельзя.
- ЧТО НЕЛЬЗЯ?! Я же сказал, что не буду пить пиво, я с собой его беру в подарок! Приеду в Нью-Йорк и выпью с друзьями.
- Нельзя.
- Что нельзя?
- Пассажир «Грейхаунда» не имеет права возить пиво в автобусе.
- Даже багажом? (У меня все еще была мысль, что пить пиво в автобусе и дышать алкогольными парами нельзя из соображений безопасности, например, водитель надышится и утробит пассажиров. Но узнав, что нельзя провозить упаковки пива даже в багажном отделении, я потерялся в догадках и обратился к шоферу).

- Нельзя?

- (Он молча кивает).

- Но почему?

- (Он также молча показывает на надпись в автобусе, где действительно написано, что пить и провозить алкогольные напитки нельзя).

- Но почему такие правила, зачем?

Он по-прежнему молчит, только глаза его делаются какие-то стеклянные. Похоже, что до моего вопроса он ни разу в жизни не задумывался, «почему нельзя?» Ну нельзя и нельзя. Чего тут думать-то. Впоследствии я не раз встречал такие же стеклянные глаза у разных людей, которым задавал вопрос «почему?» Первый ответ они давали мгновенно: такой закон, такие правила, нельзя. А вот вопрос, ПОЧЕМУ ТАКОЙ ЗАКОН И ТАКИЕ ПРАВИЛА, тут же превращал их глаза в стеклянные. Почему?

(Продолжение следует...)

...

(Прошло много лет. Продолжение 27.02.2002)

ДИАЛОГ 18 С ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ СЕМИНАРА И ПРОДАВЦАМИ

(В диалоге участвуют несколько американцев – мужчин и женщин)

- Виктор, скажи, что ты хочешь. В Америке есть все!

- Давайте в выходной сыграем в футбол, но нужен мяч.

- Мяч – нет проблем, сейчас поедем купим.

- Нужен кожаный мяч, иначе это не футбол.

- Купим кожаный, о чем разговор! Что еще тебе нужно?

- Мне нужна карта автобусных маршрутов США. Я собираюсь после семинара совершить путешествие по Америке на автобусе.

- Заедем в магазин «Контурные карты» и все купим. Еще?

- У меня гитара сломалась, лопнула струна. Мне нужен комплект струн для семиструнной гитары.

- Купим струны! Еще?

- Вообще-то я соскучился по черному хлебу. Может быть его можно

где-нибудь купить?

- Конечно можно, о чем ты говоришь! Все?

- Да вроде бы все...

- Поехали!

(Мы садимся в машину и едем... Объехав Уолдпорт и не найдя ничего из того, что мне нужно, едем в другой город – Ньюпорт. Он гораздо крупнее, примерно, как город Галич по сравнению с селом Палкино. Но и в Ньюпорте ничего нет).

- (продавец) Мяч? Кожаный?.. Хм... Вот мячи. Но это не кожа. Кожаных у нас НЕТ (такой ответ мы получили во всех спортивных магазинах и в конце концов купили мяч из дерматина)...

...

- Продавец магазина контурных карт: Карты автобусных маршрутов? Никогда о таких не слышал...

(Куда-то уходит, ищет, заглядывает в компьютер, куда-то звонит)

- продавец с гордостью: Карт автобусных маршрутов в США НЕТ! Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь пользовался таким картами.

- Как же ими воспользоваться, если их нет!

...

Продавец магазина музыкальных товаров отвечает почти как в анекдоте про широкомордую лягушку. Знаете этот анекдот? Если не знаете, то могу только посочувствовать, потому что его надо видеть, я имею в виду рассказчика: Струны для семиструнной гитары?! А разве такие есть?

- В России есть. У меня вот семиструнная гитара. Только струна лопнула.

- Шестиструнные – любые: вот американские, японские, какие хотите. Семиструнных НЕТ!

Продавец-эрудит из хлебного отдела: Черный хлеб? – Нет, здесь вы его не купите. Это нужно в Нью-Йорк, на Брайтон-бич. Там много русских, может быть, и черный хлеб есть.

- Но Нью-Йорк на берегу Атлантического океана, а мы на берегу Тихого! Неужели, чтобы купить черный хлеб, нужно проехать от одного океана до другого?

- Здесь черного хлеба НЕТ.

...

(Мы возвращаемся, усталые и недовольные. Американцы смущены: ничего, из того, что я попросил в Америке не оказалось, причем этого нет в принципе).

- Ну давай, попроси еще что-нибудь, В Америке есть все.

- У меня дома в Москве «Запорожец». У него 5000 деталей. Очень трудно с запчастями. Помогите мне купить любую, мне все нужно!

Разговор на эту тему прекращается и больше не возобновляется никогда. Только в Бостоне моя одноклассница, услышав этот рассказ, возмутилась: «Как это кожаного мяча нет! Этого не может быть! В Америке все есть. Оставь адрес я тебе куплю и вышлю кожаный мяч!» Адрес я оставил, но мяча так и не дождался. На сегодняшний день прошло 9 лет...

ДИАЛОГ 19

Прошло еще восемь лет, и мне захотелось возобновить написание «Диалогов». Очень интересные диалоги возникали в ходе проведения «Russianstuleworkshop». Если кто-то не знает, что это такое, может заглянуть в приложение. Сейчас многие про это знают, а тогда это было ново, да я и не особо его пропагандировал.

Вот один из диалогов, возникший на втором этапе.

Джим (мне): Ты меня уважаешь?

Я: А кто ты такой?

- Хм... Я – американец, мне 35 лет, у меня жена и двое сыновей, я родился в Южной Африке, потом наша семья переехала в Новую Зеландию, затем жили на Филиппинах, после чего уехали в Европу. Жили в Швейцарии, в Цюрихе я закончил университет, заинтересовался Юнгом, стал работать с Арни Минделом, а когда он уехал в США, то поехал с ним. Теперь живу в Америке, в штате Орегон. А ты кто такой?

- Хм... Мне 46 лет, я живу в Москве, в той самой квартире, в которой родился 46 лет назад...

(Мы внимательно смотрим друг на друга, пытаюсь осмыслить, что может означать только что сказанное нами).

Джим: Я удовлетворен. Я тебя уважаю.

Я: Я тоже удовлетворен, и я тебя уважаю.

Джим: Обоснуй!

Я: Я уважаю твой жизненный опыт, Ты жил во всех частях света. Я не могу себе этого представить, но я отношусь к этому с уважением. Ты удовлетворен?

Джим: Да.

Я: Так выпьем за то, что мы оба удовлетворены и мы друг друга уважаем...
А также за взаимопонимание.

(За 18 лет я написал всего 12 страниц... Не густо... А ведь осталось еще диалогов 400...)

* * *

ДИАЛОГ 20

Ну вот, я в нормальной советской мужской компании, во вполне советской бардачной квартире. В комнате беспорядок. На кухне на столе водка, селедка на газете, колбаса, черный хлеб. Мы в доме бывшего диссидента, насильственно высланного из СССР. Теперь он в каком-то фонде, который оказывает гуманитарную помощь странам, пытающимся перестроиться, точнее людям, которые пытаются их перестроить. Я, по его мнению, похож на одного их таких людей. Третий – Коля, тот самый художник-авангардист, который принципиально не учит английский и доллары называет рублями.

- Ну и как тебе Америка? – звучит вопрос после первой рюмки?

(Я задумываюсь, вспоминаю свой первый разговор в магазине с продавщицей из Югославии).

- Здесь не так много свободы, как о ней говорят.

- Ты уже имел дело с полицией?!!!

(Нет я не имел дело с полицией, но сразу вспомнил, что это может означать. Мы гуляли с Наташей по ночному Нью-Йорку, в пятницу толпы народу, но тебя никто не коснется, тебя обтекают, ощущение полной безопасности и незыблемости личных границ. Вдруг вой сирены, визг тормозов, влетают две полицейские машины, хватают первого попавшегося не... пардон афроамериканца, заламывают руки, швыряют лицом на капот.

Он даже ни пытается сопротивляться, молча лежит, прижавшись к капоту. Затем полицейские совещаются, что-то выясняют у стоящих вблизи людей, затем отпускают афроамериканца, берут под козырек и, садясь в машины, немедленно уезжают... Пожалуй, хорошо, что я не имел дела с полицией).

ПРИЛОЖЕНИЕ

RUSSIANSTYLE WORKSHOP

Практически любой русский (бывший советский) психолог при небольшой целенаправленной подготовке вполне может с успехом провести (особенно за рубежом) "Russianstyle workshop", демонстрируя при этом отечественный метод тамадообразной системомыследеятельностной голотроп-групп-группинг-психодрамы (существует также в варианте global process work and conflict resolution). Метод представляет собой концентрированную технику тотальной проблематизации с применением амортизирующих ее воздействие легких (типа водки) алкогольных напитков.

При проведении следует учесть два необходимых условия:

1. Состав группы должен быть не менее трех человек, включая проблематизатора (голотропгруппинготерапевта).
2. Напитков должно быть более, чем достаточно.

Обычно группа проводится в течение трех дней с выездом на место. Работа начинается с вечернего заседания, по форме напоминающего дружеское застолье. Участники группы располагаются вокруг стола, уставленного напитками, закусками, всевозможными яствами. Желаящие могут включить легкую музыку (негромко), и даже телевизор (нежелательно).

Работа группы проводится в пять основных этапов.

Этап 1 - "Знакомство".

Ведущий знакомит участников группы между собой, при этом он уделяет внимание каждому, сообщая остальным о его достоинствах и желая ему доброго здоровья, долгих лет жизни и успешной групповой работы. Каждый знакомится с каждым, представляясь по имени и пожимая руку. После официальных тостов следует недетерминированная процедура, в которой каждый из участников может проявить спонтанную активность (на последующих этапах спонтанная активность практически не допускается). Внешне этот период работы напоминает непринужденную беседу близких людей, объединившихся на почве общих интересов. (Примечание: очень важно, чтобы всего было в достатке, и никто из членов группы по этому поводу не нервничал).

Этап 2 - "Позиционно-личностная проблематизация".

Ведущий, уловив опытным взглядом (ухом) естественный ход развития событий, разбивает участников группы на пары (желательно не выходя из-за стола). После этого по его сигналу один из партнеров задает другому проблематизирующий вопрос: "А ты меня уважаешь?" От партнера требуется отвечать искренне, но при этом не разрешается говорить "нет!". Таким образом, если партнер испытывает уважение, он отвечает "да", но при этом он должен убедительно доказать, что он его уважает. Соответственно каждый раз, когда один из партнеров отвечает "да", ведущий требует "Обоснуй!". И так продолжается до тех пор, пока партнер отвечающего не будет удовлетворен. Удовлетворение, так же как и все другие чувства, следует испытывать искренне. Если же партнер, которого спрашивают, не может искренне ответить "да", то он в свою очередь имеет право ответить проблематизирующим контрвопросом: "А ты кто такой?". Партнер, ответив на этот вопрос, имеет право настаивать на своем вопросе: "А ты меня уважаешь?". Ведущий может по ходу менять партнеров внутри пар, объединять и

разбивать их, и так до тех пор, пока обе диалогизирующие стороны не будут удовлетворены.

Этап 3 - "Позиционно-ценностная проблематизация".

После выяснения отношений, которое, как правило, заканчивается ощущением всеобщей любви каждого к каждому, все участники группы встают (вокруг стола) и, положив друг другу руки на плечи, поют:

"Ах, зачем я на свет появился?"

"Ах, зачем меня мать родила?"

После чего партнеры в тех же (или других) парах задают друг другу этот вопрос, пытаясь, разумеется, на него ответить. Обсуждение этих вопросов может длиться несколько часов. При этом каждая удачная идея заслуживает отдельного тоста, и от ведущего требуется предельная бдительность, чтобы не упустиť ни одной.

Этап 4 - "Позиционно-пространственная проблематизация".

Как правило, на третьем этапе консенсус не достигается, поэтому он перманентно переходит в этап 4, когда один из участников неожиданно громко кричит: "Иде-я?", что и дает начало четвертому этапу, именуемому "позиционно-пространственная проблематизация". Все участники группы пытаются объяснить ему, где он находится. Неожиданно для них самих открывается простая истина, что объяснить это совсем не просто. Ведущий, ориентируясь на собственную интуицию, чувство ситуации и неизбежный профессионализм, изредка позволяет себе высказывания типа: "обоснуй" или "а кто ты такой?".

Этап 5 - Названия до сих пор не имеет.

На пятом этапе ведущий организует несложную игру, в которую не очень обидно проиграть, после чего проигравший бежит за пивом.

После его возвращения начинается этап 1, на котором участники с удивлением отмечают, что по-новому узнали друг друга. Впечатления, которыми делятся участники группы, сопровождаются тостами, пожеланиями, поцелуями. Когда этап знакомства заканчивается, ведущий переходит к проблематизации, делит участников на пары,

в которых одни из партнеров задает другому проблематизирующий вопрос: "А ты меня уважаешь?"

Соответственно группа вступает в новую фазу, на которой цикл из пяти этапов повторяется сколь угодно кратно.

По истечении трех дней, пройдя "энное" количество этапов, участники группы подводят итоги (за кофе). Обмен впечатлениями, как правило, показывает, что все без исключения участники узнали много нового о других и прежде всего о себе, разрешили все без исключения конфликты, и не испытывают неприязненных чувств ни к одному из участников группы. А наоборот, преисполнены ко всем, включая, разумеется, ведущего, симпатии и любви. Обмен адресами и телефонами логически закрепляет достигнутые в групповой работе успехи.

Рекомендуем Russianstyle workshop к проведению за рубежом!

Russianstyle workshop неоднократно апробирован!

Зарубежные коллеги будут в восторге!

Желаю успеха!

P.S. При проведении Russianstyle workshop ссылка на автора обязательна, поскольку в нем слишком многие уже участвовали, и вы рискуете попасть в неловкое положение.

Автор Russianstyle workshop **В.Зарецкий**



ИЗ АВГУСТОВСКИХ ПОСТОВ В ФЕЙСБУКЕ¹

6 августа

Черников дал Столярову добро, и через день я уже ночевал в Домодедове на станковом рюкзаке «Ермак» и потом неделю, пока оформлялся, жил у вдовца Черникова на Открытом шоссе, дни напролет сидел с тремя малюльками пузырями, его внучатами, читал им «Веселую семейку» и «Приключения Карика и Вали». Дочка Валерия Григорьевича, измотанная, то и дело плачущая по любой причине (дети ободрали алоэ, попугай Кики обгрыз корешок «Мастера и Маргариты»), вечно ждущая из командировок невиданного мужа, проводила нас до метро. В акварельном Калининграде небо было полно хохочущих чаек, а вечером я уже стоял на дне гидрологической шахты научно-исследовательского судна «Академик Сергей Вавилов», семь

¹ Редакция не стала допытываться у автора, описывает ли он реальные события своей жизни или это «творческий вымысел». В этих описаниях присутствует такая убедительность, что, коль и не произошло, то несомненно могло бы произойти. (Ред).

метров под ватерлинией. Корабль был прообразом настоящего плавучего института: оснащенный всеми лучшими приборами — навигационного и гидроакустического толка, армией глубинных лебедек, двумя батискафами-манипуляторами и специальным двигателем, гасящим дрейф, чтобы удерживать корабль в одной точке, «Вавилов» работал в паре с другим научно-исследовательским кораблем, «Академиком Келдышем». У того тоже имелась гидролокационная шахта, оснащенная локаторами, с помощью которых акустики получали отраженный от дна звук, излученный с нашего корабля; мы также принимали сигналы, индуцированные «Келдышем»; спаренно менялись углы излучения и приема, прощупывалось дно на многих сотнях миль, разделяющих корабли, — и таким образом уточнялись данные, на основе которых потом был составлен Атлас Мирового океана, титанический труд, над которым сотрудники Института океанологии работали десятилетия. Но главная задача кораблей состояла в скрытном прослушивании глубин, в работе над глобальными системами обнаружения подводных лодок. Тогда еще не закатилась мечта военных покрыть все океаны антеннами скрытой системы обнаружения. Притопленные и у Гренландии, и у Маршалловых островов акустические буи — сеть оснащенных антенн должна была отслеживать местоположение вражеских подлодок; военные космические спутники, неподвижно зависшие над теми или иными участками Мирового океана, считывали бы полученную антеннами информацию для анализа и передачи в пункт командования. Проект оказался раза в три дороже разработки водородной бомбы (каждая антенна из многих тысяч должна была иметь автономное питание, а энергия волн еще не поддавалась эксплуатации), и для его реализации требовалось открыть как минимум еще одно Самотлорское месторождение. А пока лаборатория Черникина продолжала разрабатывать и испытывать такие антенны.

«Вавилов» шел утвержденным курсом, поджидая, когда та или другая наша подлодка, возвращаясь с боевого дежурства, окажется в зоне слышимости и вместе с ней мы станем регламентированно отрабатывать заранее подготовленные эксперименты: апробировать антенные комплексы, новые гидролокационные приборы и вычислительные системы обработки акустических данных; важно ведь не только услышать, определить координаты, но и установить источник: косяк ли это тунцов, киты, касатки, чужая подлодка или неопознанный подводный объект, «инопланетяне». Все подводные лодки на боевом дежурстве находятся в режиме молчания,

используют только пассивную локацию, так что в отсутствие связи танцы с подлодкой в выделенном квадрате (когда лодка меняет режимы работы, глубины, курсы) должны быть слажены превосходно, а не выглядеть «совокуплением инфузорий» (так выражался Черников).

Уравновешенный человек, отличный инженер, Черников на проверку обладал странностями, которые как раз нас и сблизили... Я получал острое наслаждение от страха, с которым вновь поднимался во мне разверстый шторм: косматое море напирало от горизонта, встает торчком, проваливается, и стена волны бьет на расстоянии вытянутой руки, заполняет весь воздух, бьет в кадык, ломает подбородок, дальше гуляя от крови темнота... Но оказалось всё непросто — и впервые на «Вавилове» меня осенил припадок. Когда вдруг неясно, что с тобой происходит, но ты дрожишь, весь исходишь тонким звоном, как стеклянный, тревога твердеет в кончиках пальцев, а душа норовит отлететь с губ, вот-вот, весь ты внимаешь каждому выдоху, ты чувствуешь — правда, правда, не показалось, — что теряешь дыхание, теряешь светлоту, глаза спускаются на дно — и ужас, жестокий ужас твари, приколотой в углу, уголь в стиснутых зубах, будто сейчас хватит тебя удар, ты помрешь, отключишься или сойдешь с ума...

Даже когда удается в таком предчувствии закемарить, вдруг мышца дернется в первосонье — и прынешь с испуга, будто сон есть смерть, и потом спать боишься, чтобы не умереть, боишься малейшей замутненности сознания, слышишь весь организм, каждый орган оживает отдельной сущностью. Печень вдруг представляется львом. Сердце то трепещет Дюймовочкой, то гулко ходит в горле дельфином. Почки бьются в стекло стрижом. Селезенка — уткой. И дышишь, дышишь, проверяешь снова и снова с опаской, что можешь дышать, что мышцы еще слушаются, еще не отказали расправлять легкие, и снова дышишь... Всё было ясно — травма головы, нарушенное кровоснабжение мозга, но как бы там ни было — мне повезло, может, мало кто из смертных наяву видал смерть: с пустым темным ликом слепым пятном она тихонечко вставала предо мной — на палубе, на камбузе, нависала над койкой. Я подхватывался и кидался к Черникову — заняться чем-нибудь, с кем-то поговорить, продышаться, но общение мне давалось не сразу...

Самое унижительное состояло в том, что тем же приступом тебя заворачивало в галюн, и ты сидел там взмыленный, еще трепещущий, пристыженный; и я не знал, что с этим делать. Днем я старательно соблюдал вахты, слушал Черникову, паял и перепайвал платы, зачищал и шлифовал пуганое

собрание разнокалиберных дюралевых штырьков и крестовин, которое потом монтировалось в один из антенных блоков; просто прибирался... Моя бешеная прилежность объяснялась боязнью остаться одному, оказаться у борта. Иногда так было страшно, что хотелось вышвырнуться в море, чтоб только не бояться.

Но скоро выглянуло солнышко, мы оставили по левому борту Лиссабон и второй день резали стекло штиля параллельно курсу торговых судов, долгой вереницей стоявших на горизонте. Я видел яхты, замершие нам навстречу, их палубы населяли загорелые бородачи-оборванцы, их смелость, тысячи штормовых миль за их плечами подбадривали меня. Я стал лучше спать, появился аппетит. И тут как раз меня пробило. Я снова стал слышать недра... Однажды я почти заснул, это был тонкий момент пред угрозой бессонницы: нужно было не испугаться мгновенья первого бессознания — и я не испугался, но вдруг в мозжечок ворвались гул, тишина, снова гул — и пощелкивания, далекие певучие переключки, скрипы. Я не сразу узнал, не сразу понял, что слышу глубину, я позабыл уже, как в детстве — начиная с пожара в Черном городе, потрясенный им, — не сознавая, вдруг ни с того ни с сего слышал рев и ворчание нефти, пузырящееся течение ее, потрескивание соляного купола, клочкотание грязи... Начало поправки ознаменовалось новым слухом, глубина вошла в меня.

Я пришел в лабораторию и, едва подавляя дрожь, рассказал всё Черникину. Привыкший многие месяцы пропадать в рейсе или в лаборатории, Валерий Григорьевич был невозмутим. «Психика не порождает смысла», — однажды сказал он в ответ на мои разглагольствования о том, что моряцкий режим уединенности как-то особенно должен влиять на характер человека. Черников был глубоким человеком и молчал глубоко. На полке его вместе с фотографией молодой женщины с задорной улыбкой, показывавшей кувшин, полный ягод, стояли пятнадцать томов сочинений Достоевского; еще два раскрытых чемодана книг корешками зубасто выглядывали из-под койки. В свободное от эксперимента время Черников одним пальцем стучал по послушной клавиатуре пишущей машинки. Времени в рейсе было навалом, звукосъемка дна шла в автоматическом режиме. Зато во время работы с подлодкой Черников недели две не спал, отрабатывал серии, и я подтягивался за ним по режиму. Валерий Григорьевич обладал двумя могучими хобби, вскормленными избытком свободного времени: он писал любительские статьи о творчестве Достоевского, переписывался с

редакторами журналов, критиковавшими его работы, и занимался изучением неопознанных звучащих объектов в океане. О первом своем хобби начал сурово молчал, но время от времени я прочитывал несколько абзацев, торчавших из пишущей машинки «Олимпия» (приписка: «Ответ, если поспеет до десятых чисел ноября, присылайте в Рио-де-Жанейро»).

Черников — единственный человек, поверивший, что я слышу пение недр. Тогда я пришел к нему, пробурчал, пролепетал, что в голове странно шумит и щелкает, поревывает, скулит и просит.

— А уши не болят?

— Нет вроде.

— У врача был?

— Он же меня спитет.

— Ну да... А как щелкает? Вот так? — И Черников смешно скомкал губы, пустил в воздух:

— Вшпрррру, вуух, вуух, вух, тррррууааа. Кле, цек, цок, цуок, цуок, цуок. Ууууууу. Вшпрррру, вуух, вуух, вух... цуок, цуок, цуок.

— Не знаю. Похоже вроде.

— Так ты же слухач! — Черников посуровел. Расспросил вкратце, что именно я слышу, хмыкнул, а затем снял с крюка наушники, щелкнул тумблерами и послушал локатор.

— Ничего сейчас. Молчок.

Снова пощелкал, включил запись. Заслушался. Отдал наушники мне.

Я закрыл глаза. Сухое молчание примкнуло к моим барабанным перепонкам, поскреблось. Затем шорох наискосок пересек черепную коробку от виска к скуле. И вдруг из потемок, из-под ключицы заискрилось поцокивание... Сорвалось в певучий скрип и клекот, звуки прошли рядом, стихли.

— А вот еще послушай.

И тут Черников как с цепи сорвался. Двое суток мы слушали с ним океан. У меня в ушах проходили авангардные симфонии хребтов, то срывающиеся на какофонию, то длящиеся необыкновенной мелодичностью, неслышанными перепевами. Разломы взмывали и рассыпались фонтанными стоитами, мелкие особенности рельефа вокруг вздымались гладкими загадочными музыкальными фразами, чья пульсирующая ритмичность завораживала.

— Сейчас ты слышал клубы извержений над «черными курильщиками», — торжественно разъяснял Черников и взалех рассказывал об этом удивительном геологическом (и биологическом) явлении.

Выяснилось, что Черников немного экспериментировал с обработкой звука, пробовал синтезировать звуковой мир океана, сделать его более легким для уха, более музыкальным.

Я рассказал ему, как в детстве слушал нефть под Апшероном, и он с ходу поверил, растолковал мне в ответ, что ничего удивительного, что Земля и вправду поет, что еще не прекратились колебания магмы. Именно магматические волны сформировали тектонические плиты в порядке октаэдра, что это большая удача — когда-нибудь зафиксировать и сделать слышимыми эти титанические долгие звуки земного колебания...

— Понимаешь, любой предмет звучит и сам есть акустический фильтр и резонатор, такая сложная звуковая линза, с помощью которой можно услышать неведомое. И вопрос только в том, чтобы обладать необходимым порогом чувствительности, позволяющим услышать...

Черников откровенностью на откровенность поведал, что ищет неопознанные подводные объекты, охотится за ними уже много лет. Он идентифицировал их с помощью подводников. Речь шла о «квакерах» — миниатюрных квакающих источниках звука, последние годы преследовавших наши подлодки в Северном и Баренцевом морях. Послушать «квакеров» Черников мне не дал, сказал, что далеко запрягал бобину.

Черников был прирожденный слухач, так и говорил про себя с удовольствием, объясняя:

— Если на военном корабле, и тем более на подлодке, нет приличного слухача, то это не корабль, а гроб. У слепых часто встречается обостренный слух. Может так получиться, что в консерватории из всех поступивших абитуриентов только два человека с абсолютным слухом, и оба слепые. Во время войны никаких локаторов не было. С помощью специального «уха», звукоулавливателя, слепые прослушивали ночное небо, предупреждая о налетах бомбардировщиков задолго до их приближения. Может, видел на старых фотографиях — зенитка, а над ней гроздь раструбов? Вот это и есть «ух». Слепой служил в паре со зрячим. Зрячий поворачивал громоздкое ухо в разные стороны, а незрячий руководил им, уточняя направление. У слепых слухачей восприимчивость развивается особенная, самому ему это незаметно. Незрячие акустики за десятки километров могли отличить «хейнкель» от «юнkersа». Представляешь, сколько жизней в одном блокадном Ленинграде спасли слепые!

Не скоро я догадался, что Черников заговаривает мне зубы, чтобы я вдруг

не испугался самого себя. Он оказался очень умным и добрым. Сберег своим шефством странного парнишку, не дал ему спалиться на галлюцинациях.

— Представляешь, Ежик! У кита полторы тонны спермацета — линза жира на голове только затем и нужна, чтобы принимать и правильно излучать звуки. Ты не знаешь? Так я тебе расскажу. В последнее время появилась гипотеза, что дельфины и киты разговаривают не звуками, а образами; что воспринимают они не линейную картинку звука — изменение амплитуды, вверх-вниз, сдвиг по фазе, а звук всем телом, как экран воспринимает световой пучок проектора. Если сделать пространственный срез звукового пучка, испускаемого дельфином или китом, то обнаружим сложную интерференцию, увидим своего рода иероглиф, можно сказать, «картинку». Ведь дельфины почти слепы! Те, которые плавают в Ганге и поедают обгоревшие трупы, уж точно слепые. Дельфины могут звуком рисовать своего рода иероглифы. Да им в общем-то зрение и ни к чему, вместо зрения у них развито лоцирование. Звуки для них зрение и есть. То есть дельфины и киты многие миллионы лет погружены в мир звуков, они тоже слушачи. Они слепцы, чей слух стал зрячим. Спрашивается, какое удовольствие дельфинам, тем более с таким огромным размером мозга, плясать в морскую пучину? Может быть, в звуке обнаруживается какая-то грандиозная, невиданная форма звукосмысла?

— Так что получается? — задумывался я вслух. — Если дельфин сам — «экран», поскольку телесной линзой своей, собой-локатором воспринимает «звук-картинку-иероглиф», то он может вносить в воспринимаемый смысл свое собственное видение, свой собственный смысл, может как-то творчески участвовать в слышимом, для этого у него есть технические возможности. Как если бы у нас ухо было бы музыкальным инструментом...

— Понимаешь, Ежик, — распалаялся Черникин, — у дельфинов очень большой алфавит и словарь в пять раз превышает человеческий. И как думаешь, что из этого следует? Ничего иного, кроме того, что дельфины — поэты! Им ведь с такими запасами нечем больше заниматься, кроме как словом! Они — дельфины — все поэты. Представляешь — цивилизацию дельфинов, китов, цивилизацию поэтов: в океанской толще рыскают, рожают, творят — нации Пушкина, Баратынского, Фирдоуси, Хлебникова! У высокоразвитых дельфинов нет ни телевидения, ни интернета, ни радио, а есть только мир звука, мир слова, звукосмысла, который — я не удивлюсь — у них обожествлен. Дельфины разговаривают пространственными картинками, иероглифами, но почему не реальными — в их особенном понимании —

картинами! В цивилизации поэтов решены проблемы социума, проблемы производства страха смерти. Ведь не к тому ли стремится человечество, чтобы наконец обрести Логос? А чем еще в раю заниматься?

Ну представь, — продолжал Черников, — допустим, все проблемы решены путем Страшного суда, все воскрешены, все живы, всем воздано по заслугам, все получили по милосердию, всё хорошо, а дальше что? Что-то строить? Что-то производить? Зачем?! Чтобы снова произвести вместе с ценностями злобу? Значит, ничего не останется, как сочинять стихи, песни. В точности как дельфины. Заметь, киты никогда не болтают, у них нет мусорных сообщений, они всегда поют. Возможно, они как раз и сосредоточены на литературной реальности, на реальности Логоса, это и есть достижение их цивилизации, где проблем хватает, ибо язык безмерен, совершенно духовен...

— Но откуда питать эти высшие миры?.. — спрашивал он сам себя, вернувшись взглядом в туманный от воображения лист, который так усердно выстукивал птичьими лапками шрифта. — Всё верно, надо еще подумать...

Тук-тук. Кррррях, перевод каретки. Тук-тук. Тук-тук.

— Надо еще покумекать. Но сама по себе идея красивая. Мне нравится. А красота формулы, говорил великий Поль Дирак, есть залог ее истинности. Тук-тук.

7 августа

Мое детство прошло среди роз. В бабушкином саду были высажены десятки розовых кустов. Бабушка не давала розам осыпаться — выходила в сад с медным тазом и собирала в него лепестки для варенья. Самый удивительный сорт назывался — хорасанским. Урожденная в почве, упокоившей Фирдоуси, Омара Хайяма и имама

Резу, эта роза казалась удивительной: отчасти телесного оттенка, очень плотная, но настолько нежная, что была словно тончайшим символом тела. А запах такой, что увязает в сердцеvine, как шмель: нет сил оторваться, совершенно необъяснимо, как он действует — если бы девушка так благоухала, это не было бы столь привлекательно. Девушки должны пахнуть как-то иначе. Я бы предпочел нотку камфары, такой сердечно-обморочный аромат. На то они и девушки, а не цветы. Я знал каждое дерево в нашем саду. Я и сейчас помню, какова кора каждого на ощупь.

Шпанская вишня — крупная, сладкая, каждая ягода — драгоценней любой конфеты. Глянцевитая местами кора, сочащаяся янтарными слезами смолы, в которые попадали наездники и осы.

Огромная абрикоса, тянувшая от забора ствол к крыльцу, осеня его кроной. После штормовой ночи нужно было аккуратно открывать дверь и потом на корточках над ковром оранжевых плодов расчищать себе путь к садовому крану, чтобы умыться.

Инжир — десяток смоковниц, дававших медовые упоительные плоды. При первом августовском урожае я примечал поспевавшие и каждое утро пробегался по саду, чтобы проверить — не пора ли сорвать.

Хурма пылала в ноябре в изумрудной своей кроне закатными солнцами огромных просвечивающих от сочности плодов.

Алыча — с похожими на полную луну плодами, заполнявшими рот сладчайшим густым соком, если только надкусить тонкую кислотоватую кожицу.

Инжир — самое удобное для лазанья дерево: узловатые шершавые ветви, громко шуршащие под ветром пятипалые листья.

8 августа

Все детство я болел так, что сейчас трудно представить, как можно было перенести все эти бронхиты, ларингиты, фарингиты, раствор Люголя, банки, горчичники, йодовые клетки, молоко с боржомом или прополисом. А осенью второго класса у меня случилась пневмония. И тут я загремел в стационар под карантин, и для меня, изнеженного любовью матери и книгами, это стало испытанием. Честно говоря, мне трудно припомнить, когда бы мне еще приходилось так невыносимо. Для начала я отказался от еды. Затем проблемой стало то, что я столкнулся с такой вещью, как социализация подростков разных возрастов, обитающих в одной больничной палате. Впервые я видел перед собой уродливый пубертатный мир, полный сумбура и зла, вольного и невольного. Ночами я не спал от тоски. Я лежал, глядя на ртутный фонарь за окном и прислушивался к хрипу в легких. Мама тогда научила меня началам аутотренинга — и я послушно вытягивался от макушки до кончиков пальцев, уговаривая себя и влажные хрипы в груди: «Я здоров, я совершенно здоров». Через две недели главврач вызвала родителей

и заставила их подписать бумагу, в которой они поручались за то, что принимают меня на домашнее лечение, поскольку я отказался от пищи. Помню из того времени, как я ждал мать, стоя у окна. Стоял со свинцом в груди, и слезы лились на подоконник. Помню, как какая-то бусинка цокала у мамы в каблуке, когда она шла по коридору с сумкой, чтобы, не смотря на карантин, подкормить меня картофельным пюре с котлетой. Помню, как попугай вылетел из клетки, и дети носились за ним, а он атаковал их на бредущем. Помню, как по больничному мокрому парку носились ночью конокрады на взмыленных, оглушительно галолирующих совхозных лошадях... И помню медсестру — бесконечной красоты белокурую девушку со стальным подносом в руках, на котором позвякивали шприцы в кюветах. У нее не было под халатиком ничего, кроме нежного нижнего белья, и я осознал эту женскость — не материнскую — впервые в жизни.

* * *

МУРАВЬИ

Слабость человека может сравниться только с его алчностью.

Когда приходит время отдавать, он удивляется так, будто только что родился.

И тогда он кричит, но другие слышат лишь шепот.

Но и шепотом можно заклать полмира.

Однажды так и случилось.

Однажды я проснулся в Риме после долгого-долгого сна.

Еще не вполне понимая, где нахожусь, спустился на улицу в кафешку, чтобы выпить допши с сигаретой.

И вот когда я вглядывался вниз по улице, ведущей к Колизею, после первого глотка кофе, после первой затяжки, - я вдруг прошептал одно тайное заклятие, суть которого: «Все дело в красоте».

И это сработало.

Потом я бродил по городу, рассматривая то и это, заходил в церкви, бросал монеты в светильник, возвращался за полночь, по старым трамвайным путям, озираясь на остывающий город, дивясь силуэтам пиний и триумфальных арок, каким-то руинам, сквозь которые виднелась взошедшая над горизонтом Венера.

Немота – вот так бы я назвал главное свойство мироздания, пустившего

меня заново поозираться на звезды, на то, что впереди и позади.

Помню, как под аркой Тита утром я наблюдал дорожку муравьев - на булыжнике мостовой, выдавшей колесницы и сандалии легионов.

Муравьи спешили куда-то в свое очередное миллионолетие.

И, конечно, точно так же ползли и трудились над плевелами еще при Тите, эпоху которого не заметили подобно тому, как не замечают мои подошвы сейчас.

«Все дело в красоте», - снова мелькнуло у меня в мозгу, прежде чем мой взгляд перешел с муравьев на человека, протягивавшего мне запотевшую бутылку воды: «One Euro!».

10 августа

ВО ДВОРЦЕ АГРИППЫ

Достаточно было родиться не там, где полагалось, расти не там, где хотелось бы, жить - не там, где надо, жениться не на той и не на этой, - чтобы в сорок три года подсесть в баре к ней, сумочка Fendi, черное платье в обтяжку, коротковатые ноги, удачно удлиненные каблуками лодочек, русые волосы и витающий тревожный запах камфоры - чуть обморочный, - когда он его расчувствовал, тогда-то, почти всегда руководимый ароматами уверенней, чем зрением, он и предложил заказать еще бурбона, получил улыбку и кивок в ответ, а через час вышел с ней, мечтательной, веселой и шаткой - под руку на дорожку, ведущую в сторону главного корпуса отеля, где они оба поселились, и окунулся головой в бездонное и такое близкое одновременно звездное небо - здесь, на севере Израиля, в курортном местечке а-Гошрим, где в начале августа круглосуточно влажно и жарко, как у черта под мышкой, а метеориты начинают сыпаться, будто мелочь в карман нищего после прожитого дня, - он под звездным дождем привел ее в свой номер. В а-Гошрим они оба были ради одной и той же ежегодной конференции, оба присматривались друг к другу не первый раз, оба лечили рак протонным излучением, работали в госпиталях в разных концах страны, и оба, одинокие на данный момент, приехали заблаговременно, прихватив выходные. Он неловко, смущенно опустился в кресло, прошли те времена, когда он заваливал девушек поцелуем, а она милостиво достала из сумочки

косметичку, оттуда две таблетки и пакетик травы, смастерила джойнт, и, сглотив по допингу, они раскурили трубку мира, распахнув окно настежь во тьму, то и дело вспыхивающую гаснущими метеоритами, поцокивающую вскриками цикад и украшенную журчанием невысоких водопадов - со скалы, увитой лианами, мимо которой они только что шли.

- Как думаешь, почему в Израиле никогда не было серийных убийц? - продолжил он начатый в баре разговор. - Маньяков тут еще не было. Другие жанры исчерпывают это дело...

- Слишком тесно, все на виду. И есть шанс уробрить родственника. Эволюция диктует приличия.

- Каин и Авель - близнецы. Но ведь были нераскрытые дела?

- Были. Например, убийство Арлозорова. Или Рабина.

- Фу, это политика.

- А у нас все убийства - политические. Если даже чистый криминал или бытовуха. Господь найдет, как это применить к системе ненависти, жадности и бесчестия, которая называется политикой.

- Мы не на митинге. Ты уже хочешь меня?

Она скинула туфли и забралась на кровать, выдирая из-под простыней подушку.

- Мы можем еще немного побыть друзьями? - спросил он робко.

- Конечно, милый, не торопись.

- Я в порядке, просто устал жить против воли.

- Понимаю. А что тебе сейчас шепчет желание?

- Ничего особенного... Мне хочется тебя обнять. Честно говоря, я очень тебя хочу.

- И это правильно. Хорошее желание.

- Но еще я думаю... Вот представь себе - тут неподалеку, у Баниаса, почти на самой границе с Ливаном, стоит дворец Агриппы. В отличной сохранности - будто его только что построили. Когда-то дворец не стали разрушать, когда пришли сюда персы, а просто засыпали землей. И он стоит, как новенький, - ни единой выщербинки. Тогда не было еще огнестрельного оружия. Щербатые руины - удел новейших времен. Самый главный серийный убийца - это история. Все под чистую чешет - люди, звери, города, страны, ей все равно.

- Говоришь, дворец стоит, как новенький? Так это - машина времени. Так хочу туда попасть...

- Завтра можно прокатиться, - неуверенно сказал он и продолжил: - Все, что касается убийства, почему-то увлекает человека. И дело не в том, что никто не знает, что с нами произойдет, когда мы умрем. Очень хочется знать, да? Точней, не только в этом. Есть некий врожденный азарт - вырвать кусок плоти из оскала дьявола. Человек протестует против белых пятен. Расскажу тебе... Когда-то я жил в Калифорнии, в Сан-Франциско. Многие знают этот случай - маньяка Зодиака. Он переписывался с полицией с помощью объявлений в газете. Его так и не нашли. Никто не ведает, не стал ли он убивать снова, но втихую. Одно из первых его немотивированных убийств произошло на берегу озера Береса. Это озеро - водохранилище, запруженное в конце 1940-х в русле речки. Кстати, в той долине находился один из лагерей, где содержали во время войны японцев. В конце 1960-х парень с девушкой приехали сюда загорать и устроили на берегу пикник. В сумерках стали собираться обратно. Вдруг от дороги появился человек - худощавый, в плаще, в очках и шляпе. Он набросился на них и нанес несколько ножевых ранений обоим. Девушка выжила, парень умер.

- В бой идут одни мужики. Хотя, судя по описанию, убийцей могла быть и женщина. Плащ, шляпа и очки - посреди пляжного сезона. Я похожа на убийцу?

- Похожа. Кто тебя знает.

- А ты - нет. Иди ко мне.

Он смотрел на нее и вдруг почувствовал влечение, от которого у него забилось сердце.

- С того случая и берут отсчет злодеяния Зодиака, - заговорил он снова. - Продолжалось это несколько лет - маньяк даже просил выкуп у полиции. А то, мол, не остановится.

- Брось, все смотрели "Грязного Гарри", даже я.

- А потом в какой-то момент все прекратилось. Он куда-то канул - этот Зодиак. Не то помер. Не то раскаялся. С тех пор прошло полвека. А этот новый Джек Потрошитель так и не раскрыт.

- Я вижу, тебя завораживает принцип безнаказанности.

- Ты права. Но кто историю накажет?

- У каждой цепочки следствий есть первое звено - причина. И обычно оно, это звено, создано не провидением, а человеком. Значит, у каждой катастрофы есть тот, кого можно наказать.

- А кто накажет виновного в гибели "Титаника"? Кто там вообще

обвиняемый? Айсберг? Морские течения? Смотровой? Капитан?.. Я, как замороженный, в день первого преступления Зодиака - 26 августа, к вечеру отправлялся на то самое место на берегу Береесы и ждал, когда появится Зодиак - согласно заповеди, что преступника влечет место преступления. Особенно маньяков...

- И однажды встретил там странную старуху...

- Как ты догадалась?

Она пожала плечами.

- Мне не трудно. Старуха эта стояла на обочине дороги у своего какого-нибудь древнего "бьюнка" и смотрела на озеро. Увидев тебя, она просто села за руль и тихонько тронулась с места.

- Почти все так и было. Только не "бьюнк", а "шеви".

Она привстала и улыбнулась, с озорством глядя ему в глаза.

- Так вот почему я похожа на Зодиака - я умная, - рассмеялась она. - Ты меня боишься?

- Нисколько.

- Милый, ты чокнутый, но я придумала, - сказала она вдруг посерьезнев.

- Давай, докладывай, - сказал он, перестав, стоя на кровати на коленях, бороться с брючным ремнем.

Она привлекла его к себе и горячо зашептала что-то на ухо.

Езды до Баниаса оказалось минут десять. К моменту, когда они приблизились ко дворцу, взошла луна. Они бродили по сводчатым переходам, невольно замирая от звука собственных шагов. Она то и дело оборачивалась на него - не то всматриваясь в его реакцию, не то подставляя лицо поцелуям.

Вдруг она кинулась по одной из улочек, подсвечивая себе фонариком телефона, и наклонилась, сунув голову в нишу зарешеченного окошка.

- Зо-ди-а-ак! - прошептала она громко, приложив руку ко рту. - Зо-ди-а-ак, мы пришли тебя искать!

Дальше с ним произошло слабо объяснимое. Он задрал ей платье, рванул на себе ремень, и овладел ею так грубо, как только хватило ему на это сил.

Что он помнил с тех пор?

Постукивание каблучков и невозмутимый сначала, но потом срывающийся голос:

- Зо-ди-ак! Зодиак, мы тебя нашли!

12 августа

«Похитители велосипедов» - не просто шедевр, а икона: помню каждый кадр.

В 1991-м обитал в Сокольниках, высотка у парка, просторные лестничные клетки с отдельной дверью на четыре квартиры, которые использовались под кладовку, каждый у своей двери ставил нечто полезное - комод, стеллаж, велосипед.

Вдруг днем звонит сосед в дверь, открываю: - Кто-то не запер за собой дверь, стащили велик. А у Сокольников с давних пор велорынок у магазина «Зенит». Туда я и рванул за лаврами Холмса. Пролетел по всем рядам, туда и обратно, туда и обратно - нету нашей «Камь».

Пошел к метро. Смотрю - на бульваре пацан крутится на зеленой «Каме». Как понять - та или нет? Подхожу, нагибаюсь. Разве трудно дорожную пыль отличить от комнатной?

Пацан почуял неладное. Иду за ним вниз в метро до самых турникетов, где менты. Тихо хватаю за рукав. Не сопротивлялся. Отдал велик, и я воришку отпустил.

Так я и поучаствовал в своем любимом фильме.

13 августа

У меня есть привычка — в начале августа, когда пролетают Персеиды, я отправляюсь ночевать в пустыню. Место ночевки выбираю по ходу дела, но чаще всего останавливаюсь в пустынной башне монастыря Мар Саба. Монахи вот уже полтора тысячелетия не пускают в свою обитель женщин, а паломницам, если таковые случатся, предлагают поселиться в этой башне.

Машину ставлю у ворот Северного Кедара, под единственным фонарем на всю многокилометровую округу, после чего с каждым шагом я удаляюсь в звездную тьму.

В безлунной пустыне трудно различить верх и низ, постепенно в ней начинает казаться, что то не звезды находятся над тобой, а ты находишься среди них. Дорога нащупывается с трудом, доверяешь в пути больше ногам, чем глазам. Близость белуинского жилья распознается по запаху, издаваемому отарами овец в загонах, и тьяканию обеспокоенных собак.

Но постепенно отдаляешься и вдруг как-то сразу оказываешься в самом небе. Тут и начинаешь понимать, почему когда-то пророки пропадали в пустыне. В ней есть шанс проникнуть в глубину мироздания, понять, что звезды не просто дырки на небосводе, а огненные горы, обладающие удаленностью не только от глаза, но и друг от друга. Однажды – в один из таких походов в пустыне среди звезд – я понял, как мне показалось, что именно предлагал дьявол Христу, когда явился и говорил о всех сокровищах мира. На самом деле, он имел в виду свитки Священного писания, спрятанные где-то в пещерах. Ибо мир – это только кем-то рассказанная история. Нет ничего вокруг нас, если это нельзя выразить. Вот дьявол и ловил Его – не на звезды, а на слова, которыми сотворен весь мир... Христос ведь при всей своей образованности ничего не оставил по себе, ни листка, ни свитка. Как бы дьяволу того ни хотелось.

Но вот уже и кубический силуэт Мар Сабы. Он распознается огоньками лампад в провале ущелья. Просматривается и силуэт Женской башни близ спуска к монастырю.

В пустыне так тихо, что слышно, как метеориты пронзают толщу неба, иногда издавая звук, похожий на чирканье зажигаемой спички.

Если лечь в плоской местности под звездное небо, чуть погода станет казаться, что ты в него падаешь. Когда смотришь — как многие ночью обращают свой взгляд вверх в поисках шанса застать пролёт Персеид, — что рождается в душе, в которую потоком опускается звездное небо? Даль обладает силой притяжения, к тому же звезды поражают восприятие одновременно близостью и страшной далью. Да, в этой жутковатой дали есть парадоксальная близость. И море, и небо остаются неизменными на протяжении миллионов лет, взгляд на них содержит припоминание об истоке, не только вопрос, откуда мы пришли, но и понимание того, куда нам придется отправиться. Помимо странной близости в звездах есть интригующая дикость ненаселённости. Когда-то мне это казалось несправедливым, нынче же одиночество во Вселенной видится вариантом взрослости, отчаянием ответственности.

В прошлом году я встретил в Женской башне отшельницу, и никак не могу о ней забыть. Она была в монашеском облачении, сидела у костерка. Я смутился и хотел было податься восвояси, как она окликнула меня:

— Мил-человек, пожалуйста к огоньку, чайник вскипел.

Я никого не хотел беспокоить. Но вот так — в ночи ночей встретить в

пустыне человека, да еще и разговориться с ним — настолько редкое событие, что отнестись к нему спокойно просто невыносимо. Что можно подумать о го-лосе, который окликнул тебя в пустыне?

Слово за слово, и оказалось, что живет она здесь вторую неделю. В Израиле уже год и никуда из него не собирается. Цели у неё определенной не было, ей нравилось бродить от монастыря к монастырю, знакомиться с паломниками. В сентябре добрые люди обещали пристанище при Горненском монастыре в Эйн-Кереме. А пока довольствовалась работой на поливе монастырских огородов. С виду ей было за сорок, судя по речи — не москвичка. Библиотекарь? Учительница? Причина ее бегства приоткрылась не сразу. Я достал вина, сыра, и отшельница заговорила с охотой. Ясно было, что молчала она долго, и теперь пользовалась возможностью выговориться.

— Десять лет назад мой сын единственный, Сережа, попал в катастрофу. Школу хорошо закончил, в институт поступил. Все время с ним нянчилась, души не чаяла. Кружки, факультативы, все для Сережи, все пожалуйста. А тут вот как получилось. На занятия торопился, переходил дорогу, сбила машина. Думала, руки на себя наложу. Но ничего, живой. Я его по кусочкам собрала, три месяца в реанимации жила под его кроватью. Но все равно от головы мало что осталось. Теперь у него центра насыщения нет. Может сладкое есть килограммами. Но разве не милость то, что живой?

— И как же вы его оставили?

— А я его не оставляла. Привезла сюда, вместе паломничали. Вот и в обитель Саввы преосвященного вместе явились. Монахам он вроде нравится, теперь он воду помогает возить, проулучки метет. Может, они его себе оставят. Мальчик-то у меня послушный. Вот только со сладким проблемы. Мне за Сережу спокойно, никто тут не обидит. Завтра его ко мне приведут.

— Ясно. Но мне бы понять, почему вы оставили родину. Монастырей в России хватает.

— Вы понимаете, сын мой — кровинушка моя. Растила без мужа, души не чаяла, да вот беда одолела. А почему в Израиль приехали — все просто. Хотела сыну показать то, что Христос видел. Что ж его оставлять с тьмой наедине? А умру я? Так бездомствовать лучше в теплых краях. Я не надеюсь ни на что. Решила его привезти ко Христу за пазуху. Тут тепло, тут божьи люди есть...

— И все-таки я не очень понимаю. Россия — музеи, театры, парки, леса, поля. А здесь пустыня.

— А что пустыня? Разве не благодать в ней, раз тут Христос скитался? Разве не благодать в земле этой, раз Господь тут человеком в мир явился?

— Ну, не знаю, я в этом ничего не понимаю, я не теолог.

— Да вы и счастья своего не разумеете, мил-человек, — сказала она немного разочарованно. — Чужая душа — потемки, вы со своей разберитесь. Детей-то у вас, наверно, нет?

— Это точно.

Какое-то время мы сидели молча.

— А вы заметили, — подумав, сказала отшельница, — что главная особенность пустыни — оглушительная тишина. Пронзительное одиночество и молчание. Не шелохнется ничто: ни травинка, ни песчинка, ни ящерка, ни веточка. Только слышно, как муха звякнет над ухом. Молчащий неподвижный простор. Здесь можно позабыться. А ночью звезды такие... Вон та звезда светит из глубины миллиарда лет пути, эта — из сотни миллионов. И обе, вероятно, уж более не существуют.

Мы допили вино. Отшельница, казалось, ничуть не была смущена своим эмоциональным всплеском, обращенным к незнакомцу. Не могу сказать, что мне стало понятно после этого разговора, что делала здесь в пустыне эта образованная, немного странная женщина. А может — это я сумасшедший? Ведь меня тоже все эти годы влекло в пустыню.

Звезды побледнели, и я попрощался. Остаток ночи мне хотелось побыть одному. Потихоньку нащупывая тропу, я удалился на соседний утес, нависший над ущельем. Засыная над обрывом, я видел, как все еще падают метеориты. Я видел глубину неба и думал, что человек, конечно, мал, ничтожен даже, но все это — и пустыня, и звезды — ничего не значат без этой пренебрежимо малой величины.

17 августа

Тетушки, подобравшие меня на заправке в Эйн-Геди, когда я помог им найти, как открывается лючок бензобака... Студенты, пытавшиеся меня напоить пастисом по дороге в Калью... Молчаливый гид, после похода глотавший сердечные таблетки за рулем...

Не помню, как я провел ту ночь, помню, что она была полна звучания. На следующее утро я вошел в окрестности Иерусалима, прижимая к груди

свиток со всеми царствами мира. Я не знал усталости, голод и мысли покинули меня. Осталось только желание, и я двинулся по всем тем местам, где бывал, когда в самом начале ходил, будто прихлопнутый, по закоулкам города. Первым делом я пришел к приемной Министерства Внутренних Дел. Здесь я на рассвете простоял когда-то не одну очередь. Все тут было по-прежнему. Те же стаи голубей на карнизах, так же шаркала метла дворника. Та же очередь из множества пассионарных идиотов, стремящихся получить гражданство. Я был таким же когда-то, да и сейчас не отказался бы повторить тот же путь восторга и разочарований: первые два года я просто летал от той силы беззаботности, которой одаривает вас эта земля.

Я потолкался в очереди, потрепался с одним хасидом: пейсы до лопаток, американец, русая борода, исполнен достоинства и обожает поговорить; майка с надписью Stillet Entertainment. Звукорежиссёр, совладелец музыкального лейбла; в Израиль пробовал эмигрировать двадцать три года назад, но встретил женщину и прожил с ней долго, теперь у него русская жена, из Новосибирска, решили сделать алию, продал дом в Огайо. Вложил шестьсот тысяч на рынок акций, получает с них в год тридцать пять тысяч, надеется, что хватит. Работы нет уже полгода, а так — где только не устанавливал своё РА-оборудование (Professional Audio). Аппаратура у него такая мощная, что может сдуть квартал. Приходилось ему ночевать и на пляже. Жил в хостеле Petra в Старом городе. Я посоветовал ему не ночевать на пляже близ Яффо.

Но тут мы оба стали свидетелями того, как хорошо одетая и ухоженная, с аристократически внимательным взглядом женщина прибыла на грузовом такси, выкатилась из него на инвалидной коляске. При ней была ей под стать помощница, с безупречной осанкой... Они встали в очередь, но охранники тут же провели их впереди всех.

О, Израиль! Ты вселенная на краю апокалипсиса. Ты форпост у безбрежья пустоты. Как тебя только не называли. Ты и американская военная база. И взлетно-посадочная полоса длиной в четыреста километров, авианосец Средиземноморья. И выдумка богатых евреев, в которую они сослали евреев бедных. Все, что угодно я слышал о тебе, и никакое прозвание не смогло тебя посрамить. Как славно пропасть в тебе знаком препинания, иглой, извлекающей из бороздок улочек и ущелий таинственную едва слышную мелодию. Что напевает мне она? Что напоминает? Разве не то, что Мирьям мне обещала: мы заслужим с тобой нашу раннюю встречу. Так слушайте...

18 августа

ЧИКО

У меня не было любимых сказок, кроме моря. В детстве я был счастлив, и мне незачем было бежать. Синие кони, красные всадники, гуашевые леса, акварель полевых цветов, погнутая рама на велосипеде, на котором пришлось везти мешок «синеглазки». Глухие леса, дубовые рощи близ заброшенных усадеб, – насаждения реликтового дворянства.

Однажды я нашел в лесу чудо – поляну, на которой одновременно росло множество разных цветов. Вероятно, именно так выглядит рай ботаника. Я стоял замороженный этим обилием. Гудели пчелы, шмели, трещали кузнечики, в поле среди пшеничного золота можно было набрать васильков небесных. Ближе к осени на полях появлялись стога, в которых мы разрывали ходы и пещеры, где можно было спрятаться от дождя.

Мое детство – это книги воздуха, лесов, реки и звезд. Наверное, так и полагается, если потом приходится много путешествовать и забывать, много видеть и не успевать запомнить, – страны, люди, моря, океаны.

Однажды мне даже довелось беседовать с призраком.

Это случилось в старой усадьбе в Сантьяго, в стране, где все выглядело так, как будто я оказался на обратной стороне Луны. Там я познакомился с одним бездомным, который подрабатывал сторожем в доме, где я остановился.

Он разжег камин, я принес выпивку, и мы тихо сидели у огня, когда заскрипели половицы и к нам вошел какой-то странный человек, по виду тоже бездомный.

Чико подвинулся, и мы, конечно, ему налили.

Чико стал говорить и говорить, чего-то смущаясь. А потом я заметил, что огонь камина не отражается в зрачках нашего гостя, который чуть погодя, все так же не говоря ни слова встал и удалился.

Чико потом мне признался, что слышал этого призрака не раз, но увидел только сегодня.

И я не удивился. В Чили я ничему не удивлялся. Как и многому в жизни. Ведь чудо есть воздух.

Всю жизнь я собирал пространство в строчки. Я старался метафорой обживать галактики. «Ведь если есть на обратной стороне мира выход, он

составлен из слов и страниц». Так сказал мне однажды Чико, бездомный, обитатель русла реки Костанера.



ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА «ПАДЕНИЕ В ПЕЙЗАЖ»

Ситуация заключается в том, что этот напечатанный на машинке текст пролежал мертвым грузом много лет — я ни разу в него не заглянула.

Однако сейчас, по прошествии стольких лет, мне показалось увлекательным (коль скоро сами события, сопровождавшие написание «мертвого» текста, уже давно стали историей) сделать эту небольшую часть романа «Падение в пейзаж» текстом с «двойной экспозицией». Думается мне, сама идея сесть перед тв экраном и в буквальном смысле попытаться написать о том, что видят мои глаза - но как тут не вспомнить голос Ж.-А. Годара, прозвучавший в его фильме «Образ и речь» о «волшебных пяти пальцах, которые вместе составляют руку (пишущего) — как подлинное состояние человека: думать руками, смотря глазами». II попытаться понять, в каком пространстве это все существует и существовало ли на самом деле? А тогда, стало быть, можно было бы получить ответ: почему это случилось именно со мной?

Н. А.

Глава 5. Несколько страниц рукописи

- Так как там с арабами?

Третьего дня в двухстах метрах от нас что-то взорвалось. Я собственными глазами видела клубы черного дыма.

Некоторые люди ездят на работу в бронированных автобусах, стекла кабины водителя тоже сделаны из какого-то особо прочного стекла и покрыты железной сеткой против камней, которые в них могут кинуть. Увидев такой автобус, сначала решила, что он предназначен для перевозки некоторых особо опасных животных или отпетых преступников, но кто-то объяснил мне их предназначение.

- А почему ты об этом сразу не рассказала?

- О чем? Тебе не рассказала, о чем?

О том, как накануне поездки я пыталась выписать из словаря, которым в течение нескольких десятков лет никто не пользовался (а он никак не хотел открываться, словно какой-то заветный сундук тайного смысла - страницы не ложились в нужную сторону, и норовил побыстрее захлопнуться) – так я пыталась выудить из этого «кладезя смыслов» такие слова как «дом», «улица», «шоссе», «перекресток», «остановка», «граната», «бомба», «взрывное устройство», «взрыв», «жертва», числительные количества. Я заучивала эти слова, надеясь вычленив их из потока чужого языка, звучащего сейчас с экрана или из радиоприемника. Вряд ли большинство из них заимствованы из арамейского, хотя... если открыть Первую книгу Маккавейскую, переведенную с греческого языка и поэтому отсутствующую в Еврейском каноне, то в 6 главе стихи 43-44-45-46 гласят: «Тогда Елеазар, сын Саварана, увидел, что один из слонов покрыт броней царскою и превосходил всех, и, казалось, что на нем был царь, - он предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести вечное имя: и смело подбежал к нему в середину отряда, поражая направо и налево, и расступились от него и в ту и в другую сторону: и подбежал он под того слона, лег под него и убил его, и пал на него слон на землю и он умер там».

Гранаты звучало как «римоним». Но ведь и плод сада райского назывался также. Читаю это слово справа налево. Итак, оно написано, письменная Тора предшествовала устной. Словарь же Ф. А. Шапиро, помнится, был подарен нам Анри Волохонским в год его «исхода».

Какие неисповедимые пути привели сюда меня, странницу, путешественницу

и чернокнижницу к концу второго года моих ночных бдений над книгами (как еще это можно назвать?) – я тряслась под двумя пуховиками и терялась в фирновых полях из ледяных квадратных букв Тании; засыпала на несколько часов, потом опять просыпалась, и читала, читала, читала, пока снова не сморит сон – «о грамматологии» сменялась хасидскими сказками, а «Тотальность и бесконечное» «Путеводителем растерянных».

Разумеется, это путешествие в Израиль не упало с неба. Мне пришлось основательно потрудиться, чтобы, в конце концов, оказаться в самолете, летящем рейсом Москва-Тель-Авив. С неба, скорее, свалилась я сама, когда оказалась в аэропорту Бен Гурион. И все было как всегда – в последний момент; приезжай в аэропорт хоть за три часа, хоть за тридцать лет – все равно придется прыгать через какие-нибудь ограждения, пытаясь найти свой рейс. Так в очередной раз, перепрыгивая с увесистым рюкзаком через очередной барьер, я оказываюсь в крепких руках наголо побритого молодого человека с южным загаром и светлыми глазами, который с легким акцентом спросил меня, что я здесь делаю, а я ответила, что лечу в Тель-Авив. На что он отреагировал странно: взял меня за руку, поставил в самом начале какой-то очереди, оставил там, а сам отошел прочь. Внезапно люди, стоящие со мной в очереди быстро, рассредоточились, и я опять оказалась перед этим молодым человеком, сообразив, наконец, что он из службы безопасности авиакомпании. Разом мне было задано такое дикое количество самых разнообразных вопросов, что я утратила дар речи, но он уже понял, что с меня все «взятки гладки», и сказал, чтобы я проходила... дальше.

Лететь до Тель-Авива, хотя аэропорт находится не в самом городе, а чуть на юго-восток от него, недалеко от города Лод, оказалось не так долго, а разница во времени была всего лишь час.

Итак, мое тело, свалившись с небес через три часа полета, теперь погружается в тепловатый раствор без признаков движения, тягучий и словно пригвождающий к месту; взгляд мой вцепился и не может оторваться, словно рыба, схватившая наживку, от пожелтевшей пальмы, и я думаю, как все это не похоже ни на азиатский горячий и сухой зной, ни армянский «солнечный ветер» при холодном горном воздухе.

Предстояло добираться до университетского кампуса, где в течение месяца должны были жить участники научного семинара, для чего надо было сесть на маршрутное такси и выехать на шоссе Тель-Авив-Иерусалим.

Мы садимся в нешер, и на меня обрушивается волна звуков чужой речи – все пассажиры говорят разом. Радио, поток чужого языка, из которого мое ухо пыгается, может быть, уже помимо моей воли, вычленить некоторые уже заученные слова. Кто-то из моих попугачиков, уже ранее побывавших в Израиле, говорит, что мы проезжаем через Лидду, то есть то место, где в древности располагался город, упоминаемый в Библии. Рассказывают, что все леса, что я вижу из маршрутки, посажены не столь давно – ими покрыты все придорожные холмы. Водитель все время болтает по мобильному телефону, причем с разными людьми; я это понимаю по тому, как изменяются модуляции его голоса – вот он говорит с диспетчером, а сейчас со своим ребенком, скорее всего, с дочерью; при этом, он успевает что-то сказать (на английском) и остальным. Кажется, он сказал, что одна веерная пальма стоит семь тысяч долларов. Ее можно заказать в питомнике и посадить перед своим окном или дверью (если, конечно, таковая имеется). Вскоре маршрутка начинает взбираться по серпантину вверх, где расположен какой-то отель – там выходит часть наших попугачиков. Мы тоже покидаем нешер, чтобы несколько минут постоять здесь, так высоко, вдохнуть непривычно терпкий запах растений-эфироносков, которыми поросли склоны гор; этот запах плотно стоит в воздухе, усиленный теплом и влажностью близкого моря, он чувствуется даже здесь, на шоссе, и перебивает запах раскаленного асфальта и бензина. Теперь в машине становится немного тише, маршрутка ловко преодолевает зигзаги и виражи, дорога все время идет вверх, на подъем, мы проезжаем сады и виноградники, и вот уже указатель – «Иерусалим».

Мой слух, зрение, обоняние объявляют полную мобилизацию. На этих широтах ночь падает внезапно, а ранним утром следующего дня так же внезапно ночная синева переходит в сияющий день. Но сейчас уже зажглись фонари на дорожных столбах. В ушах легкое покалывание: Иерусалим расположен высоко над уровнем моря, и для нас, жителей равнин, чересчур быстро меняется атмосферное давление. По радио музыка – сначала восточная, потом итальянская, потом, очевидно, известия, передают какие-то сообщения, звучат имена Ариэля Шарона и Ясира Арафата. Анатолий спрашивает у водителя по-английски – что говорят? Тот отвечает, что сегодня ничего особенного не случилось. Полагаю, в город мы въезжаем с запада по Яффской дороге. Вижу рисунки, имитирующие наскальную живопись, под ними обрыв – на крутом склоне видны какие-то строения, это давно покинутая жителями деревня Лифта.

В пространстве этого возникшего во время моей первой поездки в Израиль текста густота цитирования, самоцитирования – самоопровержения (или самооправдания) к этому моменту достигла такой плотности, что к месту назначения «Университа-а-а», я, в фигуральном смысле, добираться, с онемевшими от клавиатуры пальцами и открученной головой. Жалею о том, что она у меня не устроена как у сына, и не может поворачиваться на все 360 градусов. Мы едем по западной части города. Мне кажется, что я на съемочной площадке, где снимается довоенный польский фильм «Диббук» по пьесе А-нского. Множество людей и как они одеты! – черные шляпы, белые рубашки, брюки бридж, черные чулки и туфли старинного покроя на небольшом каблуке и с вытянутым носком и (незаметно соскользнув еще в одну цитату, можно добавить: с серебряными пряжками). Откуда-то нагло вворачивается следующая фраза: «когда-то их предки носили халаты, а жены курили кальян»). (В дальнейшем выясняется, что туфли с серебряными пряжками и водка имела хождение лишь у саббатянцев).

В университетском кампусе мы выбираем (по крайней мере, нам тогда так казалось) самую лучшую комнату у входной двери в конце коридора: вернувшись вечером, можно одновременно открыть окно и дверь, сквозняк моментально выдувает скопившийся за день жар. Так мы справляемся с отсутствием кондиционера. Каждое утро крики уборщиков заменяют нам навороченный электронный будильник – он в первый же день «дал дуба», а мои часы, однажды выкупанные в море, явно запросились в починку. При первых же воплях под дверями, я, плеснув в лицо тепловатой воды из умывальника, натянув майку, китайские брюки и кроссовки, пулей выбегаю во двор, взлетаю по асфальтовой дорожке по крутому склону холма и по восьмерке обегая здание кампуса. На бегу срываюсь в хохот – вспоминаю недавний разговор между Анатолием и одним нашим преподавателем (Бесалелем Наркисом).

А. – Оскар Уайльд утверждал, что Тёрнер научил нас любоваться рассветами. Жиль Делёз объявил, что бессознательное появилось вместе с Фрейдом. Не кажется ли вам, что еврейское искусство появляется вместе с Вашей концепцией еврейского искусства?

Б.- Нет! О нет! Это уж Вы слишком!

(Возможный) комментарий (на бегу, последний круг): со стороны Анатолия произошло нарушение принципа политкорректности. За Бесалелем, профессором и известным ученым-гуманитарием, стояло «признание в

собственном языке», как, впрочем, за Тернером, Делёзом и Фрейдом. Жак Деррида как-то сказал: «я, не находясь в ситуации независимого авангардного писателя, некоего «вольного стрелка» ... следует быть обращенным к Академии и не только быть обращенным, но и принадлежать к ней, чтобы иметь право на высказывание».

Да... а существует ли для таких, как мы, признание «в собственном языке»? Хороший вопрос...

Воспоминания о событиях склеиваются и спекаются, как Кумранские свитки. Когда пишутся эти строки, я словно занимаюсь тем, что пытаюсь разделить, разъединить их, снимая слои этого литературного опыта, в противном случае угрожающие превратиться в нечто безжизненное и формальное – просто какие-то знаки на пожелтевшей от времени бумаге.

Я вспоминаю наших друзей, художницу Галину Блейх и поэта Александра Альтшулера, их квартиру с видом на Иудейскую пустыню. Выхожу на балкон, и, не успев прислониться головой к подушке на гамаке-качелях, мгновенно засыпаю. Просыпаюсь от скрипа грифеля по бумаге – Арон Зинштейн сидит напротив и рисует. Делая вид, что еще не проснулась, скашиваю глаз на рисунок – на нем я похожа на свернувшуюся в клубок кошку. Снова закрываю глаза, проваливаюсь в сон, слышу, как скрипит грифель; он рисует всех – Галину, Александра, их сына Илью, друзей, Иудейскую пустыню. Все вышли на балкон, и похоже, покидать его не собираются. На низком столике наполовину опорожненная бутылка вина. Подхожу к парапету, заглядываю вниз: улица или дорога, за ней каменистая пустыня, сиреневатая от первых лучей солнца. Я прошу друзей включить телевизор; в университетском кампусе его нет или мы не знаем, как до него добраться. Включаем какой-то канал. Ничего особенного: сидят мужики, и, несмотря на дикую жару, все, как один, в темных костюмах. Ничего сногсшибательного. Художник все еще рисует в своем альбоме, пока не пропадает последний свет. Там, где недавно была пустыня, на невысоких холмах – огни, они словно висят в самом небе. Меня спрашивают, не хочу ли я спать, говорю, что останусь спать здесь в гамаке. Никого это не удивляет, и Галина приносит одеяло. Утром просыпаюсь, оттого что по моей щеке пробегает какой-то жучок, не открывая глаз, стряхиваю его. Через сомкнутые веки пробивается утренний свет. Сразу же вспоминаю, почему и как я здесь оказалась. Солнце стремительно выкатывается из-за холмов, невидимых вчера из-за дымки,

из-за высокой горной цепи - за ней уже Иордания. Свет становится ярче, небольшие неровности пустынного пейзажа выступают все резче, боковое освещение порождает резкие тени, пустыня, словно приходит в движение и изменяется на глазах. Иерусалимский камень, которым облицован балкон, розовеет, теплеет – я не боюсь ступить на пол босыми ногами. Вхожу в комнату и вижу: Илья спит в кресле, одетый; на голове у него наушники, телевизор включен, но звука нет – на экране американская рок-группа отрывается на полную катушку.

Глава 6. Приколы: кошки, собаки и дочери иерусалимские

Кошки. Моя камера видит, как они лежат на стене, отделяющей от дороги невысокую постройку. Анатолий тоже пытается их сфотографировать. Выясняется, что они здесь египетские – длинноногие, худые, темного окраса и абиссинские - плотные, коротколапые, похожие на молодых львят, цвета пустыни. Смотрят снисходительно, валяясь на своей завалинке. Мы кормим их сладкими булочками и удивляемся, что они любят шоколадный крем. Иногда, если им очень повезет, кошки летают в самолетах, а стюардессы авиакомпании Эль-Аль приносят им воду. При виде такого создания неопишуемой красоты, лихорадочно подсчитываю, сколько мне придется заплатить, чтобы привезти его в Москву.

Завтра мы едем на Мертвое море; его название на иврите не звучит столь страшно – это просто «Соляное Озеро». Позавчера один из наших иерусалимских друзей водил нас гулять по городу. Мы побывали на Кикар Хатулим - «Площади Кошек». Народ там веселился вовсю, но ни одной кошки мы так и не видели. Я с невинным видом его спросила: «Какое значение имеют кошки в жизни города; на что получила столь же (недвусмысленный по тону) ответ что, по-видимому, какое-то имеют. Рассказывают, что когда из-за угрозы терактов решено было то ли запахать помойные контейнеры, то ли поставить на них замки, чтобы их могли открывать лишь уборщики улиц, городские власти по телевидению обратились к гражданам с просьбой подкармливать бездомных животных. Так это или нет, сейчас уже не проверишь, но на улицах иногда стоят тарелочки, а в них самая первосортная кошачья еда.

Как в детстве, я ходила по улицам и играла в игру «как я выбираю себе

дом». Мне нравятся восточные постройки, очень простые, вытянутые вдоль улицы и одноэтажные. Дома с ажурными решетками и арочными окнами – странное сочетание функционального и восточного стиля; они построены относительно недавно, в начале XX века. Скоро жилье себе я «выбрала»: в Старом городе, на площади возле Яффских ворот есть маленькая гостиница, построенная в колониальном стиле; один её балкончик висит над этой площадью. Представляю себе, как к вечеру (а я сижу на этом балконе) постепенно стихает «вавилонский» полилог внизу: гортанные возгласы продавцов мороженого, фруктовых соков и длинного сладковатого хлеба со специями, звуки автомобильных шин на асфальте мостовой, шаги прохожих; продавцы закрывают ставни, люди покидают площадь и на ней воцаряется тишина. Но непредставима и таинственна сама комната, откуда дверь ведет на балкон, нависший над площадью у Яффских ворот.

Университетские кошки оказались весьма злыми и шипучими. Одна из них меня опозорила перед охранником на входе в столовую. Я хотела ее погладить и что-то ей сказала, а она оскалилась и зашипела. А он захихикал. Думаю, животные и дети так реагируют на чужую речь. Мне вспомнился один случай: моя дочь была еще совсем маленькая и даже еще не говорила; к нам в гости пришли кубинские художники и заговорили между собой по-испански, а дочь вдруг заплакала, и мы долго не могли ее успокоить. Вот и иерусалимские кошки тоже – мелодика фразы, непривычные обертона, модуляции голоса – все это может у них вызывать страх, как все чужое и непривычное.

Еще страшная «кошачья история». Вечером мы с коллегой пошли кормить уличных кошек. Мне пришлось одной возвращаться; так как она пошла в телефонную будку звонить своему другу в Эстонию. Было темновато, а я не очень хорошо вижу в темноте; в сумерках я перепутала дом и, естественно, подъезд – пытаюсь своим ключом открыть чужой замок, а он не поддается. Тогда я начала стучать, надеясь, что выйдет кто-то из соседей и меня выпустит. Вдруг выходит здоровенный дядька, из таких, кто бегают по утрам, занимается спортом и сохраняет форму до преклонного возраста, а за ним идет кошка, величиной с рысь. Так он говорит мне:

-Забирай свою кошку, она орет у меня под дверью и не дает мне спать.

И от неожиданности я отвечаю ему на иврите (возможно, с ошибкой):

-Нет! Это не моя кошка. Все мои кошки в Москве.

(Ну: «Kchi at ha-hatula shelah, hi troeket ve-lo notenet li lishon.

Ani: ze lo ha-hatula sheli. Ha-hatula sheli be Moskva!)

И еще: вчера я опять снимала на видео университетских кошек, а одна студентка, взяв еду на подносе, поставила ее на стол, и, представьте себе, к ней подскочили сразу три кошки и начали эту еду нюхать. Похоже, девушка разозлилась, взяла этот поднос с «наноханной» едой – (там был салат из огурцов и помидор, порезанный по-арабски, кубиками и без соуса, куриная ножка с картофельным пюре, стаканчик воды с лимоном) – не отдавать же еду обратно – и она пошла в самый дальний угол террасы этого кафе, а я как подорванная продолжала снимать эту сцену, и, похоже, ей это совсем не понравилось.

В этом кафе в 2003 году был ужасный теракт, и в память об этом печальном событии посажено оливковое дерево.

И еще не менее потрясающая «собачья» история. Мы познакомились с одним «марокканцем», имеется в виду лишь то, что семья этого человека переехала в Израиль из Марокко. Он приехал с родителями, потом вырос, сначала жил один, потом женился и вскоре у него родился ребенок. Потом они взяли одну собаку с улицы, а за ней – другую, третью, эти собаки нарожали других собак – каких-то похожих одновременно и на ретриверов, и на булей. Живут они в Нахлаоте, том самом квартале, по которому мы гуляли ночью.

Собаки здесь тоже аравийские и ханаанские, это звучит несколько непривычно – когда какую-нибудь хозяйку собаки на улице спрашиваешь: «У вас ханаанская собака?», она, не моргнув глазом, спокойно отвечает: «Да, ханаанская». Только сейчас это звучит как «кнанская». Ханаана давно нет... а собаки есть. Правда здесь есть и другие собаки, большие и пушистые, похожие на хаски, их чаще всего держат выходцы из России.

Напротив Старого города около кладбищ тоже живут белые собаки, большие, с длинным телом, с вытянутыми мордами и стоячими ушами, похожие на привидения.

Алфавит я уже почти выучила, но плохо запоминаю значки огласовок. Первое слово, которое я самостоятельно прочла, было – «Мартин», а второе – «Бубер». Вместе – Мартин Бубер.

Девушки и женщины здесь очень своеобразно и красиво одеты. Начнем с квартала, где живут «ортодоксы», и где мужчины до сих пор одеваются по голландской моде. Но есть и восточный элемент – халаты, впрочем, на картинах Рембрандта люди также изображены в восточных халатах, - в парижском квартале Марэ, где 14 июля мы видели хасидов в парадной

одежде: халатах, кафтанах и лисьих шапках, штраймлах. Однако обувь их, скорее всего, из Бруклина.

Стало быть, в будни женщины носят длинные платья темных тонов; их головы покрыты специальным кошелем для волос (в европейской литературе XIX века он называется «чепец»). Но в шабат и особенно в большие праздники цвет одежды (как правило, у мужчин) – белый. Мальчики и юноши носят локоны; они выбиваются из-под традиционной кипы, которая у большинства - черного цвета.

О головных уборах можно писать целое исследование. Шляпы. Разнообразие всех стилей, мод и эпох, тоже своеобразная «семиотика». По большей части – темные, в основном природных оттенков, как из натуральных, так и из искусственных материалов: фетр, соломка, шелк, синтетические ткани. Кроме вполне традиционных женских головных уборов, что носили в XIX веке, и во всем мире носят еще и по сей день (с вуалью, сеткой, бантами, разнообразными украшениями); есть и еще, на мой взгляд, совсем необычные - сетки для волос, сплетенные из нитей в форме кошеля на шелковой основе. Кроме того, всевозможные повязки, большие и малые банты, береты всех мыслимых цветов, материалов и фасонов: сшитые на машинке, связанные на спицах или крючком, сделанные из тонкого фетра. Войдя в небольшой магазинчик головных уборов на улице Бен Иегуда, моя коллега, словно ураган, носилась от одной полки к другой, примеряя всевозможные шляпы, но продавец оказался не столь терпелив, как в Париже (понятно, что я имею в виду), где законы общества потребления позволяют покупателям «оттягиваться» до бесконечности. Торговцы в убытке не останутся.

На улицах страшный шум: они, как правило, в этой части города узкие, и звук от проезжающих машин летит вверх, затем, несколько раз отразившись от каменных зданий, словно падает тебе на голову. Из динамика, укрепленного на крыше автомобиля, припаркованного рядом с магазином, где продаются шляпы, раздаются призывы к общественной благотворительности. Весь народ со страшной скоростью куда-то несется по тротуару, ловко лавируя на узких улочках - и удивительно: никто не налетает друг на друга и бегущие не сбивают друг друга с ног.

Глава 7. К ха-Котель (Стене Плача) via арабские деревни

Наконец все наши коллеги собрались вместе, мы встретили вновь прибывших, накормили их завтраком (купили в университетском буфете бутерброды и булочки с сыром взамен съеденным ночью), напоили чаем и растворимым кофе, и как-то незаметно для себя втянулись в чревоугодие, позавтракав, таким образом, второй раз. До официальной встречи и знакомств друг с другом и до «легкого угощения» по этому поводу, (с одной стороны) еще оставалась уйма времени, но (с другой) его оставалось не так уж много (по поводу иерусалимского времени будет - дальше), но, как бы то ни было, было решено прямо сейчас отправиться в Старый город. Коллеги взяли фотоаппараты, мужчины надели шорты: кто-то из них был в бейсболке, Анатолий надел бандану, и, взглянув на карту (она почти совпадала с тем, что было видно с Хар-ха-Цофим), мы вышли. Иерусалим, да и не только он, на географической карте почти совпадает с пейзажем, видимым с какой-нибудь высокой точки – можно сказать, что видимый пейзаж «ложится» на топографической знак. И в него не сложно «впасть».

Конечно, до Старого города можно было добраться и с западной стороны, через еврейские кварталы, но для этого надо было пройти еще довольно большой отрезок пути; мы же, заболтавшись, свернули немного раньше и незаметно для себя оказались в арабской «деревне», которая, на самом деле, была просто арабским кварталом; там находились авторемонтные мастерские и небольшие лавочки. Долина Кедрон была естественным рубежом, отделявшим эти кварталы от горы Скопуса, где располагался Университет. По ее склонам уступами спускались вниз строения кубической формы – коттеджи, особняки, дома; за каменными, довольно высоким заборами не было видно двориков, почему-то нигде нет ни деревьев, ни кустарников; говорили, что у иерусалимских арабов не принято около домов сажать растения, но так ли это, проверить нам случай явно не мог представиться. Одно было ясно – пальмовые деревья за семь тысяч долларов из-за этих заборов не торчали. Дома все были новые, облицованные фосфоресцирующим иерусалимским камнем, словно светящимся изнутри, явно комфортабельные и вполне пригодные для жилья. На крышах зияли баки черного цвета, где под лучами солнца за день нагревалась вода. Как нам объяснили, по цвету этих баков всегда можно понять, в каком квартале ты находишься – в арабском или еврейском. В дальнейшем все оказалось еще проще – евреи и арабы

заказывают эту сантехнику у разных фирм, поставляющих оборудование для экологически безопасного и экономного нагревания воды в летний период. И вот мы, вчетвером, продвигаемся неизвестно куда по пыльной и грязной улице. Бесконечные авторемонтные мастерские, из дворов раздаются гудки, радио, арабская речь, грохот и лязг механизмов, удары молотка, звук работающей электрической дрели, смех подростков-подмастерьев, опять музыка, опять какой-то рев – все это оглушает, по улице, больше похожей на проселочную дорогу (вот сюда бы Хайдеггера с его «Разговорами»), на всем скаку проносятся тяжелые грузовики, обдавая нас клубами пыли и черным дымом выхлопов, отчего мы чувствуем, что попали явно не туда (куда собирались), и до нас доходит смысл ответа, который мы получили на вопрос:

- А вообще-то в арабскую «деревню» можно войти?

- Войти-то, конечно, можно... как в Афганистан,- сначала англичане, потом русские, а еще потом – еле выбрались.

Мы перебегаем перекрестки прямо перед грохочущими машинами, по пути заглядываем в лавочки, по-английски спрашиваем, сколько стоит вода, а сколько хлеб, или виноград. Евгений, кто, по сути дела, нас сюда затащил, болтает по-английски с хозяевами воды и снеди – пока ничего подозрительного мы не замечаем; торговцы ведут себя так же, как вели бы они себя в любой точке земного шара: пытаются всеми способами продать нам свой товар, сохраняя при этом весь джентльменский набор восточного торгового этикета; совершенно также ведут себя на московских рынках выходцы из Средней Азии или с Кавказа. Пожилой араб спрашивает, откуда мы, и, узнав откуда, он, по крайней мере, внешне, не проявляет никаких эмоций. Ну, Москва, так Москва. Но остается ощущение, что все не так просто, что с какого-то момента тебя «ведут» и «передают по инстанции». Правда, мы ничего не знаем про всякие случаи с местным населением, чаще всего они в международные новости не попадают. Пытаясь скрыть от коллег смущение и замешательство, я ехидно говорю Евгению: «Ведь это ты нас сюда затащил». Коллеги тоже что-то почувствовали, это становится понятно, оттого что все разом и вдруг начинают говорить о том, что, дескать, «не так уж все и страшно», и мы, конечно, выберемся из этой деревни живыми. Инстинктивно мы себя ведем самым правильным образом: стараемся привлечь к себе внимание как можно большего количества народа – заходим в каждую лавочку, спрашиваем у всех встречных и поперечных дорогу,

фотографируем друг друга, товары, мастерские, словом, делаем вид, что ни про какую интифаду и ни про какие ужасы, связанные с прогулками по арабским кварталам, мы и слыхом не слыхивали.

Вскоре мы оказываемся на углу бульвара Султана Сулеймана. Рядом со стеной Старого Города. Замусоренная дорога с пыльными кактусами-сабрами, растущими среди всякой всячины и отбросов. Мне становится немного не по себе; я смотрю на растение и вспоминаю, что так иногда называют человека, родившегося в Эрец Израэль. Сейчас лучше об этом не думать. Но к счастью, эта часть дороги вскоре остается позади, кругом чистота, хороший асфальт. Мы идем вдоль стены по тротуару, проходим Львиные ворота, потом Золотые; на противоположной стороне через Кедрон теперь хорошо видны христианские святыни: Масличная Гора, Усыпальница Марии, церковь Марии Магдалины, Гефсиманский сад, базилика Страстей Господних. Вдали купол гробницы Авессалома, рядом – древние кладбища. Мы заворачиваем за угол и через Мусорные ворота входим в Старый город. Нам кажется, что кругом полным-полно полиции, охраны, сотрудников службы безопасности; мы сами и все наши вещи проходят тщательный фейс-контроль, и, наконец, мы входим в Старый город и через несколько минут оказываемся недалеко от Стены Плача (ха-Котель). Ко мне подходит женщина, протягивает мне какую-то полотняную вещь, вроде накидки, я замечаю, что рисунок на ней похож на тот, что на платках с кистями, что носят арабские мужчины, и которые молодежь в Москве называет «арафатки». Я сначала думаю, что она мне хочет эту вещь продать и делаю отрицательный жест рукой, но она настаивает, я ей говорю: «*Merci, madame*», тогда она мне объясняет по-французски, что я обязательно должна это надеть, «*pour estimer l'endroit*», (проявить уважение к месту). У Стены приходится разделиться: я прохожу в правую часть, мои спутники – в левую. Тут выясняется, что Евгений так здорово собирался в Москве, что забыл кипу. А у Анатолия никакой кипы никогда и не было. И штаны у них всех были до колен, однако, их почему-то никто не остановил. Обыкновенный сексизм, даже в таком месте. Мужчинам показывать коленки – можно, а женщинам плечи – нельзя. Я с пелериной на плечах крадусь осторожно к нижним камням стены, отполированным тысячами прикосновений, долго стою в тени-прохладе-тишине: в этой южной стране «веяние прохлады», голос тонкой тишины – это почти духовная категория. Тишина, только ритмично раскачиваются в такт молитвенных слов женщины всех возрастов и сословий, и - главное – никакой «соборности» - полнейший

индивидуализм. Среди камней свернутые в трубочку бумажки – это слова, обращения, полные смысла моменты человеческой жизни; они тщательно (как мне кажется) выписаны квадратными буквами, читаемыми против часовой стрелки, безмолвная речь, звучащая супротив движения времени – в вечности. Южные растения в трещинах стены. Сажусь на освободившийся стул, меня со всех сторон окружает прохлада, кажется, это космос Платона – все внешние звуки отделены от меня непроницаемой стеной. Странные растения в трещинах стены неподвижны, смотрю на них: кажется, сейчас под моим взглядом они придут в движение. Поднимаю правую руку. Дотрагиваюсь ладонью до гладкого камня. Западная Стена, ха-Котель. На выходе отдаю свою накидку с черно-белым геометрическим орнаментом.

Мы поднимаемся по лестнице в еврейский квартал, крутимся по узким улочкам: квартал расположен на горе и подчас трудно составить себе правильное представление об архитектуре того или иного здания – входишь с первого этажа, и вдруг оказывается – еще шаг – и ты повисаешь над городом, выйдя на маленький балкончик, или какую-нибудь террасу. В связи с интифадой и недавними терактами сейчас здесь мало туристов, отчего страдает торговля сувенирами и всякой прочей дребеденью. Каким-то образом мы попадаем в арабский квартал и идем по узкой улочке, по обе стороны которой расположены лавки со всякими изделиями, привезенными из восточных стран: из Северной Африки, Сирии, Турции; там же продаются и местные украшения из серебра и мельхиора. Похоже, нам предлагают что-то купить, но мы у них ничего не покупаем. Выходим из Старого города через Яффские Ворота, пройдя мимо башни Давида. Если бы не «бывалые» коллеги, я просто пропала бы в этом лабиринте и не вышла бы из него никогда. Есть здесь и армянский квартал – в него ведет узкий проход, и такое ощущение, что, если не знаешь, что здесь этот квартал имеется, или тебе кто-нибудь об этом не сказал, никогда сюда не попадешь.

Выходим, стало быть, мы из Яффских ворот, идем вдоль стены, поворачиваем за угол и направляемся к Дамасским Воротам. Я, несмотря на 35 градусов жары, вместе с коллегами из Киева несусь впереди, Евгений и Анатолий, болтая о чем-то, тащатся сзади. Кажется, они решили, что надо идти на почту. За каким чертом? Когда ты в незнакомом городе, да еще не говоришь на местном языке, это создает определенные трудности. До чего же хорошо, что мне никогда ничего не нужно и никуда не надо. Моя бабушка, получившая европейское образование, в детстве во время прогулок

держала меня в «ежовых рукавицах» - ни еды, ни воды, ни дребедени. Я всегда думала, что только я одна такая – ничуть не бывало. В фильме А. Ромма «Обыкновенный фашизм», героиня, немецкая аристократка, вспоминая свое детство, рассказывает приблизительно то же самое, как ее терроризировали в детстве, приучая быть аскетичной. Но моя бабушка отнюдь не была ни аристократкой, ни «арийкой».

Плелутся они, нога за ногу, коллеги-киевляне стоят под деревьями, я же от злости и жары плюхаюсь на зеленую траву, похожую на толстый ворсистый ковер, мягкую и теплую - лежать удобно, как на ортопедическом матрасе. Я зажмуриваюсь, как кошка, спящая на солнце, меня охватывает не передаваемое никакими словами чувство блаженства: тепло, мягкая трава, легкий ветерок, шум голосов; до меня доносятся слова на арабском, которые я, к своему счастью, не понимаю. В чем их высший смысл и предназначение? Даже сквозь сомкнутые веки чувствую, что прохожие на меня косятся. Меняю позу. Сажусь. Ко мне подходит женщина, что-то говорит, что-то спрашивает по-арабски, но голос ее звучит вполне миролюбиво. Позднее до меня дошло, что она спрашивала, не нужна ли мне помощь. Ну что я могла ей ответить: на арабском, на котором писал Маймонид, я знаю лишь несколько архитектурных и археологических терминов, да несколько имен людей, с которыми когда-то была знакома. Я молча улыбаюсь ей...

Пока я размышляю, стоит ли встать и идти, киевляне делают мне знак рукой – я смотрю на противоположную сторону бульвара и вижу, как Анатолий и Евгений идут на почту. Переходим и мы и оказываемся в каком-то ужасном месте, похожем на переговорный пункт. Выходим снова на бульвар, и тут выясняется, что все собрались на арабский рынок. Чувствую, что предстоит оттянуться «на всю катушку».

Ах, сабры, сабры, «колючие снаружи и такие сладкие внутри». С вещевого рынка мы перебираемся к прилавкам, где продают фрукты и овощи. Конечно, такого разнообразия, как на парижском рынке Площади Бастилии здесь нет, но тем не менее: разные сорта перца, баклажаны, которые, если верить стихам поэта Меира Визельтира, классика, поэта, изучаемого здесь в школе (правда, сам он мне об этом не говорил), - да разве нормальный человек когда-нибудь поверит поэту... Этот овощ в тяжелый момент спас жизнь всему населению. Впрочем, в Армении то же произошло с сигом, рыбой, выпущенной в Севан, расплывшейся в этом озере и ставшей основным продуктом питания во время экономической блокады. Там продавалась разновидность фасоли,

из которой готовят хумус, овощную пасту, необычную на вкус, какие-то неизвестные мне фрукты, фиги, виноград всевозможных сортов и оттенков, апельсины, мандарины, лимоны или лаймы, которые едят здесь зелеными, разнообразные орехи и, конечно, сабры. Мои коллеги бросились общаться с народом, в основном, на тему, как бы побольше и подешевле чего-нибудь купить – в результате было закуплено огромное количество овощей и фруктов. Купили еще дыню, и посещение арабского базара завершилось тем, что нас угостили дивными плодами оранжевого цвета с маленькими зернышками внутри, которые таяли на языке как мед. Как нам объяснили торговцы, это и были плоды кактусов «сабра», что пыльными и колючими кустами росли на скале вдоль дороги, ведущей в Старый город. Каждая лопасть этого кактуса несет на себе небольшие шишки, покрытые страшными колючками, их осторожно собирают, обрабатывают особым способом при помощи песка и холодной воды; и только тогда возможно несколькими точными движениями резака вскрыть кожуру и очистить сердцевину, чтобы извлечь оттуда этот плод с совершенно необычным вкусом, - за пределами вкуса – из какого-то другого измерения, словно эта процедура по извлечению сердцевины сродни разрешению клубка противоречий, созданных опаснейшими иглами (говорят, что их уколы очень долго болят и нет инструмента, чтобы вытащить эти колючки из кожи, через какой-то срок они выйдут сами). Само это слово, как уже говорилось, означает «коренной житель земли Израиля». Никто из нас про эти мистические сабры ничего не знал; арабы сначала попытались продать нам эти экзотические плоды за какое-то бешеное количество шекелей, мы сопротивлялись, цифры уменьшались и дошли до вполне приемлемых, однако, потом опять начали расти: продавцы сообразили, что надо «выставить счет» за услуги по выковыриванию текущей медом и благоухающей сердцевины из уже очищенных от колючек плодов. В конечном итоге они положили каждому из нас на ладонь это янтарного цвета чудо, удовлетворившись совсем небольшой платой за все. Похоже, обе стороны оказались довольны сделкой и маленьким спектаклем; у меня на языке таяли частицы этой таинственной сабры, «колючей снаружи и такой сладкой внутри...»

Итак, мы опять на углу бульвара Султана Сулеймана, рядом с музеем, и тут опять происшествие: почему-то мы решаем, что возвращаться на Харха-Цофим (Скопус) надо по «нижней» дороге и идем туда, опять мрачные гаражи, допотопные бензоколонки; нас прижимают к стенам построек какие-

то огромные машины: только успеваем увертываться от их колес, тем более что время поджимает - назначена встреча всех участников семинара. Мы быстро шагаем по пыльному шоссе, где почти отсутствуют тротуары – еще немного – и вот мы идем вдоль университетского сада, с оградой из сетки, на которой время от времени возникает странная картинка: огромная акула всем своим телом пыгается пробить дыру в сетке. В контексте реальных (или воображаемых) опасностей, связанных с интифадой и нашими, как теперь становится понятным, рискованными походами к ха-Котель через арабские деревни, мне мерещатся всякие ужасы: например, картинка означает, что через сетку пропущен электрический ток такой интенсивности, что он может убить даже такого крупного хищника, как гигантская акула. Мы делимся своими соображениями по поводу картинки. Никто из нас толком не знает иврита и не может прочесть текст, но, взяв себя в руки, решаем, что это, скорее всего, реклама компании, производящей сетку, и картинка означает, что эта сетка самая прочная в мире и способна выдержать любой натиск. Уже ставшие привычными переговоры с охраной кампуса; у нас все еще нет пропусков, но все заканчивается благополучно: среди охранников всегда есть кто-то говорящий или по-русски, или по-английски.

Прогулка по земле Израиля к ха-Котел через арабские деревни сильно отличалась от полета во сне верхом на биомеханическом волшебном животном. Но их объединяло одно – поиск нового «языка описания» новой земли, которая, если верить израильскому классику Меиру Шалеву, «выдыхает пары безумия и все ее обитатели, от мала до велика, все ее племена и народы, им заражены». Пожалуй, мы это почувствовали.

Я в первый же день стерла ноги и немного обгорела на солнце, но совсем чуть-чуть. Доставшаяся от какого-то неизвестного предка (наверное, от половцев и печенегов) темная кожа и на этот раз меня не подвела. Сначала мое лицо чуть-чуть порозовело, придя домой, я умылась, и моя кожа стала, как всегда – светлой бронзы с чуть зеленоватым оттенком. В шесть часов началась встреча, на которой состоялось знакомство друг с другом всех участников конференции и лекция профессора Бецалеля Наркиса о национальном самосознании в еврейском искусстве и концерт музыканта и композитора, гитариста Даниэля Акивы, плюс «легкое угощение». Бецалель, ученый, говорит по-французски, и я думала, что с ним можно будет пообщаться, но не тут- то было; он улыбается, он все время улыбается; вот и сейчас он улыбается мне на фотографии со страницы университетского выпуска.

Тем лучше. Так о чем же я хотела с ним поговорить, с этим исследователем еврейского искусства, который в течение многих лет разъезжал по разным странам, отыскивая там следы пребывания евреев? Недоступной для него оставалась только территория страны, откуда мы родом. По крайней мере, это о нем я прочла в одной научной статье.

На последней странице проспекта, который нам выдали, сообщение о лекции профессора Моше Идея о каббалистических символах, рядом со словами о том, что «неизвестно, кто и как становится каббалистом, толкователем древних текстов, или «великим раввином», почему-то (другой шариковой ручкой и даже другого цвета пастой), торопливым почерком написано: «Бецал-эль» означает – «под сенью Бога». На «вечере знакомств» он говорил на иврите, у него четкая, прекрасная дикция, в чем сказывается его опыт лектора и преподавателя. Я вслушиваюсь в его речь, и мне кажется, что кое-что я уже начинаю понимать, тем более, что много слов уже знаю, но это, в основном библейские термины, или лексика, относящаяся к искусству. Переводчица передает смысл сказанного: несколько известных сюжетов из ТАНАХ-а – история Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. (Эти имена произносит наш профессор не совсем так, как в библейских текстах на русском языке). (Если они встретятся в моем тексте, то будут звучать как мы привыкли их видеть в русских текстах). Говорят, он терпеть не может, когда опаздывают на лекции – вот и приходится нестись, хвост трубой, обжигаясь горячим кофе, и на бегу дожевывая булочки с шоколадным кремом (с творогом, с сыром, или с яблоками). Особенно ловким даже иногда удается добежать до аудитории вместе со стаканчиком горячего кофе. Это не возбраняется.

И вот, этот самый Бецалель, восседает за столом и управляет событиями. Сначала выступает организатор семинара. Потом снова Бецалель. Характерно, что он ни разу не сказал «еврейская цивилизация», только «еврейская культура». Хорошо. В иврит входят слова, заимствованные из греческого и латинского языка. И не только. Из арабского – тоже. Профессор, получивший «признание в своем языке». Наша полемика, начавшаяся с невинного разговора о тернеровских пейзажах, заканчивается политкорректным согласием обеих сторон: для любых языковых игр необходимо, прежде всего, самосознание (еврейское, или любое другое).

Да, вспомнила, в чем состоял «легкий ужин»: ни грамма алкоголя, любые прочие напитки на любой вкус, фрукты, сладости. Короче, для тех, кто «любит вкус жизни» (можно употребить более сильное выражение), это был

настоящий «праздник живота». И мне вдруг пришла в голову мысль о том, что самые крутые формы аскетизма могут возникнуть именно здесь, а, может быть, даже уже возникли. Здесь с голоду, точно, умереть не дадут. Пробую все подряд. Завтра – бегом - по восьмерке вокруг кампуса два раза.

Каждый из нас встает и немного рассказывает о себе. Ну что мне о себе рассказать - разве что, что мой замысел снять фильм, скорее всего, останется только замыслом. Я же не могу одновременно и действовать, и разговаривать и снимать себя сама. (Тогда мы еще ничего не знали про селфи). Похоже, что фильм этот легче будет снять в студии, набрав из отдельных сюжетов. Нам вручают красные папки для записи лекций. Неужели я еще не разучилась записывать лекции? Это мы узнаем завтра.

Толпой вваливаемся в нашу комнатку. Кажется, у нас есть какая-то выпивка, что мы привезли из Москвы. Наливаем всем понемногу. По-моему, наш первый «рабочий день» прошел совсем неплохо, только фильм не сдвинулся с места. Это уже наша вторая ночь в Иерусалиме.

Окно довольно высоко, чтобы выглянуть из него, надо коленями стать на кровать. Утром из него виден Старый город, а ночью Золотой купол и россыпь огней. В открытые окна – запахи здешней ночи: розмарин, лаванда, еще какие-то растения, эфирносы, название которых мне неизвестны, знаю, лишь, что днем они незаметные и сморщенные, а ночью раскрываются и благоухают. Кажется, что к ним примешивается знакомый мне запах эфедры. Даже не верится, что я сегодня слушала акустическую гитару – мы уже совсем отвыкли от живой музыки – нынче даже музыку делают роботы.

Глава 8. Ночь в Иерусалиме. Фрагменты речи

Обернись на меня. Посмотри, что ты со мной делаешь?

Ролан Барт

Подключаюсь к глубинам «вселенского зла» в WWW при помощи системы связи, носящей ныне имя Интернет (хотя стоило бы ее назвать «Бафомет»). Пишу Марине, что мечтаю купить на углу улицы Яффо и Бен Иегуда булочку с шоколадом и пойти гулять по городу. Отправив это коротенькое письмо, читаю в Сети о том, что «неизвестные нарисовали 11 свастика на мемориале жертв Холокоста в центре Берлина. Рисунки черной краской высотой до 60 сантиметров обнаружила охрана мемориала». «Полиция приступила к

расследованию инцидента», - сообщает агентство France Presse».

Владимир Даль, в примечании к «Толковому Словарю живого Великорусского языка», изданному в 1882 году в Москве, пишет о том, что Словарь назван «толковым» не только потому, что переводит одно слово другим, но «толкует», объясняет подробности слов и понятий, им подчиненных. Фердинанд де Соссюр, считающийся отцом-основателем современной лингвистики, утверждает, что язык основывается на системе знаков, которые состоят из воспринимаемых чувствами многообразных форм, связанных соответственно, с репрезентацией реальности и содержания этих форм, представляющих, в большинстве случаев, абстрактные концепты. Между ними с формальной точки зрения нет родства или смысловой связи, так как они соотносятся друг с другом на основе своего рода «договора» или какого-то принятого на неопределенный срок соглашения между носителями языка, в силу чего сами эти знаки по природе своей условны и произвольны. Слово, обозначающее тот или иной предмет, отличается от его непосредственного восприятия, передаваемого при помощи изображения. В связи с этим сам процесс словесного общения требует известного абстрагирования, на что затрачиваются большие усилия, и потому в словесном общении всегда существует опасность взаимонепонимания.

Вот почему нам необходимы *idola fori*, эти идолы театра, о которых говорил Френсис Бэкон. Изображения на дне колодца в пещере Ласко имеют куда более древнее происхождение, нежели наука, изучающая знаки и их взаимоотношения друг с другом. Жорж Батай в «Слезях Эроса» попытался дать объяснение изображаемой сцене и со странной настойчивостью подчеркивал, что «запретил себе давать объяснение...». Другими словами, он хотел сказать, что у него не только не хватает слов, но и те слова, которые он знает, не годятся для объяснения. Однако самое интересное в том, что он пишет далее: «магическое (утилитарное) толкование пещерных рисунков уступает место религиозной интерпретации, более соответствующей характеру высшей игры». Следует добавить, что в 1950 г. Хорст Кирхнер предложил посмотреть на описываемую Ж. Батаем сцену как на шаманское камлание. Объяснение Кирхнера вызвало споры... «Однако существование такого рода шаманства в эпоху палеолита доминирует в религиозной идеологии охотников и пастухов. С другой стороны, опыт экстаза как феномен неразрывен с человеческой природой. Со сменой форм культуры и религии изменилась разве что интерпретация и оценка опыта экстаза.

Поскольку в духовном мире палеантропов господствовали мистические отношения между человеком и животным, нетрудно предположить, какими полномочиями наделялся «специалист по экстазу», - вот еще одна интерпретация, принадлежащая Мирче Элиаде.

Передо мной обрывок текста: «Возвращаясь к странной фразе, хочу добавить: знак находится в некоем эмпирическом мешке, откуда извлекается для производства идеологии, которая всегда вступает в противоречие...»

Шокирующее описание гибели умученного праведника рабби Акивы является знаком какого-то скрытого, непроявленного текста, более древнего, чем вся эта история, текста, почти стершегося...

Мы сейчас вдвоем и вокруг нас ночь. Мы словно поднимаемся в воздух и летим над Иерусалимом. Бросает то вверх, то вниз, раскачивает, словно на гигантских качелях, все видимое вдруг встает дыбом, движение осуществляется сразу в нескольких плоскостях, нас кружит над Старым городом, потом сносит к востоку; мы проносимся над Иудейской пустыней (говорят, она так хороша весной, когда цветут анемоны) – обратно... и в Иерусалим, планируем над золотым куполом, и далее – над Кедром, Масличной горой, Гефсиманским садом, подсвеченными кубиками домов из пожелтевшего в чае сахара-рафинада, над позолоченными шпилями соборов, квадратиками зелени, почти не различимой в темноте. Почему мы теперь летим на восток, а не на запад? И... падаем в пейзаж. Просыпаюсь от толчка: резкое торможение, какая-то очередная дорожная заморочка - проверка документов и багажа.

На этот раз передо мной учебник иврита, а на экран напозаает гусеница танка Т-55, столь любимого командирами Северного Альянса – это Афганистан. Мультикультурализм и прочие теории из недр эмпирического мешка ничего не объясняет в мире, где уже давно не существует никаких различий, и который состоит из одних лишь обрывков «странных фраз».

Сегодня мы ехали в машине, по автостраде Иерусалим - Тель-Авив, а Леонид так хорошо вел машину, что я не заметила, как заснула от жары и общего недосыпания; приходится очень рано вставать, а мы всю ночь напролет или бродим по городу или болтаем друг с другом вместо того, чтобы как все нормальные люди спать. Я почти не заметила, как мне заложило уши. Через пять минут мы уже были в городе. Мы вышли из машины около пляжа, рядом со спасательной вышкой. Так что же я видела во сне на этот раз? А во сне я видела буквы, квадратные буквы, я писала их на своем запястье тонкой кисточкой и первой была буква «алеф», как у Меира Шалева, в «Эсаве»:

наступает момент, и героям надо было что-то сказать друг другу, что-то очень важное, а у них не хватает слов, они начинают изъясняться странным способом, хотя и прибегают к человеческой речи, но слова их становятся знаками; то один из них, то другой говорит: «давай поиграем в игру, если ты...» Причем эти слова-знаки, в принципе, маргинальные по отношению к человеческой речи, и, кстати сказать, тесно связанные с человеческим телом, вдруг становятся очень важными: они выражают чувства героев лучше их слов. И вот, мне снится, словно я себе говорю: «Давай поиграем в игру, словно я хочу научиться писать букву «алеф». Конечно, известно, как она выглядит – это знают все. Но в скорости она совсем другая: надо взять кисточку, окунуть ее в безвредную растительную краску «хну» или «хенну» и сначала движением сверху вниз, нарисовать палочку. Потом с правой стороны пририсовать к ней, только не сливая его с палочкой, на трети расстояния от верха полуовал, открытой стороной справа. Теперь нарисовать эти буквы много раз и сделать из них браслет. По поводу этой буквы думают разное. Как-то одного раввина спросили: «Почему буква «алеф» находится в самом начале?». Говорят, он ответил так: «Она была прежде всего, даже прежде Торы. «Алеф» - начальник, «ведущий бык», его аккадский смысл просочился ханаанеям через финикийцев в арамит, а в дальнейшем - в иврит».

Так в моем сне Леонид пошел покупать лодку, а весло от нее уже лежало в машине на заднем сидении, где я снова задремала. Вокруг нас снова был горячий и влажный воздух; вода в море около 30. Народу на пляже немного. Время около пяти, и большинство купальщиков в этот час расходятся по домам. Небольшие волны, зеленоватые как бутылочное стекло, и очень соленая на вкус вода почти прозрачна. Дно ровное и песчаное, хотя рядом стоит шест с надписью, предупреждающей о том, что в этом месте купаться опасно: из-за выступающей в море длинной скалы в воде образуются подводные течения с завихрениями и воронками. Нам даже удалось немного позагорать, хотя солнце было совсем уже низко. Потом мы пошли по набережной в сторону Яффо на юго-запад. Но, взглянув на часы, решаем, что пора возвращаться; проходим по какой-то улочке, на которой расположены небольшие отели, судя по архитектуре, построенные в 20-х годах; некоторые явно предназначены на снос. Снова выходим на набережную. Пока стояли, да прикидывали, за сколько можно снять здесь квартиру, солнце утонуло в море.

Стереографическое пространство, где сны мешаются с явью, было бы не

полным без описания Тель-Авивского музея, точнее, его дворика. Этот рассказ не может претендовать на достоверность, и тем более, на объективность, так как именно в этот день музей оказался закрыт (а, возможно, и не открывался); когда мы к нему подъехали, даже самого здания не удалось толком разглядеть. Чтобы до него добраться, нам надо было всем встретиться у той самой водокачки (хотя, возможно, это была башня, с которой спасатели смотрят за порядком), где мы расстались с Леонидом несколько часов назад. Он подъехал, не опоздав. Но весло с заднего сиденья исчезло, что могло означать лишь одно – покупка лодки (из моего сна) состоялась. Мы поехали в сторону музея и долго не могли припарковаться. Все уже было закрыто, однако даже в этом случае в саду при музее можно было разглядеть инсталляцию Дани Каравана: мини-ландшафт с масличным деревом, растущим из белоснежного песка и отражающимся в зеркалах. Недалеко – была кем-то воздвигнута внушительного вида скульптура из железных прутьев и брусьев, которую, по замыслу автора, надо было рассматривать, обходя со всех сторон. В самом дальнем углу кисло что-то столь же монументальное. Тесным концептуализмом и новой медиальной объектностью модернистский проект еврейского искусства отступал величественно и театрально... обмирая в глубоком обмороке в недоступных нам залах Тель-Авивского музея.

Здесь можно встретить солнце в Иудейской пустыне, а проводить его в Средиземном море. Да, еще я никак не вспомню, где я видела эту букву «алеф», в каком-то неожиданном месте, где ее совсем не ожидала встретить, по-моему, это было как-то связано с оружием и войной. Вспомнила - на танке «меркава». Колесница огненных вознесений в классических текстах тоже называется «меркава».

Глава 9. Фрагменты речи. Атопос

Это вполне мой тип. Это вовсе не мой тип.

Ролан Барт

И снова передо мной карта Тель-Авива. Большой проспект идет параллельно морскому побережью. Он называется Ибн Гвириоль. Выясняется, что поэт, в честь которого назвали этот проспект, жил в XI веке. Был он маленького

роста, хилый, рано умер, вероятно, оттого что ничего делать не умел, кроме как писать стихи и философствовать.

Почему-то в этом месте описание прогулки по Тель-Авиву прерывается. На полях рукописи карандашом написана странная фраза: «производство эмпирического знака вступает в противоречие с производством идеологии». Вот что это была за «странная фраза», о которой шла речь в предыдущей главе.

Операция по искоренению терроризма проходила под постоянно меняющимся названием сначала «Безграничное правосудие», но от этого названия решено было отказаться: современные христианские богословы сочли, что такое определение применимо только к высшему правосудию Господа. Тогда название срочно поменяли на «Несокрушимую свободу». Но цель операции от перемены названия не изменилась. Она заключалась в том, чтобы с воздуха нанести точечные удары по лагерям террористов, после чего произвести наземную операцию. Направление – Кабул-Мазари Шариф (нынче летающие машины войны дальней авиации могут покрыть расстояние в 12 000 километров без дозаправки.)

Авицеброн (он же, Ибн Габироль) писал о Божественной воле:
«Она измерила небеса пядью, и длань ее возвела шатер сфер,
И соединила завесы всех созданий петлями могущества;
И сила ее достигает самого последнего и низшего из созданий –
Края последнего покрывала в составе».

Странная эта современная архитектура: совершенно невозможно понять и запомнить, как спланировано здание. Может быть, в этом имеется какой-то тайный смысл, безопасность, например. Хотя, если поразмыслить, все кажется просто: посреди большого пространства, окруженного жилыми помещениями - полый квадрат; в самом центре этого квадрата - еще один квадрат, ниже уровня пола, он выложен блестящим камнем, и от этого создается впечатление, будто он наполнен чистой и прозрачной водой. По бортикам – скамьи из дерева теплых тонов, и если ты сидишь на такой скамейке, то ноги словно опущены в этот «бассейн» и, кажется, они отдыхают от дневной усталости в прохладе. Это особая, неизвестная нам, северянам, архитектура, смысл которой до нас доходит не сразу, а иногда и не доходит вовсе.

Так я с большим трудом поняла, что в кампусе кухня, туалет и душ расположены по диагонали; а, чтобы выйти из квартиры, надо лишь сделать

один шаг влево от собственной двери. Другие комнаты, где жили коллеги, мне в этом лабиринте незнакомой архитектуры казались тайной за семью печатями. Я все время с ужасом думала о том, что если вдруг мне понадобится найти коллегу-художницу, у которой уже давно «гостила» моя шляпа, а в нашем холодильнике обретались две ее бутылки «Кристалла», и, если бы моей шляпе в компании этих двух бутылок вздумалось пропшырнуться по Кинг Джордж, или, скажем, сходить на «русскую дискотеку» – как им в таком случае обрести друг друга? Сiju я в этом пустом бассейне, свесив ножки. И смотрю – идет Мария, исследовательница еврейского искусства Восточной Европы. Она появляется всегда неожиданно. Мы сами выбрали ей комнату, так как она приехала чуть позже; и, похоже, эта комната ей понравилась – дверь и окно напротив, сквозняк хорошо выдувал скопившийся за день теплый воздух. Тут же забываю, где она живет. И так, девушка эта жила где-то «по ту сторону» архитектурного миража, облицованного блестящими плитами. Она уже давно начала учить иврит и достаточно бегло говорила; во всяком случае, в дальнейшем, когда мы с ней куда-нибудь ходили, она спрашивала о маршрутах автобусов, ценах. Читала надписи на автобусных остановках и поэтому мы смогли избегать ситуаций, когда садишься в автобус и не знаешь, куда едешь (хотя в этом есть тоже свой кайф). В Иерусалиме у нее оказалась тьма-тьмущая знакомых, знакомых знакомых, знакомых знакомых знакомых и т.д. И каждый день, при ее общительности и открытости, количество этих знакомств нарастало как снежный ком. Можно было подумать, что ее коммуникабельность непосредственно связана с каким-то особым лингвистическим даром, который, разумеется, у всех людей разный, но он не находится в прямой зависимости от природных способностей, таких как память, и уж тем более от культурного уровня среды. Вчерашние крестьяне-арабы из Северной Африки, обучающиеся в Москве, очень быстро начинают говорить по-русски почти без акцента.

Когда люди изучают иностранный язык с какой-нибудь достаточно прагматической и вполне рациональной целью – заработка, самоутверждения, овладения еще одной профессией и т.д. – это одно, но, когда изучать новый язык они побуждаемы эмоциональной вовлеченностью, скажем, чувством дружбы, любви, симпатии – для них открывается совсем другое пространство: контекст, чем овладеть неизмеримо труднее, так как он связан с теми глубинными источниками, из которых питается любая культура и, главное – ее язык. Прагматические интересы и даже количество изученных

языков вовсе не находится в прямой связи с желанием просто общаться с людьми и интересом к ним. И более того: когда кто-то начинает учить иностранный язык «просто так», «почему-то», без всякой определенной цели, познавательной или научной, в какой-то момент он может попасть в особое языковое пространство, когда уже не он учит язык, а язык учит его.

Если справедливо утверждение, ставшее уже общим местом, что язык говорит нами, и все говоренное не является демиургическим актом какого-то создающего творческие миры неопределенного творческого духа, гения поэзии, агента тайной власти, творящего Слова (этот список «сигнификантов» можно было бы продолжать до бесконечности, создавая из них «бесконечный текст»). Но, если все-таки допустить, что это утверждение справедливо, то стоит задаться следующим вопросом, который может показаться почти неприличным и, скорее, имеющим отношение к культурному продукту, под торговым названием «загадочная русская душа»: из каких пустот и афазии происходят знаки этого «говорящего нами» языка, которые так трудно разглядеть, несмотря на то, что они представляются как универсалии нашей культуры, языка, болтающего и выбалтывающего все подряд в безнадежной попытке преодолеть собственное мучительное одиночество.

Я уверена, что Анатолий что-нибудь придумает и меня отсюда вытащит.

(Фраза эта относится к предыдущим главам: в них речь идет о том, как в комнате, где я находилась, в замке сломался ключ и сначала никто из коллег не знал, что делать. А я сидела взаперти несколько часов и, чтобы не поддаться клаустрофобии, смотрела в окно на Золотой Купол).

Причудливые линии моей и его биографий проходят через периоды полного исчезновения-растворения в прозрачности до дыр протертого многослойным письмом листа бумаги обратилась тогда в мое тело, оказавшееся в той самой комнате, в темноте без двери (как у Густава Майринка в «Големе»), с невидимым в темноте белым потолком и далеким светящимся куполом за окном, забранным решеткой. Настоящее вместилище означающих! Энтропийность белого (невидимого) потолка, заснеженного русского пейзажа (некоторым, особенно чутким к мистике цвета натурам, таким представляется сам аид, если он, в самом деле, существует)... Знаки языка, темные письмена, начертанные корявым, прыгающим почерком на белом листе этой вселенской стужи (хотя сущность поэзии – тепло, как об этом говорит какой-то «опустившийся английский джентльмен в холодную

ненастную ночь на берегу Темзы»), но тепло все-таки пробивается сквозь, казалось бы, замороженные строки (только одному Всевышнему известно, каким чудом возникает эта «упорядоченная информация») - иначе это тепло было бы непередаваемо. Белизна бумажного листа, потолок (невидимый), сама невыразимость этой белизны, в которой зашифрованы все коды структурной семантики, связанные со словом «снег» - «Schnee». Что само это слово значит для нас, говорящих, пишущих и читающих на русском языке, скажем даже так: воспитанных на русской словесности, впитавшей в себя все коды европейских универсалий? Вид снежного поля, - возможно ли объяснить значение этой формы, не прибегая к словам, исчерпавшим себя (пусть даже временно, в чем и есть их постоянство), и попытаться перевести эти знаки на другой язык – то есть совершить структуралистский ход, вознамерившись объяснить «код при помощи кода», в котором минималистский метод (пластический и жестовый) столь же временно примет на себя функции метаязыка, то есть станет языком описания этого перевода, языком, доведенным до прозрачности и ясности, пройдя через все фазы редукции цвета к черному – письму и белому – полю, выступающему теперь как некий знак-идеограмма самого письма.

За дверью – очередное совещание.

Разумеется, все это словесная игра, где и читающий/читающая и я, пишущая - субъекты этой игры в искусство и искусство этой игры, подчас довольно жестокой, потому что мы все «играем не по правилам», но таково единственное условие этой игры. И играем мы вовсе не в комнате, и не по ту, или по эту сторону захлопнувшейся двери, а в открытом пространстве, и пространство это космическое; и мы сами «прочитывающие» или созерцающие собственные игры, словно смотрим на самих себя в объектив видеокамеры или в диоптрический прицел оружия. И все-таки на этой территории (письма) мы находимся в относительной безопасности и наш «сектор обстрела» всегда ограничен.

Анатолий обязательно что-то придумает, и моя «camera obscura» («божественный разум») снова наполнится светом и его голосом, фонемами (этими маленькими-маленькими штучками, единичками звука, лишенными смысла: согласная, гласная, многоточие... согласная, согласная, многоточие). Смятая постель (а иногда и такое случается) – и тогда слово меняет свое значение, где белый потолок – затемненный кадр, и что это за сила, что заставляет кого-то смотреть, не смотря, и слушать,

не слушая, не ощущая свою зависимость от жестоко навязанных правил теми, кто сам «играет не по правилам». Может быть в этой темной комнате, тотальности невидимой геометрии сосредоточились все противоречия и коллизии русско-европейского и русско-еврейского «разлома» - в этом месте столкновения языковых универсалий выявились ложь и беспомощность языка, и проговаривание оторвавшихся от значения знаков стало лишь какой-то абстракцией, отказывающейся что-либо означать. Несложность и нераздельность белого поля и темных письмен могли оказаться лишь поэтической матрицей, образом поисков чего-то изначального, «предшествующего всякому различию и истолкованию», может быть, бытия Слова (каждый миг начинается новое бытие), странного места, автобуса, где нет ни двусмысленности, ни лжи. И если выбирать между «это вполне мой тип» и «это вовсе не мой тип», то мне по душе и тот, и другой.

Автобус преследует меня чуть ли не с самого детства.

После войны волею судьбы и случая нашими соседями оказалась семья испанских эмигрантов, детей коммунистов, которых привезли в Россию перед войной. Мать иногда нас с братом приводила в эту семью, когда уезжала с рюкзаком в Дмитров добывать продукты. Я еще не умела ни читать, ни писать, но быстро научилась болтать по-испански с Хосе и Алехандро и их матерью – Пилар. Позже, когда я впервые поехала на Восток в археологическую экспедицию, меня заставили начальствовать над местными школьниками, нашими рабочими, которых привезли из какого-то отдаленного селения, где, кроме их учителя, никто не говорил по-русски. И вот, я – словарь и разговорник подмышку – и вперед. Через три месяца, сидя на «женской половине» на местной свадьбе, дочерна загоревшая и одетая как простолюдинка (а местные молчаливые девы с белоснежной кожей, с голубоватым оттенком, светлоглазые и светловолосые, были одеты в хан-атлас и бархат – вот так выглядели потомки «ариев», живущие в труднодоступных горных селениях, и слово это, по мнению одного из авторитетных ученых, означает просто «землепашец»), я не просто говорила на их языке, а болтала без умолку, в нарушение всех законов местного этикета. Меня просто распирало от желания говорить и необычайное чувство бесшабашной и безответственной свободы этого открывшегося мне нового языкового пространства; обладание моих соседок, этих красивых тихих жен, матерей и дочерей только подстегивало мой пыл – я пыталась говорить со всеми сразу, одновременно говорить и слушать, что говорят они, погрузиться в

звучи длинных гласных, необычные ритмы и чужие долготы. Мы сидели в небольшом строении с каменными стенами, и мне казалось, что именно в этом месте вот таким образом, и рождается сам язык. Можно сказать, так: для меня это была «алхимическая свадьба» языка.

В бытность свою мне неоднократно приходилось зарабатывать себе на жизнь трудом переводчика; как-то моему начальству пришла в голову неслабая идея за мизерную зарплату своих подчиненных эксплуатировать вдвойне. Нам было предписано в принудительном порядке выучить еще какой-нибудь язык, желательнее восточный. Для усугубления всеобщего абсурда, я, естественно, выбираю - японский. Ничтоже сумняшеся, начальство нанимает блестящего педагога из к тому времени уже не существующего института военных переводчиков, милейшую даму, и, судя по ее внешности, с какими-то дальневосточными корнями, много лет прожившую с мужем дипломатом в Японии и на всю жизнь, влюбленную в эту страну. Мы начали осваивать каллиграфию. По моей инициативе шариковая ручка была навсегда упразднена, вся группа ходила на занятия с кисточками и пузырьками туши и выцарапывала иероглифы на самой лучшей и дорогой бумаге, которую можно было найти в отечестве в благословенный период всеобщего застоя. Освоение каллиграфии быстро продвигалось вперед, лингвистическое безумие, инициированное мною, и поддержанное преподавательницей и моим отцом, который, будучи в 50-х техническим консультантом в Народном Китае (он читал там лекции), и как-то сообщил, что для китайского студента сто русских слов в день – это как дважды два. А, вот, нам, дескать, слабо. Никому тогда и в голову не пришло, что сто русских слов для китайца – это не сто японских иероглифов для русского. Но с легкой руки отца «транслингвистический загон» и забег на дистанцию, как оказалось в дальнейшем, длиной в целую жизнь начался. Все пространство отцовской квартиры оказалось заполненным иероглифами – я до сих пор нахожу залежи в темных углах и кладовках: очевидно, мать так и не решилась выбросить следы этого сумасшествия при переездах.

Глава 10. Фрагменты речи. Я безумен

Уже сотню лет принято считать, что безумие (литературное) заключается в словах: «Я есть другой».

Итак, в этот день лекции закончились, и на сей раз мы решили больше не искушать судьбу и поехали в город на автобусе, на нем номер – девятка алеф. Известно, как пишется эта буква и откуда она произошла. Хотя на самом деле, доподлинно этого не знает никто. Я сейчас открою «страшную тайну»: вопрос, откуда произошел язык никогда не обсуждается, даже в ученом сообществе. Хотя язык отчасти материален, но даже тайну происхождения материи никто до конца не разгадал: откуда тогда этот фантом - Большой адронный коллайдер, всплывший вновь философский камень? Проезжаем Хаят, большой отель, так поразивший меня своей необычной архитектурой в первый день нашего приезда в Израиль: монументальное сооружение, созданное руками человека, словно служит продолжением природного ландшафта, я бы сказала, его идеальным образом, и, похоже, эта архитектура предназначена для жизни, а не только для выживания. Впрочем, это заложено в традиции архитектуры Востока. Проезжаем через кварталы и улицы, где-то недалеко Меа Шеарим, квартал, где живут потомки выходцев из Восточной Европы – там расположены синагоги, религиозные школы. Иногда их здесь называют «харедим», иногда «в черном», или «черные», но это слово имеет совсем иной смысл, чем у нас в России, когда малообразованные люди так называют выходцев с Кавказа, Азии или афроамериканцев. Я замечаю, что окна многих домов забраны решетками, а иногда даже мощными ставнями. Что это, особенность местной архитектуры или вынужденная мера безопасности? Мы на этот раз втроем, вместе с Марией, которую я зашифровала как «самостоятельный текст». Наш разговор на ходу о языке, языках, о текстах ТАНАХ-а. Идем по улице Яффо, вдоль Западной стены Старого города. Направляемся к Давидовой башне. На улицах полно народа, молодежи, родителей с детьми, почтенных старцев; все что-то оживленно покупают. Нас же так накормили в университетском кафе, что нам, что еда, что сувениры, которые мы, тем не менее, рассматриваем и выясняем, что сколько стоит. Иначе продавцы решат, что мы полные невежды и ничего

в ювелирных изделиях не понимаем; среди них попадаются даже весьма интересные, скорее всего, привезенные из Северной Африки берберские серебряные украшения. Мы хотим выбрать что-нибудь в подарок дочери, я вспоминаю, что она говорила о серебряной цепочке с буквами ее имени. Заходим в довольно дорогой магазин, и Мария объясняет продавцу, что мы хотим. Он спрашивает, откуда мы, и говорит, что сейчас у него этого украшения нет, но, если мы зайдем завтра, он нам это украшение соберет. Далее начинается спектакль со шляпами, который Мария устраивает при каждом удобном случае. Мы умираем со смеху, но стараемся держаться так, будто она – сама по себе, а мы - сами по себе. Представьте себе меня в бруклинской шляпке. В рукописи было: «Мария носилась по магазину, где продают шляпы, как хамсин». Израильяне стали бы надо мной смеяться. Хамсин по сравнению с нашими природными бедствиями, связанными с дождем и снегом, - это тихий ужас. Вроде бы пыльная буря, возникающая где-то в Аравии и приносящаяся оттуда. Здесь это выражается в том, что при полнейшем безветрии воздух становится каким-то вязким, а небо тусклым от мельчайших частичек песка, и тебя словно засасывает гигантская воронка. Так что Мария при всей подвижности своей природы не могла носить, «словно хамсин». Хамсин не «носится», он уносит тебя самого, затягивает. Мы сомнамбулически бродим по Яффо, глазеем на витрины, в которых много никогда не виданных нами предметов, связанных с религиозными обычаями, их используют во время совместных трапез, но назначение большинства из них мне неизвестно. У Марии особый восторг вызывает рог, шофар, в который трубят во время праздника Рош-ха-Шана. Она настроена решительно – приобрести его и привезти домой. На правой стороне дверного косяка нашей комнаты сверху прибит какой-то предмет, который я сначала приняла за табличку с именем прежнего владельца или владелицы нашей комнаты. Сейчас я уже знаю, что это - мезуза, коробочка, в которой заключены священные тексты оберегающих молитв; вижу в витрине самые разнообразные: от серебряных до простеньких пластмассовых. Здесь очень быстро темнеет. Времени еще не так много, а уже включили электричество. Когда смотришь на город с Хар-ха-Цофим, или с одного из холмов, где мы часто гуляем, то возникает ощущение, что здесь очень много света, и что Иерусалим – это какой-то ступок света, который и сам создает этот свет (хотя всем известно, что свет создают электрические машины), целое море света, что особенно хорошо заметно ночью с самолета. Но это на небе. Здесь же на

земле – всего в меру. Улицы освещены ровно настолько, чтобы разглядеть, куда поставить ногу на тротуаре, а если ты в лавочке или магазине, или даже рядом с уличным прилавком, деньги (оставшиеся) в кошельке разглядеть можно. Правда, некоторые улицы, где ничем не торгуют, и нет ярких витрин, освещены скромнее, по сути дела – это только фары идущего транспорта и окна домов. Если на них нет ставень. Мы опять бредем по каким-то улицам, название которых даже Мария прочитать не может, а английских названий или транскрипции иногда нет; мы то ныряем в темноту, то нас ослепляют такие витрины. Но, похоже, что мы крутимся где-то вокруг Западной стены Старого города; мы спустились с невысокого холма городского сада около мусульманского кладбища, на котором больше никого не хоронят, и теперь оно как бы стало частью городского пейзажа. Вот мы около какого-то общественного здания, и там необычное архитектурное пространство: на равном расстоянии друг от друга в скальной породе проделаны большие лунки и посажены пальмы. На углу, где пересекаются две улицы, находится эта самая злополучная пиццерия, где во время теракта пострадало так много людей; сейчас она стоит с заколоченными фанерой окнами, и каждый раз, когда мы проходим здесь, вспоминается этот ужас, который дошел до нас в виде телевизионной картинки в очередном блоке новостей.

Что мы знаем на сегодняшний день о терроризме? О пределах физического и пределах нравственного. «То, что там произошло – сейчас Вам придется перенастроить свое сознание – является величайшим произведением искусства, которое, когда бы то ни было существовало. Совокупное усилие духа нескольких людей совершает акт, о котором мы в музыке не смели и мечтать. Эти люди тренируются на протяжении десяти лет как сумасшедшие ради одного концерта и затем умирают. Это величайшее произведение искусства, которое, когда-либо существовало во всей вселенной...»

Представьте себе, что я сейчас бы мог создать произведение искусства, и все бы вы были не просто поражены, но вы все умерли бы на месте. Вы были бы мертвы и родились бы заново, потому что это просто безумие. Многие деятели искусства ведь тоже пытались выходить за рамки мыслимого и возможного, чтобы мы все проснулись, чтобы мы раскрылись для другого мира». Так Карл Хайнц Штокхаузен сказал о террористических актах в США 16 сентября на пресс-конференции по случаю Гамбургского музыкального фестиваля. На дополнительный вопрос одного из журналистов, приравнивает ли он искусство к преступлению, Штокхаузен ответил: «Преступлением

это является потому, что люди не были согласны участвовать в этом акте, люди не приходили на этот «концерт», это ясно. И никто им не объявлял: вы можете при этом отправиться на тот свет. То, что там произошло, в духовном смысле, это прыжок за рамки уверенности, за рамки нормальности, прыжок из жизни, таковое случается иногда «росо а росо» и в искусстве». Оставим на совести СМИ точность передачи всех оттенков речи знаменитого 73 летнего композитора, которого всегда называют среди самых выдающихся. Карл Шпан, корреспондент «Ди Цайт» считал, что «случай со Штокхаузеном одновременно заставил осознать опасное измерение искусства, о котором иногда невозможно будет забыть, его сомнительную с моральной точки зрения сторону, скандальную энергию, свойственную ему. Его высказывание о террористических актах в США прозвучали как сумасшедшие радиogramмы из глубины космоса. Штокхаузен, кажется, находится бесконечно далеко от людей, где-то в ледяной галактике. Капитан Кирк выдернул все провода. Радиосвязь прервалась».

И все-таки на сегодняшний день о терроризме мы знаем лишь то, что мы о нем ничего не знаем, - у нас нет ничего, кроме обрывочных и неполных сведений. Даже непонятно, как это чувство выразить словами; разве что смутное ощущение тревоги при виде стоящих на остановках женщин, которые держат за руку маленьких детей. Здесь не видно полиции, хотя на улицах и дорогах, и перекрестках стоят полицейские или даже военные машины.

Сегодня занятия наши кончились раньше, и, похоже, обстоятельства складываются так, что я снова смогу встретить солнце в Иудейской пустыне и проводить его в Средиземном море. Мы решили встретиться с друзьями-художниками в их мастерской. Эта студия находится в центре города в старинном здании, построенном в ориентальном стиле; таков был вкус его прежнего хозяина, левантийца, турка, кажется. Сама студия – это большая прямоугольная комната, где их нынешние хозяйки, две художницы, Галина Блейх и Юлия Лагустер занимаются со своими учениками и работают сами. Мне кажется оригинальным, что свои произведения, в основном объекты и скульптуры, созданные из неведомых мне материалов: латекса, полиуретана и еще каких-то полимерных соединений, которые иногда служат аксессуарами для их театрализованных действий, они развесили по стенам. Позже до меня доходит, что это отчасти связано с экономией места. Через некоторое время студия заполняется народом – мы приехали вместе с Евгением; к сожалению,

Мария пошла к кому-то в гости, и мы не смогли ее предупредить; пришел Леонид и привел с собой дочку, носящую экзотическое имя весеннего цветка, которыми в марте покрывается пустыня. Ее уже невозможно узнать; она так и не вспомнила, как когда-то мы ей читали русские сказки, но ее удивительные синие глаза и белоснежная кожа при темных волосах остались прежними. Она становится все более похожей на свою мать. Все почему-то говорили про весло – разве в Иерусалиме можно кататься на лодке? Вскоре пришли еще двое, мужчина и женщина с собакой; они приехали на машине. Собака была не то ризен, не то черный терьер. Вскоре выяснилось, что хозяин ризена-терьера - скульптор, и он предложил нам показать свои скульптуры, Библейский зоопарк и новые кварталы города, где установлены его скульптуры, на что мы немедленно согласились. Наконец все мы вышли на улицу, проводить этого скульптора, его жену и его собаку; собака вошла в машину, за ней поднялась жена; Руслан сел за руль, и они уехали. Мы еще некоторое время обсуждали последние новости. Художницы подарили нам каталоги своих работ, мы договорились встретиться утром, на следующий день, чтобы провести вместе уик-энд.

Едва успев позавтракать, мы побежали на остановку, которая носила имя Годдшмита (не в честь ли знаменитого футуриста, что выставил себя голым в Летнем саду, впрочем, тот, кажется, был Гольцшмидт), где Руслан и Галина ждали нас в машине. Пса на этот раз в машине не было. Мы не предусмотрели, что по случаю шабата верхний ярус выхода из кампуса окажется закрытым, и нам пришлось бежать через нижний, в обход, чтобы добраться до выхода из верхнего, но уже с другой стороны, где мы договорились встретиться. Солнце уже жарило во всю, но в машине оказался кондиционер. Сначала было решено поехать в один из городских парков, недалеко от Гило. Если смотреть по старой карте, кажется, что Гило – его тогда каждый день обстреливали из расположенной напротив арабской деревни, - кажется, что Гило расположен от Иерусалима на таком же расстоянии, что Сергиев Посад от Москвы. Поэтому, когда по телевидению показывали какой-то темный холм и огненные точки трассирующих пуль, то создавалось впечатление, что это тот же самый город, сам Иерусалим, и все совсем близко. Очевидно менталитет жителей огромной страны предполагает и другой масштаб пространства и расстояний. Я попыталась себе представить, что бы мы чувствовали, если бы кто-то вдруг начал обстреливать Химки или Юго-Запад Москвы.

Сначала мы поехали в зоосад. Там построили сразу два Ноевых ковчега как образцы садово-парковой архитектуры. Скульптуры Руслана сделаны из бетона и цветной плитки, которую он тогда собственноручно обрабатывал и украшал ею бетон; иногда это дополнялось каким-нибудь другим материалом, например, металлом, и таким образом его садово-парковые скульптуры сочетали в себе функциональность и декоративность – ведь многие были предназначены для детских площадок. Его сказочные существа, одновременно и фантастические, и антропоморфные, выглядят здесь вполне уместно. Они немного напоминают скульптуры Ники де Сен Фалль, те, что установлены рядом с Бобуром в Париже. Мне не казалось тогда, что это была столь удачное архитектурное решение – придать особый колорит тому экстравагантному архитектурному сооружению, возникшему на месте «Чрева Парижа», Центрального рынка, только вывернутого наизнанку. Здесь же в Библейском зоосаде, к слову, тоже была одна скульптура Ники, но какое дело было Ники до детей? (Для которых, вроде бы, эта скульптура предназначалась)? Руслану пришлось на своей скульптуре вручную зачищать и замазывать все трещины, щели, заусеницы, пока ее поверхность с этими «фасеточными» изысками из керамики, не стала безопасной для детей. На нее можно залезть, с нее можно осматривать окрестности, можно скатиться по специальному желобу вниз, можно подтянуться и перевернуться, как на турнике, и еще можно много чего. Все население зверинца под полуденным солнцем вопило и орало как в джунглях; не покидало ощущение, что снимается австрало-американский сериал, где надо «Выжить!» любой ценой; в воздухе слышался шум тяжелых крыльев: это пернатые хищники перелетали с места на место. Целая колония розовых фламинго на берегу искусственного водоема вдруг начинала совершать одинаковые действия, словно участники флешмоба, и передислоцироваться с такой скоростью, что мне с трудом удавалось улавливать все «монтажные стыки» этого процесса. Здесь обитало большое количество всевозможных «рогатых», весьма экзотических, как например, лошадки, похожей на зебру, но с высокой, как у жирафы шеей, полулошадиполужирафы, очень дорогой и ценной редкой зверушки, которая мало где есть, но, к сожалению, никто не знал, как она называется, тем более что открыли эту лошадку (назовем ее этим именем) не так давно. Сейчас уже не припомню, мок ли в бассейне гиппопотам. Наверное, мок. Воображение мое было потрясено не столько скульптурами Руслана и экзотическими формами жизни нашей планеты, сколько удивительной атмосферой этого островка

природы: оказывается, без согласия ландшафтных архитекторов здесь никто ничего не может менять или перестраивать. Руслан рассказал, что здесь есть целое архитектурное направление, занимающееся садово-парковой архитектурой, и многое сделано выходцами из России. Мы входим в помещение, оранжерею, созданную специально для тропических растений, где поддерживается искусственный климат. Духота настоящего тропического леса; пальмы, лианы, огромные соцветия невиданной красоты. Похоже, что там наверху, в кронах этих деревьев кто-то живет. Птица? Медоуказчик, «коварная птица, ведущая людей на смерть» (их закусывают пчелы)? Кто-то еще? Со всех сторон слышны подозрительные шорохи и неясное бормотание. И звуки струящейся воды в маленьком водоеме. Мы снова запрыгиваем в вездеход Руслана и едем смотреть новую архитектуру. Куда мы едем теперь? Город мы определенно покинули – я не могу еще так быстро читать мелькающие надписи – но никого не спрашиваю, так интереснее, в ушах начинается ощущение, какое бывает при спуске на скоростном лифте или быстром снижении самолета. Значит, мы начали спускаться с холмов, которые расположены на отметке 1000 метров над уровнем моря. Останавливаемся у подножья холма, дальше идем пешком. Вдалеке (впрочем, это совсем не подходит нашему «равнинному мышлению», но в моем языке просто не существует другого слова, чтобы обозначить эту мятущуюся в мареве даль) видны несколько домов, похоже, они соединены между собой и облицованы светлым иерусалимским камнем – архитектурный ансамбль скорее напоминает гигантский античный виадук, с огромными пролетами, через которые сквозит голубое небо. Представляю себе, как проходит жизнь обитателей этих домов – между землей и небом, вернее, между небом и солнцем. Так как посещение этого архитектурного хай-тековского сооружения происходило днем, я остаюсь в неведении относительно того, каковы взаимоотношения этой новой архитектуры с темнотой ночи и лунным светом. В момент выхода из эйр-кондиционированного вездехода Руслана тепло падает на нас, словно тяжелая подушка, и я вспоминаю первый момент выхода из автобуса в аэропорту Бен Гурион. Но в этих домах еще нет окон, достраиваются инфраструктуры и коммуникации. Скульптуры предназначены для детских площадок, кроме того к ним «привязан» еще не заполненный водой неглубокий бассейн, но фонари для подсветки ночью уже установлены. Создавалось впечатление, словно декоративные улитки ползли по склону холма, уже «окультуренного»; на

скальную породу уже навезен грунт и подведены трубки, обеспечивающие поливку растений, разбиты клумбы и куртины с кустами розмарина и других средиземноморских растений. Расхожее мнение, что Иерусалим с точки зрения архитектуры, особенно современной, не похож ни на один город в мире, вполне подтвердилось. Так сложилось исторически – строить новые сооружения начали к тому моменту, когда уже практически все современные архитектурные проекты были завершены. То есть, для иерусалимских градостроителей уже существовал готовый каталог архитектурных концепций, методов и технологий. Кроме того, многие здания сооружены на деньги частных донаторов, почему многие архитекторы смогли позволить себе много того, что едва было бы возможным, если бы средства черпались только из государственного бюджета. На многих зданиях можно почитать имена людей, на деньги которых осуществлялось строительство.

Руслан довез нас до района, где была квартира Галины и Александра. Мы вышли на балкон – и я поняла, для чего эту квартиру купили – чтобы видеть Иудейскую пустыню. Внизу – улица, дорога, за ней квартал новых домов. Далее – вадн, сухое русло потока, и пустыня, настоящая каменистая пустыня сиреневого цвета от лучей солнца, перевалившего за вторую половину дня; слева и по бокам – арабские деревни. Ходят слухи, что из них время от времени постреливают по автомобилям. Только что по ТВ в «Новостях» рассказали об автомобиле, который двигался с севера на юг вдоль иорданской границы; на следующий день по той же дороге мы должны были ехать на экскурсию, на север, но нам сказали, что там слишком опасно и мы поедем по другой дороге, более длинной, вдоль Средиземного моря. А вот и подробности: эту машину расстреляли на дороге, водитель остался жив, но его жена погибла сразу, так как все пули попали в нее. Телевизионная картинка: едва сдерживая слезы, человек из местного сельскохозяйственного кооператива, говорит, что их всех знал, всю семью и погибшую женщину. Похоже, иногда лучше послушать друзей: если они говорят «туда нельзя», то «туда», в самом деле, лучше не ходить.

В шабат нехорошо быть одному, надо быть вместе с родными или друзьями, в семье, в доме, где хозяйка, Галина, накрыв голову и прикрыв ладонью глаза от пламени свечей, говорит слова благодарственной молитвы: «Славен ты, господь Бог наш, одаривший нас своею благодатью и завещавший зажигать свечи в шабат, благословенный день» ...

Умер большой поэт Андрей Тавров. Это и для меня лично огромная потеря. Он был моим другом и одним из лучших собеседников, в разговоре с которым неловко было опускаться до сиюминутных подробностей нашего суетного бытования. Он был человек духа и мысли. Когда уходит личность такого масштаба, испытываешь не только горе, но и ощущение значительного события. Андрей словно был удостоен перехода в иное существование, по его христианской вере, и наверняка достоин посмертного блага. Я завидую этой прекрасно спетой жизни, вовсе не дистиллированной, истинно человеческой, где было всё – и грехи, которые он, со своей душевной опрятностью, вовсе не скрывал, и действенное покаяние, и падения, и взлет, творческий и духовный, продолжавшийся до конца жизни, когда ему пришлось преодолевать страшную болезнь силою духа и творческой мощью. Нам Андрей оставил свои замечательные стихи и романы, точные, пронизательные статьи. Уверен, всё это еще будет всерьез прочитано и оценено по достоинству. Андрей выше жалости, жалею себя: совсем уж стал узок круг близких людей, выстужен мир.

Александр Давыдов

